

Л. Н. КРАСНОВ

ОТ ДВУГЛАВОГО ОРЛА
К КРАСНОМУ ЗНАМЕНИ

ВСЕСЛАВЯНСКОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

ТОМ 3

П. Н. КРАСНОВ

**От Двуглавого Орла
к красному знамени
1894 - 1921**

РОМАН В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ТОМ III

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Всеславянское Издательство

1971

**FROM THE
TWO-HEADED EAGLE
TO THE RED FLAG
1894 - 1921**

**BY
P. N. KRASSNOFF**

In Four Volumes

Vol. III

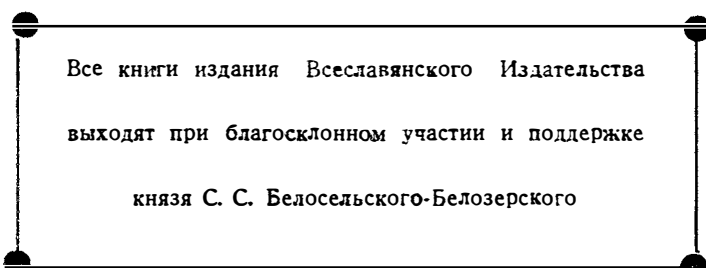
PARTS FIVE AND SIX

Published by All-Slavic Publishing House, Inc.

New York

1971

**ОТ ДВУГЛАВОГО ОРЛА
К КРАСНОМУ ЗНАМЕНИ?
1894—1921**



Все книги издания Всеславянского Издательства
выходят при благосклонном участии и поддержке
князя С. С. Белосельского-Белозерского

ТОМ III

ПЯТАЯ И ШЕСТАЯ ЧАСТИ

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I.

В октябре 1916 года Саблин, совершенно неожиданно для себя, был назначен командиром N-ского армейского корпуса. Это назначение его нисколько не устраивало. Он отлично сжился и полюбил свою дивизию. О командовании корпусом он не мечтал и, если когда думал о повышении, то считал, что он может командовать только кавалерийским корпусом. Когда он получил телеграмму о назначении, он принял ее со смирением истинного христианина. Радоваться было нечему. Корпус был только что сформированный из двух новых дивизий с новыми полками, без имен, без традиций, без заветов прошлого. Генерал Пестрецов, командовавший армией, сообщая о назначении Саблина писал ему: — „не огорчайся таким назначением, Саша. Не диво командовать и отличиться со старыми хорошими частями. В тебя мы верим. Ты вдохнешь в эти молодые части свой бодрый кавалерийский дух и ты сотворишь с ними чудеса. Обрати только внимание на офицерский состав. В 819-м пехотном Захолустном полку был случай отказа идти на позицию под влиянием агитации прапорщиков. За то 812-м Морочненским полком командует подполковник Козлов, герой Ново-Корчинского дела и на смотре у меня он показал полк молодецки. Твой корпус пока без сапог и полу-

шубков и без своей артиллерии, но как-нибудь справимся. Когда будешь ехать принимать корпус заезжай ко мне, покаляжаем. Конечно ехать ко мне крюк, я живу далеко от позиции, но резервная дивизия твоя стоит и не так далеко от меня. Приезжай прямо к обеду. В любой день, но лучше в воскресенье. Тогда у меня музыканты играют, а вечером концерт и спектакль. Жду. Храни тебя Господь. Твой Пестрецов”.

С грустью простился Саблин со своими лихими полками, с которыми он так много пережил. Вспомнил Железничкое дело, прорыв у Костюхновки, вспомнил всех тех, которые с беззаветною удаleyю шли вперед, вспомнил убитых и так дорогих ему драгун, улан, гусар и казаков. Прослушал трогательные речи командиров полков и сопровождаемый громким ура солдат и казаков поехал на автомобиле в штаб армии, отправив лошадей, вьюки и вещи свои к резервной дивизии.

Сердце щемило. Ему казалось, что и люди его здесь любили, что они поняли его и он с ними сросся в одно целое. Что ожидало его впереди? Но Саблин верил в Русского офицера и солдата и ехал, обдумывая план, как воспитать и обучить свой корпус.

Не желая огорчать командующего армией он подогнал свой приезд к 12 часам дня. Шикарный молодой адъютант встретил его в прихожей большого господского дома и сказал, что он доложит.

— Командарм сейчас говорит по телефону с Главкозапом, — проговорил он на том нелепом разговорном коде, который в то время усиленно культивировался молодыми офицерами генерального штаба. — Но я очень прошу вас пройти в гостиную, супруга Командарма просила доложить, когда вы приедете.

Саблин снял шинель и прошел за адъютантом в гостиную. День был хмурый, дождливый. В гостиной с тяжелыми портъерами и занавесками из расшитого тюля было полутемно. На полу поверх ковров лежали волчьи, медвежьи и рысьи шкуры, трофеи охоты хозяина поместья. Мебель

была старая. Но в затхлое помещичье гнездо ворвалось и что то свежее Петербургское. У окон стояли корзины с пестрыми астрами и высокими, вычурными, точно завитыми громадными хризантемами.

В коротком, едва закрывающем колени платье, из под которого видны были щегольские высокие сапожки на высоком каблуке, в роскошном соболе, накинутом на плечи, сияя радостной улыбкой свежее вымытого лица, вошла в гостинную Нина Николаевна Пестрецова. Ее фокс, позванивая бубенцами, ее сопровождал. Она прищурила глаза с подведенными ресницами, приложила к ним черепаховый лорнет и, улыбаясь выхоленным, полным лицом женщины подходящей к сорока годам заговорила быстро и весело, подавая небольшую сильно надушенную руку для поцелуя.

— Генерал Саблин, конечно? О, я так давно жаждала познакомиться с вами. Я так много про вас слышала. Все без ума от вас. И графиня Палтова, и бедная Нина Ротбек и Скальские и Масальские. Особенно Нина Ротбек... О! мне так описывали вас. И герой, и красавец. *Un vrais gentil'homme**) Правда! Романами Дюма — *pereu****) от вас должно веять. А Саша Ростовцева! она молится на вас, как на святого. Не удивляйтесь, что я вас так встречаю. Я только что из Петрограда. Там какая то мания на вас. Я заряжена вами. Приезжаю, а мой *Jakob* говорит мне: — представь: — Саблин получил у меня корпус и будет на днях. Провидение, *monsieur* Саблин. Вы верите в мистицизм, в эти... как их... флюиды... и потом, ах я все забываю, эти страшные названия. Знаете, маленькия такие. Они мне, как лягушки, почему то представляются... как они... мальвы... нарвы... лавры... да лавры. Я их ужасно боюсь... Садитесь. *Jakob* сейчас придет. Он на аппарате. Ах он так занят... Вот вы какой!

Саблин, выросший в свете, чувствовал себя теперь огорошенным. Он как будто одичал за войну и не успевал вставить слова в болтовню Пестрецовой.

*) Истинный дворянин.

**) Отца.

— Вы давно были в Петрограде? — спросила, садясь, Нина Николаевна.

— Уже скоро год, что я не уезжал с фронта.

— О! Ужасно. Это совсем, как мой муж. Но у него я. Я создаю ему и на войне семейную обстановку. Мы устроили в корпусную летучку старшей сестрою Любовь Матвеевну Рокову... О, не судите ее строго. *Tout comprendre s'est tout pardonner.**) Надо знать ее историю. *C'est un vrais ange***.) У нас так мило по вечерам. Мы провели свое электричество в дом, нам командир телеграфной роты устроил, и каждый день или тихий бридж, или, загасим свет и вокруг столика с блюдечком, вызываем духов. Мне кажется, я раз видала этого... Ларва, — содрогаясь сказала Нина Николаевна. — Какие вопросы мы задаем! И о войне, и о победе, и о Распутине, и о революции. Да, *mon general*, надо думать и об этом, и к этому надо быть готовым, какие планы! Какие люди! Здесь у нас представитель Земгора бывает, он кадет по партии, но монархист по убеждению, что он рассказывает! Вы послушайте его! Он к вам придет. Он здесь по осушке окопов от сточной воды, в гидроуланах, как их называют. И с ним команда — шестьдесят человек. Все цвет общества! Ах какая молодежь! Какие таланты. По воскресеньям у нас маленькие *soirees musicales* — поем, играем. Вы знаете, теперь в солдаты забрали массу артистов, по мобилизации. Мы с Jakob' ом их тщательно выуживаем и сейчас зачисляем в комендантскую роту и вся рота у нас сплошной артист. Наши воскресенья *s'est delieux****.) Совсем модный Петроградский *cabaret*.†) Ну вот и Jakob. Как я рада, что познакомилась с вами. Говорите о деле, и ровно в час обед в интимном кругу: вы, я, Jakob, Любовь Матвеевна и

*) Все понять — все простить.

***) Это настоящий ангел.

****) Это очаровательно.

†) Кабачек

Самойлов. Наш старый верный циник Самойлов! Но quel esprit!††)...

Она выпорхнула из гостиной и дала возможность Саблину вытянуться и произнести условную фразу представления командующему армией.

— Ну, как я рад, — сказал Пестрецов. Садись, милый Саша. Нина уже рассказала тебе, какой бедлам творится у нас.

II.

За те десять месяцев, что Саблин не видал Пестрецова, тот сильно постарел и подался. Вместо мужественной плотности явилась обрюзгая, одутловатая полнота. Усы были сбиты и круглое лицо, полное морщин, казалось хитрым и лукавым, как у ксендза.

— Рад я, Саша, что ты попал ко мне, — сказал Пестрецов, — и жаль мне тебя, — ибо болото. И местность — болото, и люди — болото. Чорт его знает, что такое произошло. Помнишь, когда в японскую войну Куропаткин от маневренной войны перешел к окопному сидению, все восставали против него и первый великий князь Николай Николаевич осудил его. „Куропаткинская“, мол, стратегия, а теперь мы сами закопались и носа никуда сунуть не можем. От моря и до моря сплошной окоп. Ужас один.

— Но почему это так произошло? — спросил Саблин.

— Все французы. Мы помешались на западном фронте. Фош для нас все. Петен и Жоффер, — это, милый мой, Наполеоны и гении. Кому какое дело, что там фронт всего 400 километров и по три дивизии стоят в затылок одна другой, а пушки не то что вытянулись в ряд, а в три ряда стоят непрерывно. Там море стали и свинца. Оттуда нас засыпают инструкциями, переводами, описаниями, наставлениями. Учтите, Русские дикари, как надо. Там — железо и бетон. Глубокие подземные галереи, целые города с водопроводами и канализацией, с электрическим освещением, с железными

††) Какой ум.

койками. Грузовые автомобили непрерывными колоннами тянутся и везут туда снаряды и продовольствие, а оттуда раненых. Там каждые две недели смена, путешествие в тыл. Там мертвая война и это вызвано коротким фронтом, близостью таких чувствительных мест, как Париж, великолепною техникой и массой войск, которых некуда девать. Там долбят месяцами одну точку, чтобы сделать прорыв и податься на четыре километра. У нас все наоборот. Громадное пространство, на котором можно замотать, окружить и уничтожить любую армию, фронт на две с лишним тысячи верст, на который даже и проволоки не хватает, отсутствие артиллерии и всетаки французская тактика и Фош, Фош! Ах, не к добру это!

— Но разве нельзя бороться? — спросил Саблин.

— Бороться? Как? Писать доклады, проекты? Все кладется под сукно. Меня забросал своими проектами один начальник казачьей дивизии. Тут и „конница при прорыве укрепленной позиции“, и „о сосредоточении кавалерии на Юге и наводнении ею Венгерской долины“, и „создание казачьей Армии для завоевания Малой Азии и захвата Константинополя со стороны Скутари“. И, знаешь, не глупо. Я им и хода не давал.

Пестерцов понизил тон.

— Саша, разве мы можем победить? Хотят англичане нашей победы? Наша победа — это решение восточного вопроса в нашу пользу. Это православный крест на святой Софии и свободный выход нашего южного хлеба в Средиземноморские порты.

— И слава Богу.

— А английские банки? А значение Англии на востоке? Никогда англичане этого не позволят. И вот нас закопали в болота и учат по Фошевской указке. Мы создаем новые части, не считаясь с тем, какого они качества.

— И мой корпус такой?

— Да, такой. Твои начальники дивизий — один тридцать лет сидел в кадетском корпусе, отличный воспитатель, ученый математик, написавший какое-то исследование о ка-

ких-то кривых, но болеющий медвежьей болезнью от звуков пушечной стрельбы. Другой посидел всю жизнь в каком-то управлении и настолько потерял понятие о фронте, что полк принимает за дивизию. Оба совершенно растеряны и не знают с чего начать. Это верхи! Теперь внизу — то новое Поливановско-Гучково-Думское изобретение, — что всякий интеллигентный юноша может быть офицером. Эти студенты и гимназисты, прошедшие четырехмесячные курсы, милый друг, — они ужасны! Это офицерье, а не офицеры! Прежде всего, полное отрицание войны, полное неприятие и непонимание дисциплины. Лучшие: — с места влюбляются в солдата и потворствуют ему во всем и плачут над ним, худшие: — стремятся сохранить свою шкуру от поранения. Они совершенно не понимают, что им делать и как подойти к солдату. Ну да увидишь, увидишь...

— Ваше высокопревосходительство, я почитаю тебя, как человека высокого ума, скажи, что же тогда надо делать?

— А вот, милый Саша, — год тому назад, Самойлов мне говорил надо мир заключить сепаратный, и я — старый дурак, возмутился и не согласился с ним, а теперь вижу — надо плыть по течению. Наверху — мистика. Вера в Божественный промысел и... в Распутина. Посередине глубокое недовольство и желание перемены — хотя бы и революции.

— Во время войны?

— С этим не считаются. Все недовольное группируется около Земгора и подле боевой армии растет какая-то новая политическая армия и кто ее знает для чего. Стали совать к нам свой нос новые лица, — сегодня с банями, завтра с подарками, там с лазаретами. Приезжают и ужасаются тому, что у нас творится. Всё плохо. В окопах вода, — мы вам выкачаем. И действительно пришлют команду — отлично одетую, молодую, бравую и разделают версту фронта, а сто сорок по прежнему плывут в грязи. Людей вши едят — пришлем баню. И пришлют. Тысячу человек вымоют и выстирают им белье, а сто тысяч по прежнему со вшами. На станции питательные пункты, с семгой и свежей икрой, там где-либо летучка на кровных лошадях с нарядными сестра-

ми, в тылу лазарет на сто кроватей с Рентгеновскими лучами, зубо врачебный кабинет и всё чисто, красиво, богато и — вот взялась общественность и как хорошо! Лампа Гелиос, граммофон играет, конденсированное молоко, молодые люди во френчах — а вон там, где правительство — там по прежнему сальные свечи, грязные палаты, голодное брюхо и санитары из раненых категорийных солдат. И серая скотинка понимать это начинает. Ловкость рук большая. Солдату невдомек, что одни на всех, а другие на некоторых. что у одних штаты и смета, а для других закон не писан.

-- Но почему нельзя бороться?

--- Да, как? За ними Дума, пресса, народ, осиное гнездо журналистов, ну и не трогают.

— А вы главкосевы, главкозапы, командармы — вы начальники?

— Молчим, Саша, и ждем. В бридж играем, по воскресеньям молодые люди во френчах придут и таких румын на скрипке, окарине и фортепиано изобразят, что ай люли малина! Все с женами, — и я с женой. Любовь Матвеевна здесь принята, как своя, а ведь ты знаешь, кто она стала? Коли пятисот рублей не жалко, скажи когда, и приедет на позицию и переночует в землянке. Это называется: поехать сделать впрыскивание. Кругом разврат небывалый. В Петрограде так веселятся, как никогда. Что же я то сделаю? Ну да вот ты, молодой, энергичный, посмотрю я на тебя, что ты сделаешь!

-- Пугаешь ты меня, ваше высокопревосходительство.

-- Ах, Саша. А до чего я напуган! Поверишь, временами сижу и думаю: — да есть война, или это так только кажется. Вот сейчас докладывают мне, что ты приехал. А я на Юзе разговором важным занят. Кошкин, член Думы, сюда едет, так чтобы принять его хорошо... А утром там где-то поиск был. Раненые, убитые, пленных взяли, установили, что 269-й пехотный полк всё на том же месте стоит. Никому это и не интересно. Донесение перервали. Кошкин едет!.. Покажите ему баню Солигаличского полка... А! Чем мы славимся. Что поиск! — баня, Кошкин!!! — Это важнее.

В гостиную просунулся адъютант.

— Ваше высокопревосходительство, — сказал он, — Нина Николаевна просит кушать.

— Ну, пойдем Саша. Может, хочешь руки помыть, а то пойдем. Нина не любит, чтобы опаздывали.

III.

В самом тяжелом настроении ехал Саблин из штаба армии к своему корпусу. — „Посмотрю, увижу“, — думал он. „Буду работать, ведь люди те же, что были в нашем полку, что были и в дивизии, неужели я не смогу воспитать их?“ То, что он видел по пути, было безотраднo. Стояла грязь по деревням и вдоль изб повсюду толпились солдаты. В грязных, старых, непригнанных шинелях, большинство без погон, оборванные, в небрежно одетых искусственного серого барашка папах, в лаптях, опорках, башмаках, очень редко в сапогах, они с удивлением поглядывали на автомобиль Саблина, пыхтевший в грязи, не отдавали чести, а если и отдавали, то так, что лучше бы и совсем не надо. Это были люди его корпуса. Саблина поразило то, что они были двух возрастов — или очень молодые — лет около 20-23, или уже старше 30-ти — середины не было. Саблин понял, что середина — выбита, уничтожена, настоящих солдат в России не осталось, остался сырой матерьял, из которого можно сделать солдата и остались те, кто уцелел по обозам, за легким ранением, или просто, удрал с поля сражения. Саблин ехал полтора дня с остановками и в какие бы часы дня он ни проезжал через деревни, полные солдат, он нигде не видел строевых учений, или каких бы то ни было занятий. Везде была одна и та же картина. Подле изб кучки солдат. Лушат семечки, пересмеиваются, или просто сидят на завалинке с хмурыми серыми лицами, как инвалидная команда.

В Заставце, где был расположен штаб 205-й дивизии, той самой, которой командовал генерал, просидевший тридцать лет на стуле в Управлении и не могший отличить полка от дивизии, или по образному выражению Самойлова,

распознать фокса от мопса, Саблин смотрел полки, расположенные в резерве, и беседовал с полковыми командирами.

Полки не произвели на него впечатления войска. Без музыкантов, без знамен, они стояли серыми громадами на тяжелом черном паровом поле. Чем ближе подъезжал к ним Саблин, тем больше замечал те признаки, по которым старый фронтвик судит о дисциплине и боеспособности части. Неаккуратная одежда, неоднобразно одетые папахи, отсутствие стойки и выправки, безразличные тупые лица. В первой роте один солдат держал „на караул” — стволом от себя, Саблин показал рукой командиру роты, тот не заметил и засуетился, не зная и не видя в чем дело. Ротный был юноша с широким круглым лицом, узкими глазами и стрижеными усами. Поправил сам командир полка. Оказалось, что и в других ротах то же самое. Не знали даже ружейных приемов. Когда Саблин потребовал, чтобы мимо него прошли церемониальным маршем, начальник дивизии долго совещался с командирами полков. Он не мог сдвинуть с места эту массу в двенадцать тысяч людей. Наконец, после целого ряда команд, ему удалось перестроить резервные колонны и роты пошли медленным тяжелым шагом по блестящей жирной земле. Люди скользили и падали. Шеренги разравнивались. Шедшие в лаптях теряли лапти. Винтовки лежали на плече плоско. Видно не привыкли их носить. У многих винтовок не было ружейных ремней и их заменяли веревки. За редким исключением, офицеры не умели салютовать. Внешности не было. Но за этим отсутствием внешности Саблин замечал и более существенное. Люди запыхались, пройдя несколько шагов по грязному полю, в рядах был разговор. „А, если придется вести обходное движение на несколько верст”. — думал Саблин, — дойдут ли?” Он вспомнил всё то, что писали многие военные, и с именами, против музыкантов и барабанщиков, против церемониального марша и муштры и теперь видел плоды их работы. Но снимать жатву придется Саблину, который все время был их противником.

Саблин вспомнил уроки тактики и стратегии. „Армии”, — говорил с кафедры профессор — „разбитые на полях сражения — разбиты задолго до самого сражения”. Саблину казалось, что он видит такую армию, обреченную на гибель.

После смотра, в большой комнате гминного управления, собрались начальник дивизии со штабом и полковые командиры. Три полковых командира были старые полковники, четвертый совсем молодой офицер генерального штаба. Каждый из стариков годился в отцы своему корпусному командиру. Годы тяжелой жизни и ряд пороков изрыли их хмурые обросшие клочками седых волос лица. Командир 817-го полка, полковник Пастухов, до войны был двадцать лет становым приставом и большим поклонником Бахуса, командир 818-го полка командовал батальоном в Среднеазиатском захолустье и никогда не видал своего батальона, который стоял по постам на границе; командир 819-го полка, имел за плечами лет 26, был из молодых офицеров генерального штаба и хотел создать свою собственную стратегию, отрицая опыт прежнего времени, новую тактику и новую систему обучения; наконец, командир 820-го полка был старый кадровый батальонный командир, но он был толст, страдал одышкой и так громко дышал, что Саблину приходилось повышать голос, чтобы заглушать его сипение.

Саблин разнес их. Они выслушали молча, сокрушенно, все то, что он говорил.

— Я требую, — говорил Саблин после некоторой паузы, — непрерывного обучения людей. Я требую гимнастики, чтобы развить тела солдат и подготовить к быстрым и ловким движениям, я требую работы штыком по чучелам, я требую ротных, батальонных и полковых учений и маневров, умения работать на всякой местности и во всякое время года... То, что я видел — срам.

— Позвольте вам доложить, ваше превосходительство, захрипел толстый командир 820-го полка.

— Что вы можете сказать? — спросил его Саблин.

— То, что вы изволили сказать, совершенно верно. Я, как старый капитан и ротный командир славного Закатальского полка, вполне понимаю вас, но привести в исполнение ваши указания полагаю невозможным. И вот почему. Эти два года войны я был, по немощи своей, смотрителем госпиталя. Много раненых солдатиков прошло через мои руки. Я думаю тысяч до четырех. И я с ними говорил и сестры мне то же самое рассказывали. Наш солдат, особенно побывавший в госпитале, питает отвращение ко всяким занятиям. „Не желаем”, — говорят, — „больше учиться, маршировать, честь отдавать, ружейные приемы делать и всё тут. А ежели”, говорят, „заставлять станут — мы офицеров перебьем”. Такое настроение. Как я с таким настроением выведу роты на ученья? Кто учить будет? Офицеров настоящих нет. Все пошли — верхи хватать.

— Ваше превосходительство, — сказал туркестанец. Вот вам пример. Надо учить гранаты метать. Офицеры и солдаты согласны этому обучаться. А гимнастике не согласны. Теперь, изволите видеть, — сами они, как верблюды неуклюжие, пальцы, им не повинуются. Взял такой дядя гранату, вертел, вертел — она и разорвалась у него... Руку оторвала. Тогда и с гранатами перестали заниматься.

— Всё оттого происходит, если позволите мне мое глупое мнение сказать, — сказал Пастухов и от волнения его темнокрасный бугристый нос стал совершенно сизым, — все оттого, что водки нет. Раньше бывало, — я в Белгорайском полку службу начал, — чуть что, — по-чарке водки! Молодцы ребята! — и „рады стараться” и все такое. Рота, я доложу вам, у меня была такая, что все в зависть входили, когда ее видали. Меня и звали — поручик-дьявол. Ей Богу — правда. А все — чарка водки. Все она милая, вдохновительница. А теперь чем его приманёшь? Скажешь — спасибо — он и отвечать не хочет, — крикнет: — р-ра! а дальше и не идет. Голоса без водки нет.

Пастухов вдруг сконфузился и замолчал.

— Ваше превосходительство, — звонко и молодо заговорил офицер ускоренного выпуска генерального штаба. —

Воспитывать нужно, беседовать. Когда солдат поймет все великое значение войны, — он станет львом. Когда мы строили тут окопы, я рассказывал своим людям о героической обороне французами Вердена, я чертил им фронты, показывал рисунки — и, можете себе представить, мои солдаты, сами, по своему почину назвали наши укрепления — форт Мортонн, и форт Верден, а третий форт маршала Фоша. Они вдохновлялись беседами. Их глаза горели и они работали с удивительным усердием. Не ружейными приемами, не гимнастикой мы покорим солдата, а его воспитанием. А душа у него, смею заверить, удивительная. Чуткая и ко всему покорная душа.

— Я не сомневаюсь в прекрасных качествах Русской души, — сказал Саблин, — но я знаю одно, что во—спитание, муштра, обучение владению оружием и маневр должны составлять правильный квадрат и одно дополнять другое и я требую, господа, исполнения моих указаний.

— Не извольте беспокоиться, суетливо заговорил начальник дивизии. Все будет исполнено. Я с Григорием Петровичем, — он кивнул на своего начальника штаба, — составлю росписание и все, как следует, поведем. Не извольте беспокоиться, всё будет исправно.

— А вы, полковник, — обратился Саблин к молодому командиру полка, вероятно знаете, какое громадное воспитательное значение имеет музыка и пение. Похвастайтесь мне своими песенниками. У вас ведь есть они?

— Как же. В каждой роте.

-- Позовите сюда самых лучших.

IV.

После обеда пришли песенники и офицеры 819-го полка. Саблин вышел на крыльцо. Погода прояснивала. Красная полоса заката горела над недалеким густым и темным лесом. Песенники толпились на дворе гминного управления. Саблин заметил, что это всё была молодежь. С песенниками пело несколько прапорщиков. Три из них привлекли вни-

мание Саблина. Первый был красивый стройный юноша с тонким прямым носом и черными хищными глазами. Усы были сбриты и большой чувственный рот показывал белые крепкие зубы. Сильная воля, решимость, мужество были в каждой его ухватке, в каждом жесте. Из под сплюснутой спереди папахи хорошего дорогого меха, запрокинутой на затылок, выбивались на лоб подвитою чолкою черные густые волосы. Лицо было красиво, но в красоте было что-то неприятное: — отталкивало слишком чувственное выражение рта, грубость черт, во всем облике его было нечто жестокое животное.

Саблин спросил у командира полка, кто этот прапорщик.

— Некий Осетров. Сын богатого извозопромышленника и кулака. Говорят, отец его конокрадством занимался, да, кажется, не гнушался и убийством. Лихой парень. А? Красавец. Я бы его адъютантом сделал, да уже больно крепколюб и мало грамотен. А ездит, рубит, стреляет — картина. Настоящий разбойник.

Другой, пришедший с хорошей большой гармоникой был юноша с круглым как блин широким скуластым лицом и узкими монгольскими глазами. Его лицо улыбалось ту-пою бессмысленною улыбкой.

— А гармонист? — спросил Саблин.

— Гайдук, латыш, тоже сын кулака. Он коммерческое училище кончал, да потом увлекся военной службой. Выпить может бочку. Руками подковы гнет.

Подле них, оглядываясь кругом страстными мечтательными глазами стоял третий. Тонкое, худое, бледное лицо с большими синими глазами, обведенными глубокой синевою, было полно тоски. Худые руки с длинными пальцами были украшены перстнями и золотая браслетка болталась у запястья. Он был одет изысканно и изгибался кошачьими движениями, словно подражая женщине.

— Вот этот белобрысый, что на девку похож, — сказал командир полка, — это Шлоссберг, сын петербургского адвоката. По моему он ненормальный, истерик. Но какой голос! Какая манера петь! Он учился в консерватории и уча-

ствовал в спектаклях. Мы их зовем три Аякса. Неразлучны. Шлоссберг среди них, что младенец среди чертей — те два лихачи, ухари, кумиры солдат, а этот стихи пишет, рыдает над убитым и... кажется, морфинист.

— Да приятная компания, — оглядывая их, сказал Саблин. — В них офицерского, кроме погон и кокард, ничего.

— Ничего и нет, — прохрипел Пастухов. — И представьте, больше половины таких. Хороши те, которые из корпусов вышли, в них манера есть, а это ломачи какие-то.

— Командарм смотрел их, так офицерём назвал, — сказал начальник дивизии, не умевший отличить фокса от мопса.

— Революционные офицеры, — сказал полковник генерального штаба и сам был не рад, что сказал, так остро и внимательно посмотрел на него Саблин, точно хотел ему проникнуть в самую душу.

С хором не пришли ни фельдфебель, ни старые унтер-офицеры. Несмотря на присутствие начальства и командира корпуса, песенники пересмеивались, иные продолжали лущить семечки и вся ватага их походила на толпу разгульных деревенских парней, пришедших на господский двор, или на кампанию мастеровых, но не на солдат. У многих на шинелях не было погон, у кого обоих, у кого одного. Видно отличием этим не гордились, не щеголяли номером своего полка и его именем.

Осетров распахал руками солдат по голосам и стал перед ними. Гайдук с гармоникой пристроился рядом, усевшись на большом чурбане, нежный Шлоссберг стал поодаль. Осетров обвел хор глазами и сильным, мощным голосом завел:

Из за острова на стражень,
На простор речной волны!

Хор не особенно дружно подхватил:

Выплывают расписные
Стеньки Разина челны.

Много раз слышал Саблин эту песню, давно ставшую модною в полках, но такого исполнения не слышал. Оно было грубое. В хоре не было главного: — гармонии. Певцы не пели, а кричали, мало было хороших голосов, но они жили этою песнею, они упивались всем ее диким смыслом и каждое слово песни отражалось на их лицах. Голос Осетрова звучал разгулом сладострастного могущества.

Мощным взмахом поднимает,
Он красавицу княжну
И за борт ее бросает
В набежавшую волну!

Одинаковая звериная усмешка играла на лицах солдат-песенников, Осетрова и Гайдука. Слово каждый из них всей душой переживал торжество разгульного атамана и мечтал подражать ему.

Перед середину хора вышел Шлоссберг. Он поклонился перед Саблиным, как кланяются артисты, выходя на эстраду и сказал два слова Гайдуку. Гармония застонала в сильных руках Гайдука. Шлоссберг устремил мечтательные глаза вдаль, лицо его прониклось выражением глубокой скорби и не сильным баритоном хорошо поставленного голоса он начал:

Как король шел на войну
В чужедальнюю страну
Заиграли трубы медные
На потехи на победные:

И, сбавив тона и опустив красивую голову, Шлоссберг полным печали голосом продолжал:

А как Стах шел на войну
В чужедальнюю страну:
Зашумела рожь по полюшку
На кручину, на недолюшку.
Свищут пули на войне...
Ходит смерть в дыму, в огне.

Тешат взор вожди отважные,
Стонут ратники сермяжные.
Кончен бой. Труба гремит.
С тяжелой раной Стах лежит.
А король стезей кровавою
Возвращается со славою!..

И, едва кончил Шлоссберг, как Гайдук, протянув печальный аккорд, вдруг искривил свое полное лицо в ликующую усмешку, весело перебрал гармоникой и громким и зычным голосом, потрясшим весь двор, выкрикнул могуче, зверино и радостно:

Э-эх! Ээх! Ээх!
Эх, жил бы, да был бы,
Пил бы, да ел бы,
Не работал никогда!
Жрал бы, играл бы
Был бы весел всегда:

Хор подхватил ликующими голосами:

Жил бы, да был бы,
Пил бы, да ел бы,
Не работал никогда.

Два парня выскочили вперед и размахивая руками стали отплясывать Русскую, от которой пахло фабричным кварталом и иноземным мателотом.

Горло сдавило Саблину от всего того, что он видел и слышал, и глухим голосом он сказал: „Господа офицеры, пожалуйста в избу. Прапорщики Осетров, Гайдук и Шлоссберг попрошу вас сюда”.

Хор затих. По тону голоса Саблина, по его мрачному недовольному лицу все поняли, что чем то не угодили корпусному командиру. Офицеры затоптали ногами по крыльцу гминного правления, стеснились в дверях и вошли, неловко толкаясь.

— Станьте, господа, по полкам, — строго сказал Саблин.

Пастухов сокрушенно вздыхал и не знал, куда спрятать свой красный нос, толстяк прерывисто громко сопел, набирая воздух; полковник генерального штаба придал независимый вид своему холеному лицу и подправил свои небольшие стриженные усы; начальник дивизии стал на правом фланге, комично вытянувшись и всем видом своим говоря: — „вот видите, до чего вы довели! Разсердили его превосходительство. А я не виноват. Я старался и буду стараться. Что прикажете, то и сделаю. Только прикажите!”

— Господа! — сказал Саблин и голос его звенел от негодования. — Я запрещаю, слышите, категорически запрещаю петь эти и им подобные песни. Откуда вы набрали это все?

— Ваше превосходительство, — волнуясь, заговорил командир полка, от которого были песенники. — Это все очень известные народные песни и народные частушки. Это творчество Русского народа...

— Так вот это творчество я вам и запрещаю петь.

— Что же тогда петь? — пробормотал удивленный полковник генерального штаба.

— Вы что притворяетесь, что не знаете! „Полтавский бой”, „Бородино”, „Что за песни, вот так песни распевает наша Русь”. „Раздайтесь напевы победы”. Будто вы не пели в корпусе и училище хороших песен, будто не видали песенников. А эту развращающую солдата грязь потрудитесь изъять из обращения. И вы, ваше превосходительство, благоводите наблюсти за тем, чтобы репертуар ваших песенников был патриотический и возвышающий душу, а не роняющий высокое имя солдата... Жрал бы, играл бы! — Чорт знает, чего не придумают! Какие идеалы!

Саблин круто повернулся и вышел. Автомобил уже был подан. Петров знал своего генерала и знал, что он ни минуты не остается там, где ушел, не поблагодарив солдат.

Едва автомобиль завернул за угол улицы селения, командир полка, от которого были песенники, сказал громко:

— Ну, гусь! Настоящий гвардейский гусь. Реакционный генерал. Молчать и не пущать!

— Оставьте, Михаил Иванович, — сокрушенно сказал начальник дивизии, — ну, в самом деле, что это за песни?

— Современные песни, ваше превосходительство, сказал Шлоссберг. — Теперешний солдат не станет петь той дребедени, которую назвал командир корпуса. Он перерос всё это. У него свои песенники, свои душевные запросы и переживания и мы, офицеры, в тяжелое время войны должны следить за сложными изгибами его смятенной души.

— Плевницкая „Стеньку Разина“ перед Государем пела и Государь одобрял, а его превосходительству не понравилось.

— Оставьте, Михаил Иванович. Видите, мы у праздника. Тошно и без вас. Извольте теперь занятия придумать, да в жизнь провести. Он, ведь, проверит. Я слышал про него.

— Да какие же занятия, ваше превосходительство. Что же, вы хотите ожесточить солдат перед боем? — сказал полковник.

— Но, господа, что-нибудь, да надо делать. А этих песен, господа, чтобы при нем не пели.

— Понимаю, — улыбаясь, сказал Осетров.

Саблин в это время ехал по длинной гати в густом лесу и пожимался, как от холода, в теплой шинели. Тошно было у него на душе.

...„Жрал бы, играл бы — не работал никогда!“ — думал он. „Это завет солдату, присягнувшему терпеть и холод и голод. Да присягали ли эти молодцы? Оборванные, без погон. Господи! И никто не видит. Надо будет просить сменить всех командиров. Всех долой — к чертям! И офицеров этих! Пусть пришлют лучше унтер-офицеров, храбрых да честных, чем эти три Аякса — альфонс, сутенер и гермафродит. А хорошо поет, каналья, с надрывом. Надо будет его к Пестрецову отправить, пусть Нину Николаевну улаживает. Шлоссберг! Да уже не жид-ли? Нет, не похож на жида. На позицию их, — туда, где свищут пули, где ходит смерть в саване, где лица серьезные и скорбные, глаза, из которых глядится бессмертная душа! Посмотрю, что будет там! А там частую сменою воспитаю солдат и в самом бою. Иначе

мы погибли. Господи!", с мольбою произнес Саблин — „нам надо наступление, горячие бои, победа, или... или мир’.

Иначе мы погибли.

V.

Маленький, рыжий, кривоногий Давыдов, начальник штаба корпуса, движением руки остановил шоффера и сказал Саблину: — надо остановиться. Дальше ехать нельзя.

Всё говорило кругом, что они подъехали к той роковой полосе, где кончается мирная и беззаботная жизнь и начинается царство смерти. В туманном воздухе раннего осеннего утра была глубокая тишина. Там, откуда они выехали полчаса тому назад, еще в темноте, были жизнь и движение. Кто-то пел заунывно, тачая сапоги, кто-то хрипло ругался и по деревне пели петухи и басом, по осеннему, лаяли собаки. Здесь всё вымерло. Деревня стояла пустая. Избушки с разбитыми окнами и снятыми с петель дверями смотрели точно покойники с провалившимися глазами. Они прерывались пожарищами. Лежали груды пепла и торчали печальные березы с черными обуглившимися ветвями. Большое здание не то школы, не то управления, было без окон и крыльцо было разобрано на дрова. Подле него, чуть поднимаясь над землей, была большая землянка с насыпанною на потолке на аршин землю.

— Что, хватает разве — спросил Саблин начальника штаба, глядя на землянку и тот сразу понял, о чем он говорит.

— Теперь нет. А раньше хватал. Аэропланами одолевает. Больше от них прячмся.

— Здесь кто же?

— Резервная рота. Зайдете?

— На обратном пути, если успею.

Так было тихо кругом, что не верилось, чтобы в землянках могли быть люди.

— Спят, должно быть, — сказал Давыдов. — Ночью-то боятся. Всё газов ждут. Пойдемте, ваше превосходительство, тут версты полторы идти придется.

За краем деревни шла на запад прямая давно неезженная дорога. Ветер и дожди сравняли ее колеи. Бурая трава поросла по ней. Кругом были пустыри, необработанные и неснятые поля, побитые осенними морозами, комья черной земли, частые черные воронки, затянутые водою, кое-где возвышался едва заметный холмик земли и крест из двух палок, без надписи, без имени.

— Следы августовских и сентябрьских боев, — сказал Давыдов. — Этакое сумасшествие было так наступать. Положил тут народу N-ский армейский корпус! Мы пришли почти месяц спустя, покойнички еще валялись. Хоронили, как могли. Ведь это болото. Окопаться невозможно. Вода. А видите, сколько воронок кругом дороги. Все инстинктивно сдавилось на дорогу. А он тяжелой артиллерией бил.

Дорога спустилась к мосту через широкую канаву, потом стала медленно подниматься на песчаные бугры.

— Вот и деревня Шпелеври, — сказал Давыдов, показывая на пустое место.

— Где — спросил Саблин, который не увидал никакого признака деревни.

— Здесь. Ее всю растащили по окопам. Там каждая доска, каждый кирпич дороги. Ведь, сюда не подвезешь. Пожалуйте сюда.

Среди песков, кое-где поросших голыми кустами тальника, торчал из земли косою серый дрючок и к нему была прибита доска, на которой чернильным карандашом крупно было написано: „участок 812-го полка“. Подле этого места начиналась постепенно углублявшаяся в песок канавка — ход сообщения к окопам. Саблин, а за ним Давыдов вошли в него, и было время — с сильным свистом и клокотанием пролетел снаряд и памм! разорвалась белым дымом германская шрапнель и свиснули где-то сзади и вверху пули.

— Видит, — сказал Давыдов. — Препротивное, знаете, чувство. Идешь. Пустыня, а кто-то на тебя смотрит, примечает, видит. У них этот вход с шара отмечен и виден.

Привязной шар, длинной серой колбасой, висел далеко под горизонтом. Горизонт упирался в песок. Саблин и Да-

выдов все больше уходили под землю и скоро шли в канаве глубже их роста и только тусклое серое осеннее небо было видно над ними. Канавка с осыпающимися песчаными боками сменилась плетенкой из ивы, прикрывшей бока. Стало пахнуть землей, сыростью и человеческими отбросами.

— Да, — сокрушенно говорил Давыдов, то и дело переступая через следы нарушения порядка службы в окопах, — не понимает наш солдат своей пользы и не соблюдает чистоты. Ему всё равно где, лишь бы его видно не было, а там хотя на парадном крыльце, и заметьте, — это лучший полк. Свины, прямо свины. В австрийских, или германских окопах я ничего подобного не видал.

— А устроены ли у вас хорошо... места? — спросил Саблин.

— Ну не так, чтобы очень.

— В этом весь секрет. Не браните мне, Сергей Петрович, Русский народ. Мы, начальники, виноваты. Если он скот, то мы должны быть пастухами при этом скоте и учить его уму разуму, а то мы хотим сами учиться у этого скота. Народ-богоносец! Жрал-бы — играл-бы, не работал никогда!..

Они прошли уже около полуверсты по ходу сообщения, который то шел прямо, то делал изгиб, или огибал траверсы. Наконец ход уперся в поперечный ход, на стенах из плетня были прибиты доски и на них чернилами, печатными буквами, было написано, направо — „на форт Мортонн“, налево — „на форт Верден“. Вдоль ходов была сделана ступенька и самый ход был приспособлен для стрельбы.

— Куда желаете? На Мортонне 13-ая рота — это укрепление, переделанное из австрийского форта, — оно ближайшее к неприятелю. Оттуда весь Любартов, как на ладони виден. Простым глазом видно, как немцы ходят, оттуда можно пройти и за реку на наш плацдарм. Жалкое место, а бригаду съедает.

Саблин повернул направо. Чаше стали попадаться ответвления и доски с надписями. „Вода“, „на кухню 13-й роты 812-го полка“. „К командиру полка“. — У этого ответвления на ходу сообщения появилась высокая фигура, затянута

тая в солдатскую шинель. „Значит”, подумал Саблин, „и тут кто-то следил невидимо за нами и кто-то дал знать о нашем приходе. Это хорошо”. Худощавый подполковник с узким лицом без усов и бороды подходил к Саблину, держа руку у края папахи. Сзади него шел солдат с винтовкой в руках. Это был командир полка, подполковник Козлов.

Он отрапортовал Саблину и спокойно и вежливо сказал ему:

— Ваше превосходительство, пустить вас в передовую линию не могу и должен просить вас вернуться обратно или обождать, пока не принесут противогазы. Железкин, — обернулся он к солдату, — сбегай в цейхгауз и принеси два противогаза.

Саблин покраснел, но промолчал и укоризненно посмотрел на Давыдова.

— Вы правы, полковник, — сказал он. — Я обожду. А у вас запас есть?

— 20 процентов, согласно приказа, держу. Наш солдат не опрятен и не бережлив. Пока сам газа не испытает, не поймет, что противогаз так же нужен, как ружье и лопата. Старый солдат ружье уважал, а нынешний и к нему равнодушен.

— Вы давно на службе?

— Юнкером рядового звания с 1906 года.

— А где служили?

— Всё время в Зарайском пехотном полку.

— Там получили и георгиевский крест?

— Так точно. За штурм укрепленной позиции у посада-Новый Корчин.

— Я слышал про это дело. Удивительно чистое дело.

— Солдат был другой, ваше превосходительство, — с тем солдатом и не такие дела можно было делать.

Саблин смотрел в лицо Козлова и чем больше вглядывался в его печальные сине-серые глаза, тем более оно ему нравилось. В нем отражалась тоска и сильная душевная мука, так знакомая Саблину по личным переживаниям. Мука

не о себе, не о своем, а об общем, государственном, Российском.

Железкин принес противогазы.

— На форт Мортонн? К тринадцатой роте? — спросил Козлов. Саблин ответил утвердительно. Он пошел впереди, за ним Козлов. Ход сообщения сейчас же и уперся в отлично отделанное укрепление. Две ступеньки вели к банкету. На банкете, тянувшемся шагов на триста и рассчитанном на роту был один человек — часовой. Он стоял, опершись локтями о край бруствера, и внимательно смотрел в бойницу. Это был такой же молодой солдат, каких видел Саблин среди песенников, но волосы у него были острижены под гребенку, папаха одета слегка на правый бок, шинель пригнана, на погонах защитного цвета, аккуратно, по трафарету, был напечатан номер полка. Патронные сумки, противогаз и ручная граната были пригнаны, ремень стягивал талью, часовой производил впечатление солдата. Саблин поднялся на банкет и стал у бойницы рядом с часовым. Часовой не шелохнулся. Местность полого спускалась к неширокой реке, поросшей по берегам потемневшими камышами. В тридцати шагах от укрепления частым переплетом в восемь рядов толстых кольев шло проволочное ограждение, еще дальше, шагах в шестидесяти, тянулась вторая полоса проволоки. От наших укреплений до реки был только песок, изрытый снарядами и поросший местами сухою травой. Ни одного предмета не было между. За рекою берег круто поднимался и по нему лепились домики. Несколько поодаль от селения, в чаще темного сада без листьев, просвечивал двухэтажный белый господский дом. Никого не было видно на том берегу. Казалось селение вымерло. Не верилось, что там сосредоточен целый полк германской пехоты. Саблин взял бинокль. В бинокль чуть наметились узкие полоски окопов и ходов сообщения. Два человека вышли из деревни и пошли по дороге вдоль реки и странно было думать, что это неприятель, что им нельзя закричать, замахать платком, но можно поставить прицел, выстрелить и

убить. Они прошли по дороге, свернули от реки и пошли от окопов. До них было меньше версты.

— Не стреляете? — спросил Саблин.

— Нет. Ни к чему, — отвечал Козлов. — Даром тратишь патроны. И они не стреляют. Тут ведь немцы, а не австрийцы. Другой раз два, три дня такая тишина стоит, что можно подумать, что они ушли.

— Что видал? — спросил Саблин часового.

— Тихо, — отвечал тот. — А вчера ночью музыка у него играла, чудно. Темно всё, зги не видать. И музыка играет, печально так. Праздник что ли какой у него.

— А кто командует ротой, — спросил, спускаясь с банкета Саблин.

— Капитан Верцинский, — отвечал Козлов.

Саблину показалось, что он где-то слышал эту фамилию.

— Что за человек?

— Он сумасшедший, ваше превосходительство, — отвечал Козлов.

— Как же вы держите такого?

— Тут такие обстоятельства, что он нам еще и нужен. Когда N-ский корпус брал эти укрепления у австрийцев, на этом самом форту произошла не совсем обычная, даже и на войне, драма. В блиндаже ротного командира роскошно, кстати сказать, обставленном, было найдено два трупа. На широкой, пружинной кровати, принесенной из господского дома, среди обстановки изящной спальни, лежал молодой венгерский офицер и рядом с ним молодая женщина. По обстановке можно было догадаться, что офицер застрелил женщину, а потом застрелился сам. Кровь и мозги из раздробленных черепов забрызгали стены, обшитые досками. На войне не привыкать к трупам. Часто приходится сутками лежать среди убитых, и солдат наш не брезглив к ним, но почему-то эти произвели особенно тяжелое впечатление и создавалась легенда, что ночью в окопе слышны стоны, что пытались соскоблить кровь с досок, а она снова проступала еще более яркими пятнами, что снимали со стены ее портрет,

а он появлялся снова, что ночью кто-то ходит по блиндажу. Словом — бесовское место. Никто не соглашался жить в блиндаже, несмотря на всю роскошь его обстановки. Блиндажа чурались и на самом форту создавалось тревожное настроение. Спереди неприятель, а сзади бесовские силы — согласитесь, что уверенности в том, что при таких условиях удержат форт, у полкового командира быть не могло. Вот тут мне Верцинский и пригодился. Он ни в Бога, ни в чорта не верит, завалился на этой самой кровати, накрылся одеялом с пятнами крови и хоть бы что. А солдат это ободрило. Он георгиевский кавалер, хотя и говорит, что по недоразумению, ну да, кто его знает. Говорят у Костюховки прорыв позиции сделала этою весною его рота — ну, значит, ему и книги в руки. роту его держит в полном порядке подпоручик Ермолов, дивный юноша.

— Интересный должно быть тип ваш Верцинский, — сказал Саблин.

— А вот мы и у него.

Окоп четырьмя ступенями спускался вниз на площадку, обращенную к неприятелю. На ней, как колонны, стояли большие бревна, подпиравшие тяжелый потолок из накатника, накрытого на сажень землею и бревнами. В глубине навеса виднелась дверь и два окна. В окнах мерцал красный огонек свечи. Саблин открыл дверь и не совсем обычное на войне зрелище представилось ему.

VI.

Комната, в которую вошел Саблин, походила более на пещеру, нежели на комнату. Вышиною около четырех аршин она имела приблизительно столько же в глубину и ширину. Большую часть ее занимала кровать, стоявшая в особой нише и беспорядочно накрытая смятым, пестрым тряпьем. Прямо против двери был письменный стол и подле него два больших глубоких кресла. С одного, при их входе, медленно поднялся худощавый человек среднего роста, на котором, как халат, висела смятая солдатская шинель без клапана.

Лицо его было освещено снизу свечою, бросавшею на него беглые тени. Оно было болезненно худощаво изрыто глубокими морщинами и поросло неопрятною клочковатою бородою. Белесые глаза его напомнили Саблину глаза Распутина. Но в них не было только той зоркости, которая отличала глаза Распутина, напротив, веки растерянно мигали и он не понимал, кто пришел к нему и не знал, что ему делать.

— Капитан Верцинский, — сказал ему Козлов, — рапортуйте же. Новый корпусный командир у нас.

Фигура пошатнулась, медленно выдвинулась из-за стола, подошла к Саблину и стала в тусклый свет растворенной двери. Но вместо рапорта, капитан Верцинский проговорил:

— Казимир Казимирович Верцинский — и протянул большую вялую руку.

Саблин невольно принял ее и взгляделся в лицо Верцинского. Что-то знакомое показалось ему в сивых волосах, жидкими прядями висевших вдоль высохшего черепа. В остром лице, из которого злобно и скучающе смотрели светлые глаза.

— Мы с вами нигде раньше не встречались? — сказал Саблин.

— Как-же! — и нечто похожее на улыбку скривило лицо Верцинского. — Лет двадцать тому назад у товарища Мартовой.

Краска бросилась в лицо Саблину. Ему показалось, что этот странный человек сейчас дотронется до самого больного места его воспоминаний.

— Помните гимназиста, с белыми волосами, который на вас нападал за ваш милитаризм. Вы-то тогда и внимания на меня не обратили. Фамилией моей не поинтересовались. Ваш интерес тогдашний был нам ясен. Ну, а я то к вам очень присматривался. Другой планеты человек.

Как-то сразу этот человек себя так поставил, что рухнули перегородки дисциплины и чинопочитания и не было блестящего свитского генерала, командира корпуса и заху-

далого израненного капитана, из штатских чиновников, но были два человека, связанные общою тайною.

— Текущая война вас, вероятно, совершенно излечила от ваших антимилитаристических заблуждений, — сказал Саблин, собираясь выйти и кончить разговор, который странно начал его волновать, как некогда волновали споры на вечеринках у Вари Мартовой.

— Совсем даже напротив. С каждым днем я убеждаюсь в правоте наших мнений и в ваших заблуждениях. Именно война поставила тот штрих на нашем учении, которого нам не доставало.

— Мы об этом с вами когда-нибудь на досуге побеседуем, — торопясь к выходу, сказал Саблин.

— С особенным удовольствием. Милости просим сюда как-нибудь ночью. Здесь очень хорошо. Тихо, как в могиле. Иногда проносятся над головою его чемоданы. Он ведь это место знает. Точно поезд гудит над головой. Куда то шлепнет! Какого идиота русачка обратит в лепешку за веру, царя и отечество. Приходите, милости просим.

Было что-то жуткое в его пригласительном жесте, которым он одновременно приглашая Саблина, запахивал полы своей шинели.

Он не пошел провожать Саблина по своему форту, он не считал это нужным. Вместо него у дверей вырос славный веселый юноша с розовым безусым лицом и четко отчеканивая каждое слово, отрапортовал: „ваше превосходительство, на форту Мортомм 13-й роты 812-го пехотного Морочненского полка, офицеров 2, рядовых 112, со стороны неприятеля ничего не замечено”.

Саблин подал ему руку. Офицер поклонился и отчетливо представился: — подпоручик Ермолов.

— Вы из каких Ермоловых? — спросил Саблин.

— Мой отец помещик Ставропольской губернии.

— Давно на фронте?

— Четвертый месяц.

Рота уже была им разбужена и стояла на нижней ступеньке блиндажа. Молодые и старые лица внимательно смо-

трели на Саблина и в них была осмысленность и понимание обстановки.

— Что же вы делаете, чтобы люди не скучали? — спросил Саблин у Ермолова.

— На балалайках играем. Нам из Земгора балалайки подарили, песни поем, читаем, вот книг мало, а просил прислать — прислали всё неподходящее. Им читать нельзя. Брошюры разные, да еще Горького сочинения, Андреева — совсем нельзя им читать. Надо бы бодрое что. Мы не скучаем.

Саблин кончал обход форта. Доска на краю его указывала путь к 14-й роте, на форт маршала Фоша.

— Пойдемте, — сказал он Козлову. — До свидания, милый поручик. Храни вас Господь!

Саблину хотелось перекрестить и поцеловать этого юношу, так непохожего на виденных им в тылу трех Аяксов.

— Славный, славный офицер, — говорил сзади него Козлов. — Вся рота на нем.

— Так для чего же вы этого сумасшедшего-то держите?

— Нельзя без него. Для авторитета. Ведь Ермолов мальчик. Иной раз заколеблется рота, он юркнет к Верцинскому, помолчит с ним полчаса и выйдет к роте: — „ничего не поделаешь”, — говорит, — „командир роты так приказал. Злющий, презлющий сидит”. Ну и смирятся. Верцинский-то им не понятен, что у него на уме, с чертями знается. Ну и боятся его. Политика, ваше превосходительство, стала нужна, вот что худо. Солдат не тот и офицер новый. Вот и 14-ая рота.

Худошавый чернобородый капитан подходил к Саблину с рапортом.

VII.

Саблина тянуло к Верцинскому на его страшный форт Мортонн, в его блиндаж-землянку, полную кровавых воспоминаний и привидений, и именно ночью тянуло, одного. Это тоже было своего рода сумасшествие ездить по ночам на

позицию одному, без Давыдова и адъютанта. Он доезжал на автомобиле с погашенными огнями почти до самого Шпелеври. Здесь он выходил и говорил шоферу: — „подать утром в Бережницу, к резервной роте“, — и шел в окопы. Ночью окопы жили. Пахло по ходам сообщения щами и солдатом и вдоль окопа по бойницам стояли и сидели люди. Часто били пушки. На той стороне **вспыхивали ракеты** и оттуда чудился гомон людей. Потом вдруг стихало и из далекого тыла слышался быстро приближающийся тяжелый рокот большого снаряда. Казалось, что было видно, как он летел. Вдруг где-либо, совсем неожиданно и не там, где думали, зашуршит и завизжит воздух; всё освещая, вспыхнет яркое пламя, раздастся страшный оглушающий грохот и завоют осколки, разлетаясь кругом. Потом наступит мучительная тишина. Ухо прислушивается, не слышно ли стонов, не кричит ли кто-либо жутким голосом „носилки!“ Пахнет какой-то химией. Не порохом, но едким запахом кислоты. Тихо всё. Потом раздастся чей то голос — „куда попало?“ И послышится ответ: — „немного не хватило до командирской землянки“.

После этого царит жуткая тишина. Солдаты боятся сидеть в землянках и жмутся подле брустверов и траверсов. Кто-нибудь тихо вздохнет и скажет задумчиво: — „так-то вот Павлиновские сидели в землянке, а оно ударило. Не то восемь, не то шестнадцать человек положило. И не нашли“.

И больше всего сумушало людей то, что были люди и ничего не осталось, чтобы похоронить.

Ночью мерещатся газы. Особенно под утро. Вдруг где-то на фланге печально зазвонит чугунная доска, заворит другая, раздадутся выстрелы и люди тревожно хватаются за маски и начинают надевать их и кажутся уже не солдатами, а страшными демонами, ходящими под землей. Выбежит вперед химическая команда, пойдут тяжелые минуты. Шибко бьется сердце и не знаешь, почему оно бьется, потому ли, что волнение охватило или это уже газ начинает отравлять. Сквозь мутные очки противогаса все кажется необычным и чудятся у кольев какие-то темные фигуры.

— Снимай маски! Никаких газов!

Ложная тревога. Туман поднялся с реки. Скоро рассвет.

Утром по всему фронту поднимается пальба. Грохочут пушки и в бледной синеве неба часто белыми зайчиками, целыми стайками рвутся шрапнели. Летят аэропланы. Один, другой, третий, четвертый, пятый. К грохоту наших пушек начинают примешиваться тяжелые глухие удары от взрывов больших бомб, бросаемых с аэропланов. Теперь и бруствера и траверсы не спасут. Всё прячется по землянкам, под блиндажи и только часовые стоят у брустверов, смотрят вперед и творят молитву.

Часам к восьми, когда окончательно рассветет, всё стихает. В землянках крепко спит наволнованный за ночь народ, гуще становится воздух и душнее в темных норах. Кто-нибудь откроет дверь и свежий осенний воздух остановится, не дерзая войти в землянку. Густой пар повалит из нее и еще крепче заснут люди, наполняя окоп переливами густого могучего храпа. „Эк — их!“ — скажет часовой и славно зевнет и потянется.

Эта тревога ночью, игра на жизнь и смерть, на случайное попадание снаряда в землянку развлекали Саблина. Пребывание ночью в одной обстановке тревоги с солдатами, давало ему оправдание перед совестью за Карпова, за всё то, что он сделал, как начальник. Оно оправдывало его генеральские погоны и давало ему право приказывать и диктовать свою волю солдатам. Козлов, чернобородый капитан, Ермолов и их солдаты привыкли к нему и называли Саблина почтительно — **наш генерал**. Он в их понятии выдвинулся, вырос над целыми десятками других генералов, ему верили, его любили.

Наверху, напротив, его осуждали. Давыдов и начальники дивизий усматривали в этом упрек себе, а сами не хотели ни рисковать ночными сидениями, ни лишать себя комфортабельного сна по избам. И опять, как тогда, когда корнетом, Саблин начал делать именно свое дело, про него **говорили**, что он **выслуживается**, что он не в меру старается, так и теперь считали, что это только битье на популяр-

ность, искание известности. „В Скобелева играет!“ — „Чудной“, — говорили про Саблина.

Но, кроме острых впечатлений непосредственной близости к неприятелю, Саблина тянуло на форт Мортон еще щекочущее нервы ощущение беседы с Верцинским. Он зашел к нему первый раз, как бы случайно, в ответ на его приглашение, усматривая в нем вызов своей храбрости и желая показать бледному гимназисту в синем мундире с истертыми до желтизны белыми пуговицами, что корнет Саблин ничего не боится. Ему хотелось показать свое превосходство **правого над левым** и только, но разговор увлек его и взволновал.

VIII.

В землянке так же, как днем, горела одинокая свеча. В глубоком кресле, устремив белые глаза на постель и на темные пятна на дощатой стене, выше которых висела большая фотографическая карточка красивой брюнетки в бальном платье с локонами над ушами, перед железной кружкой, на столе подле книги, всё в той же шинели, похожей на халат, сидел Верцинский. Он посмотрел на входившего Саблина и лицо его не выразило удивления. Он нехотя приподнялся и, вместо рапорта и титулования, просто сказал:

Хотите чаю? В чайнике есть, еще горячий.

Саблин отказался и молча сел в кресло сбоку Верцинского, лицом к двери. Он только что простился с провожавшими его командиром полка и подпоручиком Ермоловым, которым сказал, что хочет поближе испытать, насколько ненормален Верцинский, которого он знает с ранней юности.

Несколько минут длилось молчание. Пламя свечи, заматавшееся было, когда открывали дверь, успокоилось и горело **ровным** красножёлтым языком. Глаза Саблина уже привыкали к темноте и он разбирал темные пятна крови на серебристо-сером шёлковом стеганом одеяле и на досках землянки, левее портрета. Он посмотрел на портрет. Венгерка

была богато одета, с обнаженными плечами, красивые полные руки были украшены браслетами.

— Как вы думаете, кто была она? Невеста, неудачно приехавшая навестить жениха и попавшая в момент штурма, жена, любовница, или просто искательница приключений, приехавшая утешить своего прежнего любовника? — спросил Верцинский, поймав взгляд Саблина.

Саблин не отвечал.

— Во всяком случае, можно сказать, попала не к стати, — сказал Верцинский.

— Как она так попала? — спросил Саблин.

— Наши прорвали фронт верстах в десяти левее. Венгерцы ничего не знали. В прорыв бросились Забайкальские казаки. Началась паника. Все сдались. Кто знает, что тут было. Побоялся ли он, что ее замучают казаки по праву победителей, или, может быть, никто не должен был знать, что она была у него, но только он застрелил ее, а потом и себя прикончил.

— Я понимаю его, — сказал Саблин.

— Ну еще бы — многозначительно сказал Верцинский и цинично хихикнул.

Саблина передернуло.

— Почему вы так сказали? — спросил он.

— Как так?

— Нехорошо.

— Ах нет. Вот это напрасно. В этом деле я всегда был, есть и буду на вашей стороне, вы поступили по праву.

— О каком деле вы говорите? — холодея сказал Саблин.

— О товарище Марии Любовиной, — просто сказал Верцинский.

— Что вы знаете? — притворно небрежно проговорил Саблин.

— Мне везет на любовные истории, — сказал Верцинский, — может быть потому, что я на них неспособен. Я товарища Коржикова, и всё знаю. Мне же пришлось наблюдать драму хорунжего Карпова. Чудак влюбился в лазарете в великую княжну Татьяну Николаевну и погиб с ее именем

на устах, на Костюхновке. Он погиб, а я ношу георгиевский крест, который мне совсем не к лицу и на который я не имею никакого права... Такова справедливость. Теперь мой „комполка” Козлов, идеальнейшая личность, старается, тянется, но влюблен в свою жену и, заметьте, у меня есть все данные, что она ему изменяет с каким-то шалопаем, который за его счет срывает цветы удовольствия. И опять, заметьте, — любовь всегда такова, кто любит, тот и наказан. Не отдавайся беззаветно этому чувству. Но вы-то не виноваты, повторяю вам. Вы не любили. Вы рвали цветы удовольствия и вы были правы. Тут была тактическая ошибка и так ли, этак ли, товарищ Любовина должна была погибнуть. Если бы она не умерла, может быть, нам пришлось бы ее ликвидировать.

— Я вас не понимаю, — сказал Саблин, чувствуя что какая-то страшная сила тянет его остаться, беречь раны и узнавать то, чего не нужно.

— Обстановка-то какая, — опять хихикая сказал Верцинский. — Любовь и смерть. Ложе, на котором сплетались в сладострастных изгибах любви два молодых и сильных тела, и... кровь, и мозги, и вся грязь, и непристойность смерти. Впрочем: — и любовь, если посмотреть на нее философически холодно, — тоже только грязь и непристойность. Одно не лучше другого.

— Я хотел бы, чтобы вы пояснили свои загадочные слова относительно Марии Михайловны Любовиной, сказал Саблин.

— Извольте. Но раньше дайте и мне немножко позабыться. Обстановочка меня захватывает. Черноокая красавица из пятен крови и мозгов подмигивает нам, — вы, — всё еще красавец, про вас сказали как то солдаты: — ангел небесный — и я... Я! Мефистофель! Чорт, дьявол, исчадие сатаны. Ха-ха-ха! Хи-х-и-хи!

Верцинский засмеялся и его морщинистое лицо искрилось. Рот открылся, редкие гнилые зубы торчали из него. Саблину страшен стал его смех. „Чего я с ним сижу”, — подумал он. Сумасшедший. Но сумасшедший этот знал тайну,

которую унесла в могилу Маруся, и Саблин хотел открыть и узнать ее тайну.

— Вы знаете, что такое партия? — спросил вдруг Верцинский и лицо его стало серьезно. Я-то не принадлежу ни к какой партии. Я, дорогой мой, выше всего этого. Я — Диоген в капитанском чине. А? „Его благородие Диоген” — Ловко? Диоген, командующий ротой. О масонах, поди, тоже слышали? Эх! Все вы что-то слышали, никто толком не знает, и все трепещут, ибо тайна. В древности был храм и в в храме был алтарь, занавешенный тяжелой занавесью. Жрецы молились и кланялись и приходили толпы верующих и обожающих только потому, что никто не знал, что за занавесью. Нашелся дерзновенный, подкрался ночью, усыпил стражу, отдернул занавесь и заглянул туда. И там ничего не было. Пыль, мусор, паутина, затхлость. И этому молились! Люди прожили двадцать веков, а умнее не стали. Железная маска! ах как интересно! Масоны! Сионские протоколы, Агасфер, Люцифер, Бафомет, Адонирам! Боже, что за прелесть!! Гюйсманс, Черная месса, Розенкрейцеры, рыцари Кадош, таинства посвящения, всемирный заговор, символы, таинственные знаки, пятиконечная звезда! Липнем от волнения, руки холодеют от любопытства. Знать бы! А знать нельзя. Если узнаете, то выйдет: пыль, мусор и нечистоты. И всякий знает, что так оно и есть, но сознаться боится.

Саблину показалось, что Верцинский потерял нить разговора и он напомнил ему.

— Какое же отношение имеет всё то, что вы говорите, к Любовиной?

— Гм... Да. Математически, как бесконечно большая величина к величине бесконечно малой. Но, чтобы вычислить эту малую мы должны заняться большой. Итак, слушайте, я набросаю вам маленькими штришками эволюцию некоторой партии, как обрачик людского тупоумия. Здесь это уместно. Ну, чем не храм у меня?! Посмотрите на постель. А одеяло: — потоки крови, брызги мозга. И страсти брызги! Все засохло, шелушится и только смердит. Фотография смеется. Вы скажете, что когда-то бессмертная душа смотре-

ла через ясные глаза в аппарат, и солнце, властитель мира, запечатлело лицо на бумаге. А вот, где же она? Где?... Слышите... гудит...

Будто поезд железной дороги стремительно несся по воздуху. Лицо Верцинского побледнело. Страх появился в его белых глазах и он, открыв рот и трясаясь всем телом, ждал и слушал, где упадет снаряд. Тяжело ухнуло где-то влево, далеко и несколько секунд был слышен звон и стрекотание в воздухе летящих осколков и ш-шлеп, ш-шлеп, шлеп — удаляли они по песку.

— Ох! не люблю! — сказал Верцинский и лукаво пальцем погрозил портрету. — Все она посылает.

— Слушайте, — сказал Саблин, или вы знаете что-то о Любовиной, чего я не знаю, и тогда вы скажете мне, или вы ничего не знаетеи тогда я уйду. Мне здесь дальше нечего делать.

— А страшно? Сознаться, что страшно. Страшно и... тянет. И снаряды и события здесь бывшие. Мистика. Все вы немного мистики. Вот так и Распутин тянет.

— Что Распутин? Он-то причем?

— А тоже алтарь за занавесью. Тайна. И все тянутся узнать эту тайну, поднять занавес. А поднимут и сами не рады. Пустота, мусор, козлом воняет и еще чорт знает что.

— Да вы что про Распутина знаете?

— Знаю и про Распутина. И про Распутина расскажу. Только всё по порядку.

— Ну, чорт с вами. Рассказывайте.

— А вы чорта не поминайте здесь. Не к месту это. Ну, слушайте. Сперва о бесконечно больших величинах. Есть в мире семьдесят мудрецов, которые правят всем миром. И что занятно, никто не знает кто они такие? Вудро Вильсон, Пуанкаре, Ллойд Джордж, Бьюкенен — нет, это только марионетки. Этих семидесяти никто не знает, и где они не знают. Что ловко пущено? 70 Сионских мудрецов.

— Кто же они. Жиды?

— Я же вам говорю: никто не знает. И вот они правят всем миром и делают политику. Эта война — это их работа.

Она им нужна. Ну, скажите, может ли быть что-либо более нелепое, нежели эта война для России. Мы боремся за Англию. Мы поссорились с Германией, с которой мы тесно связаны не только торговыми и земельными, но и кровными интересами и воюем за Англию, которая всегда ненавидела, презирала и угнетала нас. Мы — и никто другой, как Николай II и дворянство, — и вы в том числе, усиленно уничтожаем то, на что опираемся. Мы поссорились с балтийцами, составлявшими прочнейшую опору трона, мы разорили польское шляхетство, которое тяготело, если не к России прямо, то к трону и мы потеряли польскую корону. А? Ну не ловко ли пущено? Генерал Саблин, — Я вас спрашиваю, сколько легло ваших доблестных товарищей, которые искренно были преданы трону? А? Сколько вы загубили и кто пришел им на смену? Я... Я... Я... слышите я!!! Ха-ха-ха!

— Послушайте, Казимир Казимирович, — я бы просил вас бросить эти сказки и политику и просто сказать мне, почему погибла Любовина, — сказал Саблин.

— А будто не знаете? А про Распутина не хотите? Я и про Распутина знаю. Так вот война нелепость, — а вы третий год с идиотским упорством ведете ее. По воле семидесяти неизвестных, никому неведомых мудрецов... Но мудрецы-то за занавеской и, может быть, если приподнять эту самую занавеску там окажутся не мудрецы, а подлецы, воры, спекулянты, банкиры, негодяи и мерзавцы... Ха-ха-ха! Хи-хи-хи!

— Нельзя ли покороче!

Слушаюсь. Дальше-то проще будет. Дальше партия и члены ее, связанные партийной дисциплиной.

— Какая партия?

— А не все ли равно? Борющаяся против существующего порядка и всё. Ну, так вот видите, Коржиков, друг Марии Любовиной, был в партии и цель партии была разрушить армию. Помните наш антимиитаризм. Решили, что хорошо было бы залучить вас в партию, ну и послали Любовину. Ужели не ясно?

Саблин молчал. Как всё это было просто и как он тогда ничего не понял и ни о чём не догадался.

— Да... А вы оказались сильнее. Понимаете, тут вот эта самая подлая любовь затесалась и товарищ Любовина всё позабыла, и партийную дисциплину, и программу, и на всё стала смотреть вашими глазами. Если бы она не умерла родами — ее пришлось бы убить. Партия беспощадна с ренегатами.

— Ну, а Распутин? — вяло спросил Саблин.

— О Распутине разговор длинный. В нем много есть и мистического. Но извольте. До утра далеко. А я по ночам всё равно никогда не сплю. Нервы!..

IX.

— Весь цивилизованный мир держится на христианской религии, — начал Верцинский и лицо его стало серьезным. Вера, надежда и любовь. И, пока есть любовь между людьми, они свободны и никаким семидесяти мудрецам их не поработить. Значит: первая задача сменить любовь ненавистью, а для этого разрушить веру. Вы, наверное, слышали, как наши юноши и девушки пели звучными голосами: — „отречемся от прежнего мира, отряхнем его прах с наших ног“. Ну, вот и начали отрекаться. Прежде всего забросили евангелие. Евангелие нужно только для тех, кто хочет изучать философию. Платон, Сократ и Христос: — просто. А остальным ни к чему. Христианство — пережиток язычества. Устами величайшего писателя и кумира молодежи, Толстого, была осмеяна литургия. На богослужение стали смотреть, как на забавную комедию, стали ходить, как пошли бы посмотреть пляски шаманов, танцы дервишей и тому подобное. Вот тут-то и понадобился Распутин. И, если бы его не было, — его пришлось бы изобрести. Что такое христианство? Распутин. Что такое царь? — Распутин, что такое Русский народ? — Распутин. Нет, каково придумано то!

— А семьдесят мудрецов? А таинственная занавесь... Вы думаете, надо убить Распутина. Попробуйте. Вы не способ-

ны на убийство. Ну, вот вы, — воин, герой, георгиевский кавалер, раненый — вы убили кого-нибудь? Если кто-либо из вас в пылу боя двинет кого-либо прикладом, или застрелит из револьвера — о сколько потом терзаний, мук, истерики! Убил человека, ужас! вспомните у Достоевского — Раскольников и убийство старухи процентщицы и Лизаветы. Ведь горел потом человек. И Сонечке Мармеладовой молился и за Сонечкою пошел и каялся и томился. Нет, вы не убьете. Убить можем **мы**. Но нам нет смысла убивать Распутина, потому что он нам нужен. Мы возвысились до убийства. Да, — не унизились, не пали, как сказали бы вы, а возвысились... Когда мясник бьет скотину и брызжет кровь, когда он свежует ее, обдирая шкуру, вы спокойны, вы сладострастно вдыхаете запах парного мяса. Бифштексы, ростбифы греются вам. Вы хладнокровно проходите мимо окровавленных туш, мимо белых, как покойники, мороженных свиней... Ну, еще шаг. Перейдите черту и так же спокойно убейте человека. Станьте подле, возьмите, вытяните руку с револьвером и — готово. Труп. Но на трупе есть одежда, может быть, есть деньги. А разве самый труп нельзя утилизировать. Нельзя попробовать человеческое мясо. А? Вас коробит, что-то не хочется. Ну, кормить зверей, собак. Наконец, утилизировать кожу, кости, волосы?

— Оставьте, Казимир Казимирович, — сказал Саблин.

— Вам претит? Как же хотите вы убить Распутина? Нет, уж решились, так и все последствия возьмите на себя. И пять пудов мяса разделайте. А **мы** можем. Я не знаю, читали ли вы, как один инженер - - убил человека в Ленгтуковом переулке с целью ограбления, а потом разделал труп, как мясную тушу и по фунтам разбросал и разослал повсюду. Возвысился же человек!

-- Верно сумасшедший, — сказал Саблин.

— Для вас -- сумасшедший, а по нашему сильный человек. Вот еще, когда я был ранен, а потом лечился в прошлом году, я видел не то у Александра, не то у Кнопа, на Невском, выставлены хорошенькие такие кошельки и на них надпись -- „из человеческой кожи“. Кто их знает из чего они сде-

ланы, надо полагать не из человеческой кожи. Полиция бы не позволила. Но публика жадно смотрела на них и покупала... А веревка повешенного и счастье игрока? А воровская свеча из человеческого сала? Чувствуете, скользим мы по чему-то страшному. Некий вельможа и богач был влюблен в танцовщицу и когда она в молодые годы умерла, он положил ее в цветах в гроб, поставил ее в своем доме, в зале и никуда не давал хоронить.. Так и стоит она у него... А помните заключительную сцену идиота и Рогожина над трупом... Ха-ха-ха! Хи-хи-хи!

— Это садизм.

— Милый мой, а если в этом садизме воспитать молодежь? А? Создать этих смелых людей. Будем, как боги! И в море, в синее море в распахнутой студенческой шинели и в шубке, с муфтой на руке, сплестясь руками! **Какой простор!** И алое знамя революции и задорные звуки шалящей марсельезы! Но, слушайте, слушайте! — Бога нет, евангелия никто не читает. Помнят его только какие-то старички, над которыми все смеются. Убийство не преступление. Любовь — есть просто животный акт без всяких прелюдий. Собственность — кража. Всё позволено, всё можно... А? **Какой простор!** В шинели и шубке в холодное синее, неизвестное безбрежное море!

— Вы говорите ерунду.

— Я... Нет, ваше превосходительство, уже только не я. Это говорите вы — интеллигенция. Так чего же вы хотите от народа? Слава, честь — вздор... Долой георгиевские кресты. Я был в лазарете. Солдат, солдатик, матросик — герой, кумир изысканных дам. Подвиг солдата, геройство солдата! Офицера замолчали, генералов заплевали. Герой войны солдат. Герой мира — народ... История? — не нужно ее. Наука? — к чорту. Грамотности не надо. Сидят академики и профессора, слышите: — академики и как „Павел Иванов“, мечтают слопать букву „ять“! Сегодня вы: — „ваше превосходительство“. Я сделаю один шаг, назову вас „господин генерал“, а там ахну по имени отчеству, а там — „товарищ“,

а там возьму за горло и стану душить. Сегодня я не отдам вам честь — а завтра исколочу в темном коридоре. Просто!..

— Вы зговариваетесь, глубокоуважаемый, — сказал, вставая, Саблин. Верцинский тоже встал и задул свечу. В небольшие окна стал входить мутный свет. День наступал.

— Что же это будет, — сказал Саблин. — Стадо скотов? Каменный век вернется?

— Да, — отвечал холодно и жестко, отчеканивая каждое слово, Верцинский, — да — это будет стадо. Панургово стадо, которым легко будет править тем семидесяти, что сидят наверху. Это будут рабы их. Они будут целовать их пятки и восторженно выть за каждую подачку. Им будет казаться, что они свободны, потому что ничего сдерживающего, ничего возвышающего, не будет. Вера, надежда, любовь, слава, честь, честность, неприкосновенность личности, собственность: — они будут свободны от всего этого. Они не будут знать своего прошлого, не будут думать о будущем. Они будут жить настоящим.

— Они погибнут.

— Может быть. Но это будет новый мир, непохожий на старый...

Саблин взялся за дверь.

— То, что вы говорили мне — было безумие.

— Нет, только правда. Пойдемте. Наступает заря и я покажу вам еще правду во всей ее пошлости. У нашего полкового командира есть жена Зоя. Он зовет ее Зорькой. Вот уже скоро месяц, как ни на одно письмо его она не отвечает. Я имею сведения, что она окружена людьми новых понятий и на краю бездны, если уже не свалилась в нее. А он молится на нее. Каждую утреннюю зарю, перед тем, как уходить в свою землянку, спастись от аэропланов, он выходит из окопа и долго стоит наверху и смотрит, как загорается небо на востоке. Он молится своей Зорьке, он молится Богу, чтобы было письмо, чтобы Бог сохранил его Зорьку... Ха-ха-ха... Хи-хи-хи... Чудак!

Саблин уже не слушал Верцинского. Он вышел из землянки и пошел по окопу. Окоп был пуст. Небо было ясное,

морозное, бледно-голубое, можно было ожидать налета аэропланов и все люди попрятались в блиндажах. Но было еще тихо. Верцинский шел за Саблиным.

— Не провожайте меня, — сказал Саблин. Верцинский ему был противен.

— Я не провожаю вас. Я иду за нуждою, — сказал Верцинский.

„Скотина“, — подумал Саблин и пожегся плечами.

— Нет, ну, смотрите, пожалуйста, не говорил ли я вам... вправо, вправо, — зашептал, хихикая, Верцинский.

Саблин невольно посмотрел. На скате холма неподвижно стояла одинокая стройная фигура. Они были так близки от нее, что Саблин отчетливо видел бледное, тонкое лицо с мукой любви устремленное на восток. Ему казалось, что он слышит, как Козлов шепчет: — „Зорька! Зорька моя! Где, ты!..“

— Как вам это нравится? Как вы назовете это?..

„Любовь!“ — подумал Саблин, восторженно глядя на Козлова и ускорил шаги, точно старался убежать от злобно хихикавшего сзади Верцинского, бесцеремонно остановившегося у траверса.

„Любовь“, — почти громко сказал Саблин, и сердце его забилось. И он уже отчетливо и громко проговорил сам себе с нежностью и сладкою радостью:

— Любовь!..

Х.

После объявления войны Зоя Николаевна Козлова не осталась в том городе, где стоял полк ее мужа, но также как и большинство семейств, уехала из казарм и поехала в Петроград. Отец и мать ее умерли. В Петрограде у ней никого не было, кроме бледных и милых институтских воспоминаний и надежды встретить кого-либо из прежних подруг. За два месяца до начала войны, умерла ее тетка и оставила ей в Петрограде небольшое наследство из квартирной обстановки на пять комнат и капитала в пять тысяч сернями Государственного банка.

Для Козловых, живших на жалованье, это было целое состояние, и Зоя Николаевна со страстью принялась устраивать свое столичное гнездо. У нее была мечта, по окончании войны, которая по ее мнению, не могла долго продолжаться, уговорить мужа устроиться в Главном Штабе, Интендантстве, или по Военно-Учебному Ведомству и зажить веселой столичной жизнью. Этого требовало и будущее воспитание и образование маленькой Вали. Ей удалось найти квартиру из пяти крошечных комнат на Пушкинской улице и в первые месяцы войны она занялась ее устройством. Она наняла горничную Таню, молодое, красивое, легкомысленное существо, наряжавшееся в изящные чепчики и передники и скоро ставшее наперсницей Зои Николаевны. От Александра Ивановича письма приходили часто и были нежные и трогательные, она писала ему тоже каждый день, заботы о маленькой Вале и ее гардеробе поглощали много времени, вечера она коротала или одна в театре, или вдвоем с Таней в кинематографе. У ней явилась страсть к кинематографу и она внимательно следила за каждой новой фильмой.

Но она была всегда одна и это начало ей наскучивать. Квартира была убрана, как бомбоньерка. Над большим зеркалом, волнами к туалетному столику свешивался розовый газ, спальня, веселая, светлая пахла нежными духами. В гостиной по стенам были наколоты японские круглые веера, стоял рояль и на нем толпились фотографии и фарфоровые безделушки, на стенах висели гравюры, изображавшие Мадонну с ангелами, стадо овец в горах, швейцарскую деревню с водопадами. Мебель была старинная, добротная, цельного ореха. Она обтянула ее светлым репсом с розовыми мелкими цветочками, наставила ваз с искусственными пальмами и стало очень хорошо и красиво. Чтобы не скучать, по совету мужа, она устроила себе росписание занятий, играла на фортепьяно и пела, читала по-французски, рисовала, занималась и гуляла с Валею, возя ее перед собою в розовой колясочке, ходила по театрам. Но она была одна и одна. Ей казалось, что она начинает стареть, что ее моло-

дочь загублена, что ее жизнь скучна. Она задумывалась, были ли радости в ее жизни и не находила. Она садилась перед зеркалом и внимательно разглядывала себя. Нет ли морщин? нет ли седых волос? Но морщин не было. На нее из зеркала смотрело молодое лицо вполне созревшей двадцатисемилетней женщины, начинающей полнеть от безделья и скуки. Светло-каштановые волосы красивыми природными завитками падали на чистый белый лоб, спускались на уши, на плечи, а, дай только им волю, широкими блестящими волнами закрывали ей пол спины. Лоб был белый, чистый, немного узкий, но красивый. Тонкие темные брови были над очень большими, серыми блестящими, влажными глазами. Плакала она всегда много и охотно и по всякому поводу. От радости, от счастья, от печали; тронет ее пьеса, поразит ее сцена в кинематографе — слезы сейчас же появлялись в углах ее прекрасных глаз, веки розовели и прозрачная капля катилась по щеке. Нос был белый, чистый, красивого капризного рисунка. Губы полные, бледно-розовые чуть опускались книзу по углам и придавали лицу мило-капризное выражение беззащитности и робости. Щеки были полные, розовые, уши маленькие, зубы без малейшего дефекта, ровные и такие красивые, что многие думали, что они искусственные. Руки и грудь полные и белые.

Строго критикуя себя, Зоя Николаевна решила, что она, конечно, не красавица, но очень хорошенькая. Она вспоминала, как влюблялись в нее в институте, как висли на ней маленькие девчонки, писали ей стихи, как подружки ее называли: „милкой” и “pleurnicheuse”*), но любили довести ее до слез, чтобы потом целовать ее. Она была очень женственна, очень женщина и вкусы у нее были женские. Она любила сладкое, любила сентиментальное, или как говорили в институте „сердцещипательные” романы, мелодрамы и танцы. Танцы были ее слабость.

Разглядывая себя в зеркало, она вспоминала своего Александра Ивановича. Он был на двенадцать лет старше ее.

*) Плакса

Он женился на ней, когда ей было 23 года и она начала бояться остаться старой девой. Любила ли она его? Брак был по любви, но, проверяя теперь в одиночестве свое чувство, Зоя Николаевна приходила к выводу, что она беспредельно уважала своего мужа, слегка боялась его и, только после этих двух чувств, — любила. Он был физически силен, мог смять и стиснуть ее так, что у ней дух захватит и слезы выступают на глазах, после его объятий у ней всегда оставалось чувство боли и синяки на руках. Его страсть пугала ее. Она чувствовала себя перед ним маленькой и глупенькой и, если бы не бесконечное благоговение его перед нею, готовность для нее сделать всё, она боялась бы его. И теперь, в письмах, он давал ей советы, как отец, и у нее к нему чувство любви было не страстное, а почтительное. Александра Ивановича очень любил и уважал покойный отец Зои Николаевны и он внушал и ей это уважение. Александра Ивановича ее отец всегда аттестовал как образцового офицера, молодца во всех отношениях и она благоговела перед ним.

Но, особенно первое время после брака, она, воспитанная в институте, далекая от жизни, не понимала его интересов, его преклонения перед службой, часто осуждала его и плакала. На нее найдет сентиментальный стих, ей хочется тихо сидеть на берегу ручья, под густою липою и молчать, обмениваясь редкими, пустыми на вид, но полными глубокого внутреннего значения словами. — „Как тихо!“ скажет она и целая картина давнишнего, может быть, никогда не бывшего тихого счастья понесется перед нею. — „Правда, милый, это уже когда то было?“ — „Что было?“ — спросит он так просто, что ее сердце наполнится тоскою. Она чувствует, что он не понимает и никогда не поймет ее, и всё-таки говорит: — „Это было очень давно. Может быть несколько сот лет тому назад. Только это было не в России, а в Англии. Вот также, помнишь, мы сидели под громадным деревом, не то дубом, не то каштаном“... Она поднимала глаза и мечтательно смотрела вдаль. — „Нет, помню, отлично, это был каштан. Да, конечно, каштан. Вправо бродили бараны с густою шерстью цвета поджаренных сливок

с ванилью. Меланхоличное побрякивание их больших колокольцев смешивалось с тихими руладами пастушьей свирели, а в воздухе было так же тихо. Ты помнишь?"

— Ах ты, милая моя мечтательница, — говорил Александр Иванович, со вкусом целуя ее руку. — Прости меня, но фельдфебель меня ждет, мне надо идти распорядиться. Он вскакивал на свои стройные упругие ноги и уходил, оставляя ее одну.

„Да, он красив, — думала она. — Но он совсем, совсем другой, он никак меня не понимает. И любит, но не понимает”.

„Он грубый, как и все мужчины грубы”. — И она плакала, сама не зная о чем. Он всегда оказывался занят, у него всегда являлось дело именно тогда, когда ей так хотелось бы помечтать, побыть вдвоем, поиграть, попеть, потанцевать и она оставалась одна.

Своего ребенка, маленькую Валю, она любила, но ведь нельзя же было всю жизнь отдать ему, когда он еще ничего не понимает, не говорит и только плачет. Но она была хорошею матерью, сама кормила его и возилась с ним, сколько могла.

Александр Иванович, как она и ожидала, оказался героем. Он получил георгиевский крест, был ранен штыком в грудь и остался в строю. Сам он об этом не писал. Но его товарищи по полку писали ей восторженные письма о нем, писали, что он был ранен потому, что своею грудью прикрыл солдата. Радостное и горделивое чувство, вызванное этими письмами у Зои Николаевны было отравлено чувством досады: „всё для других” — думала она. „всё для службы, а обо мне и о Вале в эту минуту не подумат!”...

Ее тешило, что ее муж двигался по службе. В 1916 году она стала уже подполковницей и командиршей, правда какого-то неслыханного Морочненского полка, происходившего, чуть не от морошки, но всё-таки полка.

„Какой-то это полк”, — думала она. „Каковы офицеры? Наверно, есть хор музыкантов, адъютант и собрание”. Ей рисовалось, как она будет входить под руку с Александром

Ивановичем, и музыканты будут играть встречный марш, а офицеры вставать и вытягиваться. Мать-командирша! Ей хотелось поскорее увидеть всех этих милых веселых поручиков и подпоручиков в защитного цвета мундирах с алыми лацканами и в эполетах, как она видела последний раз на Пасху в их полку. Да это было хорошо. Мать командирша! Слеза умиления скатывалась из ее глаз и тихо текла по щеке к розовому, красиво опущенному, печальному рту.

XI.

Петроград менялся на глазах Зои Николаевны. Он становился люднее и шумнее. На улицах появились новые лица; — это были беженцы, поляки из Варшавы и других городов Привислянского края. Кругом слышна была польская речь, в граммае стало невозможным получить место, билеты в театры стало трудно доставать, в кинематографах было полно.

Все одевались в защитные франчи английского фасона, в галиффе, все становились военными, милитаризировались. Почтенный доктор, профессор, человек самых мирных убеждений вдруг появлялся в высоких сапогах с грозно звенящими шпорами и с тяжелой шашкой на боку; театры были полны молодыми людьми в защитном платье и можно было подумать, что весь Петроград вот-вот устремится на фронт и сядет в окопы. На улицах висели воинственные плакаты, возвещавшие о военном займе, были нарисованы солдаты, снаряды, патроны. По улицам часто провозили пушки, привязанные к ломовым подводам, везли снаряды, проводили толпы пленных. Часто можно было видеть одного или нескольких раненых солдат в сопровождении кокетливо одетой сестры милосердия, они ходили по улицам, делали покупки, посещали музеи, церкви, соборы, бывали в театрах и кинематографах. Город шумел и жил, или притворялся, что жил войной. Все что-то делали и где-то служили и эта служба не только занимала их, но и давала различные блага земные в виде казенного обмундирования, пайка, хлеба, муки, крупы, консервов, которых уже иногда не доставало на фронте,

но которые можно было получать в Петрограде по особым карточкам и запискам.

И женщины все что-нибудь делали в Петрограде, помогая делу войны. Появились женщины извозчики, женщины трамвайные кондуктора, женщины дворники и швейцары, сменившие своих мужей, ушедших на войну. Жены офицеров тоже мобилизовались. Оне пошли в сестры милосердия, работали в различных складах, мастерских, фабриках, снаряжали патроны, шили рубашки и кальсоны для раненых, запаковывали „подарки”, которыми Петроград и другие города забрасывали армию.

Одна Зоя Николаевна не делала ничего. Она была словно щепка, прижатая бурным потоком к камню. Кругом несутся другие щепки, целые бревна, деревья, куда-то стремятся, бьются о камни, а она стоит неподвижно в тихой заводи, куда ее занесло. Она и хотела бы что-нибудь делать, тоже помогать этому общему делу войны, но она не знала, как и куда толкнуться. Она было сунулась в ближайший лазарет с предложением услуг, как сестры милосердия. Какой-то сердитый врач в белом фартуке мрачными, усталыми глазами посмотрел на ее прелестное личико, готовое заплакать, на ее дорогую котиковую шубку и кокетливую шляпку и спросил ее: — была ли она на курсах сестер милосердия? Она и не подозревала, что этому надо учиться. Она думала, что достаточно только быть доброй, внимательной, любить солдатиков и больше ничего не нужно. Она ответила отрицательно. — „Ну так мне с вами и разговаривать нечего”, — сказал врач, поворачивая ей широкую спину. Из коридора неслись раздирающие душу стоны и пахло очень нехорошо. Слезы потекли по лицу Зои Николаевны. Она подумала — „ах, как все мужчины грубы” — и выбежала вон из лазарета.

Она ходила к Зимнему Дворцу — там тоже шла какая-то работа. Но, когда она увидела громадные двери высокого подъезда, важного величественного швейцара, увидела, как подкатывали к нему автомобили с богато одетыми дамами и собственные экипажи, она побоялась входить. **Ей было**

жутко знакомиться со всеми этими аристократками и она прошла мимо.

Было горько, что она „мать-командирша” жена героя войны, ничего не могла сделать для войны и была, как чужая на этой войне, где ее муж уже пролил свою кровь.

Но она была одна в Петрограде, у ней не было здесь, ни родных, ни знакомых, а если и были — она не знала, где их искать. Она пошла даже однажды в институт, думая там найти совет и помощь. Но и в институте всё были чужие люди. Швейцар был новый, а не старик Илья Григорьевич, ни начальница, ни классные дамы не остались прежние. От большого вестибюля с прямыми колоннами пахло на Зою Николаевну такую тюрьмою, что, вернувшись домой, она так глубоко почувствовала свое полное одиночество, что горько расплакалась и проплакала до поздних часов. Ей было жаль себя. Она решила ехать, не дожидаясь разрешения, на фронт, к мужу, бросить ребенка, бросить всё.

Когда она засыпала, усталая от слез, она не знала, что завтрашний день повернет всю ее жизнь в другую сторону.

ХII.

Покатавши свою маленькую Валю, Зоя Николаевна, после обеда, часов около четырех, вышла пройтись по Невскому проспекту и сделать кое-какие покупки. Был прекрасный августовский день. Над Невским ярко сияло веселое солнце. Торопливо неслись трамваи, увешанные гирляндами солдат в серых шинелях, проезжали редкие извозчики и с гудками проносились автомобили. Столица жила шумною кипучею жизнью. Зоя Николаевна шла, рассеянно глядя по сторонам и остро чувствуя свое одиночество.

— Зоря, ты? — вдруг услышала она восторженный молодой голос, — и хорошенькая девушка в костюме сестры милосердия, с короткой юбкой, едва закрывавшей колени, и в высоких желтых ботинках, быстро подошла к Зое Николаевне.

— Ужели не узнаешь? Ниночка Берг... Ну да, я выросла и переменялась. А ты... Ты все такая же милка и *pleignischeuse*.*)

У Зои Николаевны действительно показались слезы волнения и радости.

— Боже мой! Ниночка! — воскликнула она. Но как ты выросла. Ведь я тебя знала совсем маленькой, а теперь...

— Да что тут необыкновенного. Девять лет прошло с тех пор, как мы расстались.

— Ах, да. Правда, девять лет! Я и не заметила. Но как ты меня узнала?

— А ты совсем не переменялась. Только пополнила немного, похорошела — страсть. Мужчинки должно быть так и липнут к тебе. Сознайся, ты пожирательница сердец? Да? Ты замужем?

— Да, я замужем. И у меня есть славная милая девочка Валя. А ты?

— Нет, я не удосужилась. Всё это пустяки. Теперь жизнь пойдет по-новому и это станет совершенно не нужно.

— Что же ты делаешь?

— Была на высших женских курсах. Бросила. Поступила в консерваторию. Надоело. Такая рутина, так давят настоящий талант, сушат бюрократизмом, что я ушла. Теперь я на драматических курсах. Я поэтесса. Мой сборник сонетов, мои поэмы и песни „о луже” напечатаны.

— Песни о луже? переспросила Зоя Николаевна. Ей показалось, что она ослышалась.

— Да. „Песни о луже”. Лужа это Россия. Это аллегория. Это политический сборник. Я даже боялась, что его запретят. Пришлось подмамливать кое-кого. А где твой муж?

— На войне.

— Он доктор, надеюсь.

— Почему? Он офицер.

— Кадровый

— Я не понимаю.

*) Плакса.

— То есть старо-режимный. Корпус, училище, непоколебимая вера в Бога, преданность Государю, любовь, к родине, весь этот ужас.

— Что ты говоришь, милая Ниночка! Какой ужас? Это так и должно быть. За что же умирать, за что же сражаться! А помнишь институт.

— Ах институт! — со злобою сказала Нина.

Она просунула свою маленькую ручку под локоть Зои Николаевны и пошла с ней в ногу, мерно раскачиваясь.

— Милая моя, ты ничего не знаешь. Ты живешь заветами старины, ты не видишь, что делается кругом. Где твои мысли?

— Я думаю, как у всех: — на войне, — отвечала Зоя Николаевна.

— Как у всех. Вот то, чего не должно быть. Созидается великая новая Россия.. Не там, в холодных окопах, а здесь, где всё громче и властнее раздаётся слово народа, на которого уже веет грядущей свободой. Оглянись кругом. Какие теперь стали офицеры и солдаты! Ты посмотри уже солдатчиной от него не несет на сто верст, это не раб Царя и произвола, это не опричник, но свободный гражданин! Где же ты жила эти два года, что проглядела эту эволюцию войска! Ведь это наша работа, работа революционной молодежи.

— Я жила в Петрограде, но была совершенно одна.

— И ни с кем не видалась,

— Если бы я не знала тебя раньше, я бы тебе не поведала. Куда ты идешь?

— Домой. Зайди ко мне. Хочешь? Мы напьемся чаю. Поговорим. Ты расскажешь мне. Я жила как в тюрьме, как в одиночном заключении. Я и правда ничего не знаю.

Ниночка согласилась. Ей показывали Валу, но она не проявила особого восторга увидеть маленькое существо, копошавшееся в плетеной кровати.

— Растет будущая гражданка, — сказала Ниночка. Зоря, сумей воспитать ее в понятиях истинной свободы и любви к человечеству.

Она отвернулась от заплакавшей Вали и прошла в столовую, где охотно принялась за чай. Зоя Николаевна долж-

на была подробно рассказать всю свою жизнь. Ниночка слушала ее, как доктор слушает больного, рассказывающего историю своей болезни. Иногда она прерывала Зою Николаевну вопросами, которые заставляли ее мучительно краснеть.

— Зачем тебе это знать? Ты девушка, — сказала она, наконец.

— Зоря, я знаю, что ты не осудишь меня и поймешь. Я не девушка.

— Ты замужем, воскликнула Зоя Николаевна, ты нарочно обманула меня.

— Нет. Я предпочла свободную любовь. Сначала это был студент. Ах, как он любил меня! Теперь это офицер, но офицер новый. Он бывший юрист.

— Ниночка. Как же это! чуть не плача, — говорила Зоя Николаевна. — Как же это возможно? А твои родители?

— Я давно оставила родителей. Ах, милка! Ты не поймешь этого сразу. Тебе надо отрешиться от буржуазных предрассудков, уяснить полностью значение гражданской свободы.

— Но как же! Как же, не венчаясь. Один, потом другой. Ведь это кошмар какой-то.

Ниночка весело, непринужденно расхохоталась, вскочила из за стола, схватила обеими руками за щеки Зою Николаевну, расцеловала ее в губы, в глаза и в нос, откинулась на два шага назад, стала в трагическую позу, сложив руки на груди, опустила хорошенькую головку на грудь и, изподлобья глядя на Зою Николаевну, сказала полным драматизма голосом:

— Ну что же? Презираешь? Презирай! Гони меня вон! Зоя Николаевна совсем растерялась.

— Ах что ты, Ниночка! Да разве я могу презирать или осуждать?

— Ты без греха, кидай в меня камень, — мрачным контральто проговорила Ниночка и увидав, что Зоя Николаевна готова в серьёз расплакаться, она обняла ее, расцеловала снова и, взяв за талию, увлекла в гостиную.

— Играешь? — говорила она, — рисуешь, поешь?

— Ах, всё надоело. Не для кого. Завоеешь тут от скуки, а не запоешь, — печально сказала Зоя Николаевна.

— А у тебя отлично. Так тихо, хорошо, на незаметном месте. Можно ходить к тебе, учить тебя?

— Ради Бога! Как я буду счастлива, если ты будешь бывать у меня часто, часто. Хочешь, каждый день. Приходи завтра обедать, или еще лучше завтракать, а потом обедать — на целый день.

— А его можно привести? Он мужчина ничего себе. Сейчас он в гвардейском запасном батальоне работает. Офицерик хоть куда.

— Пожалуйста, — смущенно проговорила Зоя Николаевна.

— Только ты, ради Бога, никому не говори. И мужу не пиши.

— У меня от него нет секретов.

— А это пусть будет секрет. До поры, до времени. Хорошо?

Зоя Николаевна подумала, что Ниночка не хочет, чтобы ее муж знал о ее романе, и согласилась.

— Ну вот, милка! — воскликнула Ниночка. — Славная ты душа. Хочешь я его сейчас вызову. Славно проведем время.

— Ну, как же так.. Без визита.

— Нет, это ты Зоря, забудь. Никаких визитов. Никаких. Это пережиток негодного прошлого, феодализма, рыцарства, отрывка крепостного права, китайские церемонии. Товарищ Борис этого не признает. Придет и зачарует. Он говорит: — заслушаешься. Поет: — рот разинешь. А станет шутить: — от хохота умрешь. Из него прекрасный артист confereancier*) бы вышел, но он партийный работник и весь ушел в работу. Право, я позвоню ему. У тебя есть телефон?

— Нет. Для чего мне телефон. С кем бы я стала разговаривать, когда я одна одинешенька в Петрограде.

*) Рассказчик

-- Ах, как же это без телефона. Придется поставить. Я хочу тебя увлечь, мой милый мотылек в самое пламя революционной борьбы.

Ниночка отошла к окну, стала под искусственной пальмой, сложила на груди руки, как на молитву и вдохновенно произнесла: —

Проклял рабские цепи рабочий народ,
Он зажег негасимое пламя,
Поруганию смело царизм предаст
Всюду поднято красное знамя!

-- Слышала ты это, Зоря! Молилась с ним, с народом нашим, видала юные лица рабочей молодежи, вдохновенно повторяющей за тобою слова стиха — молитвы.

Подымайтесь, весенние восторги!
Поднялись они — и двуглавый орел
Напрягает последние силы;
Чтоб остался в стране роковой произвол
Чтоб царя самодержец постылый!

-- Песня двуглавого орла спета, скоро встанет над народными массами, над тесными рядами солдат — граждан торжествующее красное знамя. Ты помнишь, у Горького, в песне о Буревестнике: „Буря! Скоро грянет буря! Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы: — пусть сильнее грянет буря!“... Вот этих буревестников я приведу к тебе, моя милка, я приведу к тебе борцов за красное знамя, и, когда ты почувствуешь дуновение весны, запах свободы -- мечты о прежнем разлетятся перед тобою в прах, как карточный домик, и ты вкусишь плоды познания добра и зла и ты поймешь тогда, что всё прошлое — чепуха. Тогда ты и меня поймешь. милка, и не осудишь.

— О, что с тобою, Ниночка, но разве я могу тебя осуждать. Да, Боже мой, никогда, никогда, я ни слова не скажу против тебя, я так тебе благодарна, что ты меня учишь. Вижу, что я многое проглядела.

--- Ты не видала новой жизни! ... сказала Ниночка. ---
И я тебя научу ей.

ХIII.

На другой день Ниночка пришла вечером с офицером. Это был плотный человек с густыми слегка вьющимися рыжеватыми волосами, бритый, как актер, с масляными наглыми глазами. На нем был хорошо сшитый френч, короткие шаровары галиффэ, башмаки и обмотки, стягивавшие жирные икры до колена. Он был лоснящийся, сальный и черезчур ласковый. Зое Николаевне он не понравился.

-- Ну вот, Зоря, я и привела тебе товарища Бориса. Честь имею представить --- подпоручик Борис Матвеевич Кноп. Ты зови его просто товарищем Борисом.

- Ну, зачем же так сразу, -- сказал Кноп. Пусть милая барынька привыкнет сначала к нам узнает, полюбит, поймет.

Он почтительно склонился перед Зоей Николаевной и поцеловал ее руку. Зоя Николаевна не могла не заметить, что руки у него выхоленные, на пальцах дорогие перстни и розовые ногти отточены и отполированы, как у светской дамы. От него пахло духами. Зоя Николаевна не знала о чем говорить и терялась, отвыкнув от мужского общества.

Кноп, по ее предложению, сел в кресло и просил разрешения закурить.

-- Волнуешься, Боря, -- сказала Ниночка, хлопая по руке Кнопа. -- Куришь. Первый признак, что волнуешься.

-- Уже больно красива барынька, -- сказал Кноп. -- Я не ожидал. Трудно очень начать, когда не знаешь истинное credo субъекта, с которым приходится говорить.

Ee credo,*) -- смеясь, сказала Ниночка -- Kaiser, Kirche Kinder' Kleider und Kuesche**) - дальше этого милую Зорюшку никто ничему не учил. Институт. Папа. бригадный генерал в глухом богоспасаемом городе Глупове, а муж -- ка-

*) „Верую“.

**) Император, церковь, дети, платье и кухня.

питан, лихой ротный командир, георгиевский кавалер — слуга Царю, отец солдатам.

— Что же, — сказал Кноп, — все это очень хорошо. Нетронутая натура, не переболевшая — это куда восприимчивее, чем человек сомневающийся и уже боровшийся. Что вы знаете, милая барынька? — обратился Кноп к Зое Николаевне.

Зоя Николаевна пожала плечами. Ей было неприятно, что ее так спрашивали, точно учитель на экзамене, или священник на исповеди. Но Кноп устремил на нее умные карие глаза и в них она увидела ласковое внимание и сердце у нее затрепетало. Он ей показался истинным другом.

— Болеете ли вы за нашу многострадальную Родину? — вкрадчиво сказал Кноп.

Зоя Николаевна молчала. Подступали слезы и от этого ее прекрасные большие глаза блестели. Углы рта опускались, она готова была заплакать. Кноп понял ее душевное состояние и заговорил сам. Он говорил красиво, образно, мягкий баритон его журчал и переливался, то усиливаясь, то спадая почти до шопота.

— Идет война, -- говорил Кноп. — Вот уже третий год идет страшная, губительная, небывалая по жестокости война и конца ей не видно. Миллионы жертв, миллионы голодающих вдов, брошенных детей, разоренная до тла страна. Там, на фронте, плохо одетые, босые, голодающие солдаты, проклинающие свою долю и готовые восстать против офицеров, которые их гонят на убой.

— Александр Иванович мне писал, — робко перебила Кнопа Зоя Николаевна, — что они хорошо одеты, сыты и ни в чем не нуждаются. Особенно, когда он был в Зарайском полку. Да и теперь, приняв новый полк, он мне писал, что ему удалось все получить и очень хорошо одеть солдат. Он даже просил ничего, кроме табаку и папирос ему не посылать, потому что все эти подарки, разные шарфы и фуфайки, солдату некуда девать, он их продает и это развращает солдата.

— Ваш муж, — сказал Кноп, — должно быть особенный человек. Таких офицеров, как он, мало. Почти нет. То, что мне приходится слышать с фронта, совершенно противопо-

ложно. Солдат изнемог в борьбе. Солдату нужен мир, но мир теперь невозможен. Мы не можем изменить союзникам, а союзники не могут заключить мир, не разгромив Германию. Нужна победа.

— Ах, они так стараются! — вырвалось у Зои Николаевны.

— Но они никогда не победят, пока старый отживший мир не уступит место новому. Идея монархии отжила свой век и монарх уже не нужен народу. Монарх бесконечно скомпрометирован в глазах народа. Распутин с его страшным влиянием на дела войны и государства, Александра Федоровна, тяготеющая к Германии, — невозможные назначения, ведущие армию к поражению: — всё это показывает, что старый мир готов рухнуть и на смену ему идет новый прекрасный мир.

— Господи! Что же будет! — со страхом воскликнула Зоя Николаевна.

— Будет вечный мир, свобода, равенство и братство людей. Разве можем мы жить, если мы только люди, если бьется в нас человеческое сердце, когда знаем, что наши братья томятся по каторгам, что Нерчински и Зерентуи переполнены интеллигентными, умными людьми, вся вина которых только в том, что они, страдая за народ, хотели протянуть руку гибнущему брату! Как можем мы спать спокойно на мягких постелях, когда дикие жандармы в поездном купе безнаказанно насилуют девушку, обвиненную в политическом преступлении. Можем ли мы есть и пить, когда расстрелы идут по темным закоулкам крепостей и виселицы ставят на рассвете в тюремных задворках. Свободы личности, неприкосновенности жилища жаждем мы. А где оне? Поймите слова нечитанного вами и не печатанного здесь поэта:

Арестован! — ворвались ночью гурьбой.

И в столах и в шкапах перерыли,

Если б можно, они бы нахльной рукой

Даже сердце и душу раскрыли....

Жандарм, полицейский и дворник, звон цепей и кандалы на каждое свободное слово, на каждую мысль, направленную

на защиту страдающего брата! Возможно ли это!? Думали ли вы, Зоя Николаевна, что все эти юноши, девушки, чистые Русские девушки, прекрасные юноши, которые отреклись от уюта богатой жизни и ушли от родителей, чтобы говорить свободное слово, что они негодяи и преступники?! Писаревы, Добролюбовы и Герцены достойны ссылки, изгнания и тюрьмы? А те, которые хотели слабыми силами выразить всю мощь народного гнева, те, кто шел, чтобы кровью крикнуть о возмущении народа — все эти Рысаковы, Желябовы, Перовские, Гельфман, Каляевы, лейтенанты Шмидты, Маруси Спиридоновы, — что же, ужели они достойны виселицы за то, что мстили за поруганные права и боролись за свободу? Ужели думаете вы, что их имена нами забыты? Что мы не помним их окровавленных могил, что мы забыли их в ссылке? Они не за себя легли в данную могилу, но за нас. Ваша подруга, шутя, конечно, сказала о вас, что Kaiser, Kirche, Kinder, Kleider und Kueche*) составляют весь интерес вашей жизни. Это потому, что вы не слышали других святых слов. Братство, равенство, свобода. Свобода личности, свобода слова, свобода печати, свобода собраний, стачек, неприкосновенность личности и жилища — разве это не выше всего? Идет, Зоя Николаевна, новая, молодая Россия и мы хотели бы, чтобы вы не отстали от нас. Тесно, сплоченными молодыми рядами, мы пойдем к святой свободе и скоро будет день, когда ружья и пушки откажутся стрелять по своим братьям.

Кноп подошел к роялю и сел на табурет. Он взял несколько мощных аккордов марсельезы.

— Какая музыка! Какая сила! Какая мощь! А?

— запел он приятным баритоном. —

Мы марсельезы гимн старинный
На новый лад теперь споем —
И пусть трепещут исполины
Перед проснувшимся врагом!

*) Император, церковь, дети, платья и кухня.

От Двуглавого Орла к красному знамени

Пусть в песне мощной и свободной
Их поразит, как грозный бич,
Могучий зов, победный клич,
Великий клич международный:
Пролетарии всех стран,
Соединяйтесь в дружный стан!
На бой, на бой
На смертный бой
Вставай, народ — титан:

— Вы должны разучить слова этого гимна свободы. Когда мы пойдем с ним дружными рядами, с нами должны быть и вы.

— Но... как-же... война?.. — тихо сказала Зоя Николаевна и умолкла.

У нее была зеленая десятиверстная карта, купленная ею в магазине Главного Штаба. На ней красным и синим карандашом она отмечала по газетам и письмам Александра Ивановича те места, где были бои. Все эти Бережницы, Любашевы, Рудки Червище, Воли Снятыцки, ей были родными и знакомыми. Там была таинственная, неведомая война, о которой она имела смутное представление по газетам и иллюстрированным прибавлениям. Там был ужас и смерть, но там были ее воздыхания и молитвы.

— Война, — сказал Кноп, — не там, а здесь. Будет победа здесь и там всё полетит к чорту и свободный народ сокрушит врага и прогонит его далеко за пределы Русской земли. Да и что такое — пределы Русской земли? Никаких границ, никаких пределов, никаких таможен не будет знать грядущее братство народов!

Кноп говорил и за чаем и после чая. Он говорил почти всё время один. Он не давал возражать себе. Да и могла ли Зоя Николаевна что-либо возразить, когда всё было так прекрасно? Но ей было все-таки горько. Подвиг ее мужа, его георгиевский крест, то, что она, Зоя Николаевна, мать-командирша, что ее Александра Ивановича и ее будут встречать в собрании полковым маршем музыканты и дежурный офицер подходить с рапортом, этого как-будто в будущей новой России не предполагалось. И она не могла себе пред-

ставить, что же будет тогда на месте Морочненского полка и ее Александра Ивановича? Выходило, как будто, пустое место. Шумливо и сумбурно под звуки марсельезы, по чужому звучащей для нее, выявлялась какая-то громадная толпа каких-то пролетариев и в ней без остатка тонула личность ее Александра Ивановича, ее самой, Вали, значение подвига и святость креста. И объять этого она не могла. Ей хотелось задать множество вопросов, самых мелких, но и самых для нее важных. Будет ли она „барыня” и будет ли ей служить ее милая Таня? Можно ли будет ходить в церковь и на Рождество устраивать елку для Вали и смотреть мокрыми от слез глазами на ее огоньки и вспоминать прошлое? Будут ли вербы и свечи, с которыми так приятно возвращаться домой, закрывая их бумагой, или ладонью от ветра? Будет ли Пасха, яйца и христостование и окорок на столе?

Но спросить об этом она не смела, а Кноп всё говорил и говорил.

Когда в первом часу ночи он уходил, Ниночка безцеремонно выпроводила его вперед, а сама осталась на минуту в прихожей обменяться впечатлениями с подругой.

— Ну, как Зорюшка, тебе понравился мой Боря?

— Ах очень, — печально ответила Зоя.

— Не правда ли, какой он умный? Я считаю его прямо гениальным.

— Да. Конечно. Но я многого не поняла.

— Сразу и не поймешь. Это не дается сразу. Мы будем часто ходить и тогда постепенно всё тебе станет ясно. В октябре на пулеметные курсы в Ораниенбаум приезжают три его товарища — Осетров, Гайдук и Шлоссберг — вот теплые ребята! Я непременно приведу их к тебе. Кноп — это теория и ученость — а эти — мы их Атос, Портос и Арамис прозвали — эти практики. И какая сила! Настоящие братья-разбойники. Ну да двое-то первых из народа. Черноземная сила. Но прелесть какие ребята! Так ты довольна?

— Очень! Очень! — сквозь слезы отвечала Зоя, провожая подругу.

Ей хотелось плакать...

XIV.

Ниночка стала бывать у Зои каждый день и почти всегда ее сопровождал Кноп. Они вместе обедали, ходили по кинематографам и театрам, пили чай вечером и Кноп развивал Зою, открывая перед нею те широкие перспективы, которые будут в новой свободной социал-демократической России. По его словам царство Божие, великая правда спускалась на землю и на земле наступал рай. Зоя Николаевна, слушая его, восхищалась. Не будет смертной казни, не будет тюрьмы и ссылки, все будут счастливы, не будет обиженных и обездоленных. Как это будет дивно хорошо! Но, оставаясь одна и перебирая в мыслях своих всё то, что говорили Кноп и Ниночка, тоже старавшаяся, по мере сил, развить подругу, Зоя открывала в будущем раю много таких подробностей, с которыми никак не мирилось ее сердце.

Был праздник, крепкий осенний воздух хватил неожиданный октябрьский мороз, гулко звенел благовест, в открытую форточку гостиной доносились могучие удары колоколов Знаменской церкви, им справа отвечала менее слышная, заглушенная шумом города Владимирская и издалека, тая в прозрачной синеве бледного неба, звучал Казанский звон. Этот благовест поднимал со дна сердца волнующие воспоминания. Так же прислушивалась она к колоколам и в институте, когда вдруг открывали окна и несла свой благовест Знаменская, а ей отвечала Владимирская и всё покрывал Казанский собор. А как это было хорошо на Пасху!

В новой России этого, как будто, не должно быть. Кноп касался этого вопроса осторожно. Ниночка на прямо поставленный вопрос о церкви отвечала смеясь: — „лучше без попов. Что попы! только обирают и обманывают народ“. Зоя вспомнила восторженно-умилненное чувство, которое охватывало ее перед причастием, чувство душевной чистоты и устремления ввысь после причастия, белые одежды, изящную прическу, чай не во время, предупредительность домашних к причастице, Христовой невесте, и ей до боли становилось жаль всего этого. У Кнопа выходило так, что церковь останется, но кто хочет, — ходит и верует, а кто не хочет,

никто не неволит. Тайнство не тайнство, а просто свое удовольствие, и богослужение в храме ничем не разнится по смыслу от театрального представления. Детей закону Божьему учить не предполагалось, но кто хочет, может приглашать к себе на дом священника и пусть тот учит.

Кноп и Ниночка напирала на то, что Государь очень много сделал зла России, что вообще Цари мучили и тиранили народ и не только они сами, но самая память о них, даже описание их действий и подвигов, история, должны быть уничтожены и вытравлены из народной памяти. Государя они называли не иначе как „тиран“, „Николашка кровавый“ и из-под полы показывали ей ужасные карикатуры преимущественно немецкого изготовления.

Зоя совсем не знала Государя, но она отлично помнила ту суматоху, которая поднялась в институте, когда туда приехал Император с Императрицей. Ее тогда охватило такое волнение, что она даже не видала ясно их лиц. Что то светлое, сияющее, непохожее на людей проходило по залам, кто то говорил стихи, весь институт колыхаясь, как море, белыми передниками, приседал в почтительном глубоком реверансе. Сама Зоя тогда воспитанница шестого класса, танцевала характерную венгерку с воспитанницей Седовой и сама себя не помнила от счастья и волнения. Когда Государь уезжал, барышни вытащили у него из кармана платок, из за этого был страшный спор, потом этот платок разорвали на части, и у Зои и до сих пор в шкатулке с ее подвенечными флерд"оранжами, венчальными свечами и воском с волосами ее Вали, взятыми при ее крещении хранится маленький кусочек батиста от Государева платка.

Все, что случалось в жизни ее отца, и теперь, ее мужа, хорошего, случалось **Монаршею милостью**. Вот и недавно, когда Александр Иванович получил Морочненский, полк, Таня и кухарка поздравляли Зою Николаевну с Монаршею милостью и Таня заказала в булочной большой крендель с ванилью и изюмом и подала его к чаю, по случаю — Монаршей милости.

Без слез и умиления Зоя не могла слушать Русского гимна и всё, что касалось Государя и России, было для нее свято.

В новой России, вместо Государя, будет народ. „Сам народ“, говорил Кноп, „через своих избранников будет вершить все свои дела“. Кноп много объяснял ей о великом значении прямого, равного, тайного и всеобщего голосования и называл его священной четыреххвосткой.

Оставшись одна, Зоя достала небольшой ученический атлас, развернула карту Российской империи и, сморщив белый лоб и нахмурив брови, углубилась в воспоминания институтской географии. Географию она любила и по географии у нее всегда было двенадцать. Она смотрела на большие зеленые пространства, по которым змеились черные реки, где не было железных дорог и очень редко виднелись надписи странных, не виданных городов. Якутск, Енотаевск, Колымск, Петропавловск, Гижига — читала она. Она спускалась ниже к скромному бледножелтому пятну, окруженному коричневыми горами, читала названия Пржевальск, Джаркент, Кокчетав и думала, как там будут избирать и как оттуда на оленях, на собаках, на лошадях, через леса и горы, через тайги и тундры, через пустыни и степи поедут все эти самоеды, якуты, буряты, киргизы и будут вершить, вместо Государя, дела России...

И Таня будет вершить и их денщик Ибрагимка татарин, косолапый, всему смеявшийся и ничего не понимавший, которого Зоя и за человека не считала.

Она высказала свои сомнения Кнопу.

— Что же, если выберут, — сказал Кноп.

Он говорил ей о Думе. Она вспоминала картинку заседания Думы, вспоминала свои впечатления о посещении Думы и рослую осанистую фигуру с барскими широкими жемами Родзянки.

Государь, или Родзянко?..

„... конечно, Государь. Родзянко был человек, а Государь...”

Но она не смела сказать того, что думала, Кнопу. Она чувствовала, что у Кнопа, как и у всех, кто с ним, развита

почему-то страшная ненависть и злоба к Государю, и говорить об этом не стоило. Но странно было думать, что якуты, буряты, самоеды, Таня и Ибрагим вместе с Родзянкой будут решать все Русские дела, объявлять войны, заключать мир, посылать посольства. „Да станут ли с ними еще и разговаривать там, в Европе?” — думала Зоя, но молчала.

Дальше, по рассказам Кнопа, выходило совсем чудесное, как в сказке. Войско и полиция, суд и тюрьмы уничтожались за ненадобностью. Главная причина всех человеческих преступлений — деньги, отменялись. Всё, что нужно человеку для жизни — пища, одежда, жилище, всё это будет общее и будет выдаваться людям по мере надобности бесплатно.

„Будет ли это хорошо?” — думала Зоя Николаевна. „Вот уже теперь ввели карточки на сахар, на муку, в интендантском складе выдают по квитанциям крупу и консервы и не даром, а за деньги и то сколько мучиться приходится, стоя в очередях и, переходя от барышни к чиновнику и от чиновника к приказчику. И сколько злоупотреблений и зависти. Одним почему-то дают, другим нет. Прежний порядок был куда проще, — зашел, взял и заплатил. Она высказала свои сомнения насчет практичности такой системы Кнопу, но тот пожал плечами, сказал: — „обывательская психология” и стал длинно и подробно рассказывать ей об обмене труда на продукты. Труд писателя, чиновника, художника, актера приравнивался к труду сапожника, землепашца, скотовода, высчитывался и как-то волшебным образом обращался в право на комнату, на постель, на одеяло, на кусок хлеба, обед в общей столовой, бутылку пива, кресло в театре.

В воображении Зои появлялись, табуны, стада людей, которые что-то делали, а больше вместе ели и сидели по театрам. Было необычно, нежизненно, и в общем, непонятно.

— Но, если я не хочу быть вместе, в общей столовой, а хочу быть у себя за столом, чтобы Таня мне служила, и сидеть со своею посудой и есть то, что я хочу?

— Этого уже нельзя будет, милая барынька, — говорил Кноп и на лице его было написано: ежели бы ты не была

такая хорошенькая, я бы с собою и разговаривать не стал. — Равенство требует отмены собственности.

Но, когда затронули вопросы любви, Зоя Николаевна пришла в ужас. Этот деликатный вопрос Кноп поручил Ниночке. Но только Ниночка начала говорить, как Зоя Николаевна заплакала и замахала руками.

— Это какие-то собачьи понятия, — воскликнула она. — И не говори, милая Ниночка, родная моя, не говори. Мне просто гадко это слушать. Это и вообще-то гадость, а так, как ты говоришь, с любым мужчиной, хоть на полчаса. Нет, нет, оставь! А дети! Как же дети! с отчаянием закричала она и став пунцово красной убежала в другую комнату.

— Ах, как сильны буржуазные предрассудки! — вздыхая, говорил Кноп, когда Ниночка рассказала ему результаты своего разговора о свободной любви.

Социал-демократический рай будущей России казался Зое Николаевне далеко не раем, а грязной толпой, мечущейся беспорядочно от удовольствия к удовольствию и не сдержанной никаким трудом. Все было смутно и неясно и прозревать она стала только тогда, когда к ней однажды вечером нагрянула вместе с Кнопом и Ниночкой веселая шумная компания из Осетрова, Гайдука и Шлоссберга и с ними какая-то странная девица, свысока протянувшая Зое Николаевне холодную руку, устремившая на нее большие светлые русалочьи глаза и назвавшая себя „товарищ Дженни“.

XV.

Все три офицера были одеты изысканно и богато, но каждый имел нечто свое в одежде и манерах.

Осетров в прекрасно сшитой, защитного тонкого сукна, рубахе, в широких Русских шароварах и высоких, хорошей дорогой шагрени сапогах, с клоком волос на лбу, с ухватками деревенского парня, походил на ухаря купца. Он вдруг наполнил маленькую гостиную Зои шумом, говором, и широкими жестами разгульного Волжского разбойника. Говорил он громко, с прибаутками, звонко хохотал, сверкая белыми зубами, и очаровал прежде всего Таню, не спускавшую

с него восхищенных глаз. На лице и в жестах у него сквозило: — всё могу! всё позволено, всё куплю.

Гайдук был в модном френче, галиффэ, утрированно широких у бедр, башмаках и обмотках. Вся его фигура квадратная, точно составленная из геометрических линий давила своею определенностью. Он почти ничего не говорил и, как только познакомился с Зоей устремил на нее тяжелый неподвижный взгляд. Широкое, круглое, бритое лицо его лоснилось от пота, и около ушей и на висках были прыщи и черные угри. На большом мясистом рте играла сладострастная улыбка, обнажая два ряда редких, мелких, желтых зубов.

Шлоссберг одетый во френч, имел под ним рубашку со штатскими высокими крахмальными воротниками, подпиравшими его подбородок. На нем были длинные брюки и штатские ботинки на шнурах. Он один был без ремня на френче, висевшем на нем свободно, как штатский костюм. Голое, синевато белое лицо его, с глубокими синяками под глазами было нездорово. Взгляд был тусклый и усталый, движения медленные, ленивые. Он протянул Зое руку с длинными тонкими пальцами и холеными отшлифованными ногтями жестом короля, ожидающего, что у него поцелуют руку. Волосы бледно желтого цвета были тщательно разобраны пробором и блестели. На лбу и на затылке уже была лысина.

Товарищ Дженни была одета в мужскую рубашку с галстухом ярко красного цвета, зашпиленным булавкой с Адамовой головой. Поверх рубашки был пиджак синего тонкого сукна. Такая же юбка охватывала ее узкие бедра и кончалась немного ниже колена. Дальше были высокие желтые сапожки на шнурках. Она была бы красива со своими обесцвеченными водородом светло желтыми волосами, с большими задумчивыми, загадочными глазами, если бы ее лицо не было мертвенно бледно нездоровою бледностью белокровия. Она смотрела то на того, то на другого из гостей пристальным печальным взглядом и вдруг разражалась веселым истеричным смехом. Тогда лицо ее оживало.

Зоя Николаевна при виде стольких незнакомых мужчин совершенно потерялась, но гости не смущались. Они вошли в ее квартиру, как в свою собственную и Гайдук, ни у кого не спрашивая позволения, закурил толстую папиросу.

— Не удивляйтесь нашей бесцеремонности, — мягко сказал Шлоссберг, обращаясь к Зое Николаевне. Война нас сделала такими. Мы привыкли жать, где не сеяли.

— Под каждым дерева листом ей был готов, и стол, и дом, — развязно сказал Осетров. Товарищу Ниночке привет. Как ваша муза? Нащелкали что либо?

— Немного есть, — отвечала Ниночка.

— Прочтете?

— Это уже, как хозяйка, сказала Ниночка.

— Коммуна, Ниночка, коммуна! Давайте выберем председателя, если хотите, но не хозяйка. Где хозяйка, там есть работники. А мы не работники. Аминь! „Быть по сему!“ „прочел с удовольствием“ — как говорит Николашка кровавый — сказал Осетров.

— Пожалуйста читай, Ниночка, — сказала Зоя Николаевна.

— Просим, просим!

— Нет, я не буду первая. Пусть Шлоссберг прочтет что-нибудь хорошее.

Шлоссберг не отказывался. Он подошел к роялю и товарищ Дженни покорно пошла за ним и села на табурет. Она взяла несколько тактов похоронного марша, потом смолка и редкими торжественными аккордами сопровождала мелодекламацию Шлоссберга.

Как удар громовой, всенародная казнь
Над безумным злодеем свершилась;
То одна из ступеней от трона царя
С грозным треском долой отвалилась...

Дженни ушла в басовой ключ и клавиши звучали мягко и торжественно.

Мрачен царь... Думу крепкую думает он,
Кто осмелился стать судьей

Над тобою, над верным слугою моим
Над любимцем, возвышенным мною.

Шлоссберг рисовал грозную картину видений Царя, нарисованную Ольхиным в его стихотворении „На смерть Мезенцева”.

Царь стоит и не верит смущенным очам;
Как на глас неземного вельня
Поднялись и проносятся мимо него
Рой за роем живые виденья.

Изможденны, избиты, в тяжелых цепях,
Кто с простреленной грудью, кто связан,
Кто в зияющих ранах на вспухших спинах,
Будто только-что плетью наказан.

Тут и лапоть крестьянский, и черный сюртук,
Женский локон, солдатик в мундире,
И с веревкой на шее удушенный труп,
И поэт заморенный в Сибири.

Все притихли. У Зои глаза были полны слез. Она чувствовала, как колебалась ее любовь к Государю и **Монаршая милость** теряла свое обаяние.

Шлоссберг долго читал среди затихших гостей, и звуки рояля уже бурно гремели угрозой и бунтом, и пылко и гневно не говорил, а кричал слова мести Шлоссберг:

-- „И висит эта туча, и будто бы ждет,
Словно крылья орел расправляет,
Но ударит твой час, — грозовая стрела,
Как архангела меч засверкает.
Каждый стон, каждый вздох, пролитая слеза
В огнедышащих змей обратятся,
И в давно зачерствелое сердце твое
Миллионами зубьев вонзятся!

Шлоссберг понизил свой голос почти до шопота, Дженни под сурдинку играла похоронный марш.

От Двуглавого Орла к красному знамени

Полумрак, тишина... пышный гроб и налой.
Образа с восковыми свечами,
И покойник с суровым холодным лицом,
С искаженными смертью чертами.

Несколько секунд в гостиной царила тишина.

— Здорово! — сказал Осетров.

— Да! Эт-то талантище! Эт-то писатель, — проговорил молчавший пока Гайдук.

— Товарищи, сказал Кноп, а как у вас в пулеметном полку, насчет песен и литературы?

— Идеть — сказал Осетров, произнося по мужицки **идеть**. — Тут лёгко. Народ сознательный, ну и начальство растеряно. Рабочую марсельезу разучили, „Вы жертвою пали” — поем, — „ночь темна” знаем, тут можно, а вот в полку — египетские казни пошли. Саблин генерал корпус принял и пошло. Цензура, всё запрещено, только „гром победы раздавайся” и пой. Ну, генерал! И молодой совсем, а такой аспид. Занятия завел.

— Какие же занятия? спросил Кноп.

— Да разные. Укрепления в тылу построил, проволокою окутал, теперь атаки делать заставляет, проволоку резать, через рвы прыгать, ручные гранаты бросать. А то еще музыкантов завел, гимнастику всем полком под музыку заставляет делать. Бегать по часам заставляет. Сам ночью в окопах сидит, а утром к резервной дивизии катит, на занятия, значит. Двух командиров полков прогнал, новых поставил. Тянут солдата. Всех остриг, даже офицеров, вшей уничтожил, честь отдавать заставил. Сам двужильный и других тянет.

— Ну, а солдаты как на это? — спросил Кноп.

— Не одобряют. Погоди, говорят, дай срок мы с тобой разделаемся. Нам говорят, этого не надо, мы воевать не хотим.

— Неприятие войны? — сказал Кноп.

— Надеоло. Окопы замучили. Кабы война настоящая, а то только так. Томление одно. Газов страсть боятся.

— Гм, гм, — сказал Кноп. — Воевать всё-таки придется.

— А нельзя пошабашить, — спросил Гайдук. — Ежели революция и всё такое.

— Нельзя. О н и требуют. И деньги на революцию давали с тем, чтобы никакого мира. Так и пропаганду надо вести — революция, мол, долой Царя, устройство демократического образа правления и — сейчас продолжение войны — в полном согласии с союзниками.

— Трудно это будет, — сказал Осетров.

— Как рабочие? — спросил Гайдук.

— Там всё готово. Наши на местах и каждую минуту готовы стать к власти.

— Помните, товарищ, наши требования — сейчас же демократизация армии, комитеты, выборное начало при назначении на командные должности, отмена дисциплинарной власти, отмена отдания чести...

— Понимаю, понимаю, — торопливо сказал Кноп. *Droit du soldat.**) Декларация прав 'солдата. На это идут. Согласны. П. немного артачится, а Г. идет. Он теперь под подозрением. В Кисловодск удрал. Но вы уверены, что у вас изберут кого надо?

— Боимся, чтобы не Саблина, — сказал Шлоссберг.

— Как так? Ведь вот товарищ Осетров говорит, что его ругают, — сказал Кноп.

— А вот, подите, товарищ, — поймите психологию солдата. Он де кормить стал хорошо, полшубки достал, сапоги — и уже многие за него и про занятия молчат.

— Спровоцировать придется, — сказал Кноп. — Задержать транспорты с продовольствием. Пищу испортить.

— Не учите. Сами понимаем, — сказал Гайдук.

XVI.

После чая стало шумнее.

— Я всё-таки, товарищ Борис, не понимаю ни кубизма, ни футуризма этого самого, — говорил Осетров. — Ну, к чему оно? Какое отношение к революции.

*) Права солдата.

— А мозги на бекрень свернуть. Эх, товарищ, мы так старательно захаяли всё старое, что надо дать всё новое с иголочки, чтобы ничем этого старого не напоминало. Если бы можно, надо было бы новый язык изобрести, вместо Русского. Посмотрит наш дикарь на эти пестрые кубы, цилиндры, конусы, вонзающиеся куда-то, на эту яркую желтую краску, вылупит глаза и дивится, как баран на новые ворота. Это вот картина! Да что простой народ. Есть на наше счастье и художественные критики, которые находят, новое откровение в искусстве кубистов. А, например, товарищ вся та белиберда, которую преподносят теперь поэты, она уже потому нам хороша, что никак не похожа на старое. Слова пошли новые... Я бы и буквы придумал другие. Новая Россия и всё по-новому.

— Боюсь, я не ужогу вам своими стихами, — сказала Ниночка. — Они проникнуты особым настроением и музыкаю слова.

— Прочти их нам, Нина, — сказал Кноп.

— Мы слушаем, — сказал Осетров, не сводя знойного страстного взгляда с Зои.

Ниночка встала с кресла, отошла в угол комнаты и устремила мечтательные глаза вдаль.

— Ну! — сказал Осетров.

— Погодите. Я создаю настроение. Помолчите, пожалуйста. Я поймаю минуту, когда начинать.

Все притихли. За две комнаты в спальней тихо, точно жалаясь кому-то, плакала маленькая Валя.

— Ты точно нас на фотографию снять хочешь, — сказала Зоя Николаевна.

Ниночка болезненно сморщилась и погрозила ей пальцем.

— Есть! наконец! — сказала она. Звучным грудным контральтю, растягивая, слова, она начала:

Я больна тобою, мой милый.
Я давно тобою больна.
Со стены смотрит Лик унылый
И на небе луна.

Мне не жить, не жить без тебя.
Умереть я давно готова.
Умереть тяжело мне, любя...
На дворе промычала корова.

Я умру... Схорони меня в поле.
Где цветут голубые цветы.
На том свете я буду на воле....
Я... а со мною — и ты!

— Bravo! — воскликнул Шлоссберг.

— А не украла, Ниночка? — сказал Кноп. — С тобою бывает.

— Нет. — покраснев, сказала Ниночка. — Но, правда, эти стихи навеяны мне стихами одной молодой поэтессы. Такими сладкими, за душу берущими стихами. Ты, Боря, ко мне всегда придираешься.

— Ты, правда, виноват, — сказал Шлоссберг. За это ты должен прочесть твой гимн товарищу Нине.

— Извольте, развязно сказал Кноп.

Я иду в пустыне жалкой,
Воспевая красоту.
Жизнь мне мнится приживалкой
Глупой, хищной, черной галкой
Устремленной в высоту.

Я иду... Кругом теснины,
Рвы, могилы, скалы, горки.
Я пою красоты Нины,
Синих глаз ее глубины.
Жизнь мне кажется не горькой.

Я иду. А солнце вянет, ..
Лес закатом окораля,
В мыслях Нина, точно фея
Лиловя, голубя
Вечно милая мне краля!

— Это мне? Спасибо, Боря, — сказала Ниночка.

— Прелестно, — задумчиво проговорила Зоя.

— Неправда ли, сколько настроения, — заговорил сам Кноп. — И как удалось мне это; — „лес, закатом окорая” — это уже новое. Каждое новое слово мне кажется важным достижением будущего. Например, я придумал слово — „остулиться” — вместо сесть. Неправда ли хорошо. Я остулился — то есть сел на стул.

— Ну... Я отабуретился.

— Ловко.

— Шлоссберг, прочти начало твоей новой поэмы „Пулеметчики—молодчики”, — сказал Гайдук.

— Это я надумал осенью в окопах, когда генерал Саблин тиранил нас, а я мечтал о свободе, — сказал Шлоссберг и мечтательно, полузакрыв глаза, стал декламировать:

Ночь лихая,
Грязь кругом,
Мысли тают
В голове моей пустота:
Мысли.. Мысли..
Будьте смельны, будьте страшны..
Мой пулемет
Поливает дождик..
Дождик не поймет
Что таится,
Что гнездится
У него в стволе.. тра-та-та!

Дождем нас мочит и мучит грязь,
В полку осталась только мразь.
Душа черна, на сердце жар
В груди пожар, пожар, пожар..
Христа у нас как ни бывало,
Над кровью сердце не рыдало,
Без страха, без страха,
Без совести мы,
Без стыда.

Пулеметчики молодые
Будут за народ стоять,
Будут за народ стоять —
По врагам его стрелять!
 Ах ты воля волюшка!
 Девочка нам даст.
 Пьяным, как напьюся я,
 Поцелует, не продаст.
Трепещите офицеры,
Отберем пуховики:
Поднимаются эс-эры
И идут большевики...

— Прекрасно, прекрасно! — заговорил Кноп. Ваша поэма открывает совершенно новые горизонты стихосложения. Ваше пренебрежение размером, своеобразная музыка стиха, оригинальная рифмовка, недосказанная повторенность, неограниченная огранность образов великолепны. Неправда ли Зоя Николаевна, как чувствуется здесь настроение озлобленного нелепою войною солдата, подавленного грязью, тяжелой природой и начальственным произволом? Ваша поэма переживет века, товарищ. Как думаете Вы, Зоя Николаевна? Это выше Пушкина.

— Не знаю, ах, не знаю, — сказала Зоя.
Ее сердце мутилось тоскою отчаяния.

XVII.

Зое Николаевне порою казалось, что кругом нее сумасшедшие, что она попала в дом умалишенных. Они приходили часто. Они бесцеремонно приносили с собою вино, водку и закуски и часов около двенадцати шли в столовую, пили и шумели. Что могла она сделать? Она говорила Ниночке, что это ей не нравится, что ее дом не кабак, и ей неприятно, что они тратят деньги.

— Милка моя. Неужели ты не понимаешь, что это коммуна! В этом наша сила, в этом всё счастье будущей жизни, в которой не должно быть никакого стеснения! Ты заметила,

— Осетров в тебя влюбился с первого взгляда. Тебе подвезло. Он красавчик и богатенький. У его отца, несмотря на войну, пятьдесят запряжек осталось. А у него такой характер, что, если он вздумает закуралесить, как такого навертит, что просто ужас. Он тебе понравился?

— Да, он красивый, но у него страшные глаза.

— Ты говоришь это так холодно. Ты знаешь, как он в тебя влюблен. Когда он говорит о тебе, он прямо скрежещет зубами и выворачивает глаза. Ты должна быть его.

— Что ты говоришь, Ниночка!

— Ты должна отдаться ему. Подумай: — видный партийный работник, вождь будущего движения и такой красавец. Тебе везет.

— Нина, строго сказала Зоя. Я тебя очень попрошу, никогда не говори мне ничего такого. Понимаешь. Это нехорошо. Это гадко, Нина, — со слезами воскликнула она. — Это пошло! И устрой так, чтобы господин Осетров у меня больше не бывал.

Ниночка кое-как успокоила Зою. Как-то Зоя позавидовала сапожкам Ниночки. На другой день, в неурочное время, после завтрака, к ней явился Осетров со свертком. Она хотела отказать ему и не могла. Когда она вышла в гостиную, он развернул сверток и вынул прелестные высокие сапожки.

— Это я вам, Зоя Николаевна. Примите от меня презент. Осчастливьте! Вы хотели.

— Нет, Михаил Сергеевич. Ни за что. Разве можно делать такие подарки. Уберите их. Оставьте меня.

— Зоя Николаевна, ну, только примерить. По ноге ли я вам купил. Угадал ли размер.

Он стоял против нее, держа лакированные черные высокие сапоги на руке. Глаза его горели страстью. На лбу у волос выступили капли пота. Широкая грудь тяжело дышала. Но во взгляде она уловила робость. Руки его дрожали. Сапожки были восхитительны, и Зоя беспомощно села в кресло. Он понял это, как разрешение примерить и кинулся к ее ногам. Дрожащими руками он стал расшнуровать ботинки и сняв их натянул до самого колена сапожки.

— Ну как? Хорошо? Пройдитесь, — умолял он, не вставая с колен.

Зоя Николаевна прошлась. Сапоги сидели отлично. Маленькая ножка была, как облитая. Зоя не могла скрыть, что сапоги ей понравились.

— Ну, теперь давайте, я сама сниму и уходите с ними, ради Бога! Какой вы сумасшедший! Она села в кресло. Он кинулся к ней и стал покрывать жадными поцелуями ее ноги, все выше и выше поднимая юбки. Зоя Николаевна оцепенела от такой наглости и чуть не лишилась чувства от страха.

— Вы... Вы... негодяй!.. Вы с ума сошли! — вскакивая, закричала она. — Идите... Идите вон!

— Прелестный тигренок! Ты будешь моя! Что хочешь возьми! Всего меня возьми? Но отдайся мне, воскликнул Осетров.

Он хотел охватить ее руками, но она выскользнула, опрометью бросилась в спальню и заперлась на ключ.

— Зоя, — крикнул он, — пусти! Я с ума сойду, Зоя. Лучше покончим добром.

Она молчала.

— Зоя! Я такого натворю. Мне все равно. Я отпетый. На смерть и на казнь иду.

Ни звука.

Он ломился в дверь. Пришла Таня. Зоя вызвала ее изнутри звонком.

— Уходите, Михаил Сергеевич, полноте скандалить, сказала, смеясь, Таня. — Ну что вы в самом деле задумали. Жена полковника и муж на войне. Генеральская дочка, а вы такое задумали, прости Господи. Разве можно. В благородном семействе.

— Таня! — с мольбою сказал Осетров. — Пойми меня. Хочу!

— Ну уходите, Михаил Сергеевич, будет скандалить.

— Я с ума сойду. Таня!

Его дикие воспаленные глаза устремились в карие глазки Тани и что-то в них прочли. Какая-то искра проскочила из глаз Тани в его глаза и обратно, еще и еще. Таня вдруг побледнела и стала тяжело дышать.

— Озолочу, Таня!

— Не надо, Михаил Сергеевич, — отходя сказала Таня и остановилась в дверях.

Осетров медленно последовал за нею. Его руки сжимались в кулаки. Он ощущал всем телом чувство беглых поцелуев по стройным нежным ногам Зои Николаевны. Он почти не помнил себя.

Таня убежала в свою комнату, оставив дверь открытою. Осетров пошел, крадучись, за нею.

— Озолочу! — сказал он, сам не понимая того, что говорит. Таня бледная, тяжело дышащая, стояла у окна, спиною к свету.

Осетров подошел к ней, схватил за талию и губами встретил ее ищущие поцелуя губы.

— А! пролетарка! — прохрипел он. -- Будь как она! Запрись. Откажись! Подлая кровь!... — и он тяжело повалил ее на кровать.

XVIII.

Семь дней Осетров не показывался к Зое. По намекам его товарищей она могла понять, что он кутил и шатался по таким местам, которые при всей свободе обращения, Кноп не назвал. Ниночка сжала руки Зои и сказала ей с горьким упреком: — ах что ты наделала, Зорюшка! Осетров седьмую ночь кутит с самыми последними женщинами. Погиб мальчишечка совсем.

На восьмой день Осетров появился, как ни в чём не бывало. Он почтительно поцеловал руку Зои. Он был тщательно выбрит, надушен. Лицо его осунулось и побледнело, веки глаз налились и опухли, взгляд был тяжелый.

--- А. -- сказал Гайдук, — пожаловали — и запел:

Только ночь с ней провозжался

Сам на утро — бабой стал!

-- Оставь, — сурово сказал Осетров. — Помни уговор!

Вечер шел как всегда. Говорили о политике, о Распутине, о неизбежности революции, о тяжести войны. Ниночка декламировала, потом заставили танцевать Дженни с Зоей

модный уан-степ. Зоя разошлась, расшалилась, происшествие неделю тому назад стало казаться ей не кошмаром, а забавным приключением. Она прошла в свою комнату, надела высокие сапожки, подарок Осетрова, и вышла в гостиную.

— Ниночка, — сказала она, — давай венгерку.

Танцевала она отлично. Та скромность, с которою она танцевала, классические па, которые она делала, увлекали всех больше, чем разнузданные движения Дженни, танцевавшей потом со Шлоссбергом матросский танец.

Глаза у Осетрова разгорелись, лицо стало красным и он дико озирался. За ужином он много пил водки и коньяку. После ужина он вышел в гостиную и, остановившись у рояля, запел без аккомпанимента сильным, полным страсти голосом:

Этот ропот и насмешки
Слышит грозный атаман,
И он мощною рукою
Обнял персианки стан.

Брови черные сошлись,
Надвигается гроза
Буйной страстью нахлылись
Атамановы глаза.

Волга, Волга, мать родная,
Волга Русская река!
Не видала ль ты подарка
От донского казака:

— Эх, товарищи! Было времечко! Золотое времечко! Княжнами владели... А не то что,.. тьфу! Генеральская дочка! Что нам генералы. Плевать,.. и он выругался скверным Русским слово.

Он помолчал и дико оглянулся кругом. Все примолкли.

— Я говорю -- плевать. Ерунда! Вздор! К чортовой матери.

-- Эх, Миша! Был ты коммунист. А стал буржуй! -- сказал Кноп с упреком.

Ну, довольно! — строго обрезал Осетров. — Нечего скулить. В чем свобода, товарищ Кноп? Хочу — могу! Не так ли — а? В борьбе обрешь ты право свое? А? Эх вы, голодранцы, мелкие душонки. Вы только на слова горазды. Царизм! Красное знамя! А красное знамя под тюфяком держите! Смелости нет ни у кого. Интеллигенция заела. Права ищите. Хочу, вот мое право!

— Дерзай, — сказал, нагло подмигивая, Гайдук.

— Вы мешаете, — глухо проговорил, опуская красивую голову, Осетров.

— Уйдемте, товарищи, что в самом деле, — сказал Шлоссберг. — Человек с ума спятил.

Ниночка истерично смеялась. Дженни в упор смотрела, не мигая, в глаза Зои, и ее лицо было мертвенно бледно. Кноп пожимался, он чем-то был очень недоволен. Все суетились с какими-то гаденькими, пошлыми улыбками, и одевались в прихожей. Осетров оставался один в гостиной, всё в той же презрительной позе со скрещенными на груди руками. Зоя Николаевна растерянно смотрела на всех. Она ничего не понимала. Ей казалось, что все делают что-то худое и торопятся это сделать скорее. Она видела, как Гайдук что-то шепнул Тане, подававшей ему пальто, и Таня сейчас же ушла и вернулась, бледная, в большом платке и пальто.

— До свиданья, Зорюшка. И будь умницей. Верь, что так надо, — сказала Ниночка и поцеловала Зою. — Вам надо объясниться.

Все ушли и со всеми ушла и Таня. Все предали Зою во власть этого страшного человека. Зоя решила бежать в спальню и запереться. Не сломает же он двери? Но Осетров как будто понял ее мысли. Он быстро подошел к ней и схватил ее похолодевшие руки. Она устремила на него умоляющие глаза.

— Михаил Сергеевич, — прошептала она, — пустите меня. Вы не сделаете этого.

Нет. Сделаю, — тихо сказал Осетров, еще ниже опуская голову.

— Вед это не любовь, — сказала Зоя. — Это насилие. Это подлость.

— Вы знаете, что ни любви, ни подлости я не признаю, — сказал Осетров, пристально глядя в покрытые слезами глаза Зои.

— Пустите меня! — прошептала Зоя. — Ну, миленький, хороший, пустите!

— Зоя Николаевна, я все-таки был честен. По вашему... По прописной буржуазной морали был честен. Я хотел оставить вас и забыть. Не могу. Пришел, чтобы проститься навсегда. А вот затанцевали вы венгерку — и всего меня взяли.

— Пустите!

— Зоя Николаевна! Я ведь новый человек и то, что было и то, что будет, ни во что считаю. Мне человека убить всё одно, что вошь раздавить. Без предрассудков, значит. Борьтесь будете, — задушу и мертвую возьму. Мне всё одно, — тихо, но настойчиво сказал Осетров и перехватил за талью Зою Николаевну.

— Эх, полюбила ты мне! Генеральская дочь! — сказал Осетров, легко поднимая Зою. — Пырышко!

Он понес ее в спальню, больно сжимая ее своими сильными руками и склоняясь своим разгоревшимся лицом к ее лицу. В темных глазах его лучилась любовь зверя.

Зоя Николаевна затихла, поняв, что борьба бесполезна.

Разбуженный тяжелыми шагами ребенок в колыбели проснулся и заплакал.

— Ребенка постыдитесь, — прошептала Зоя.

— Плевать! — сказал сердито Осетров и бросил Зою на постель.

— Спасите! — хотела крикнуть она, но в груди не было голоса.

Темное забытье спустилось над Зоей...

ХІХ.

13 декабря, вечером, Саблин получил приказ Государя Императора Армиям и Флоту, в котором говорилось о задачах и целях войны. Он читал и перечитывал его. В красивых благородных формах старого Русского языка было

сказано о твердом решении Государя, в единении с народом, продолжать войну до полной победы над врагом и о заветных Русских целях: — Константинополе, на котором должен снова воссиять православный Русский крест, проливах, передаваемых России и о полном отделении Польши от России и создании из нее свободного государства.

Этот приказ был ответом на речь Милюкова, сказанную в Думе в ноябре и в тысячах экземплярах распространенную по фронту, это был благородный призыв к наступлению и победе. Саблин так и понял этот приказ. Он знал, что в соседнем корпусе шили белые балахоны, чтобы, пользуясь зимой, можно было ночью незаметно резать проволоку.

„Вот это“, подумал Саблин, „действительно повеяло весною!“ Он решил сам прочесть этот приказ в резервной дивизии при возможно более торжественной обстановке и объяснить все значение его солдатам. В резерве стояла не та дивизия, которою командовал генерал, не могущий отличить фокса от мопса, но та, которою командовал тихий старичек, бывший директор кадетского корпуса, и в которой первым полком командовал подполковник Козлов.

Утром 14-го декабря, дивизия собралась на обширной лесной прогалине, окруженной землянками полков. Ночью напал густой мягкий снег, в лесу было тихо и говор строившихся людей и крики команд раздавались гулко. 812-й полк был отлично одет в новые прекрасно пригнанные шинели и втягивался на свое место, блестя штыками туго подтянутых ружей. Другие полки за три месяца управления корпусом Саблина тоже приоделись и подтянулись. В двух полках уже появилась музыка и музыканты продували свои трубы и согревали в перчатках мундштуки.

Саблин в сопровождении Давыдова и двух ординарцев, гусара и казака, красивым свободным галопом, ловко сидя на разжиревшей и игравшей на первом снегу Леде, подскочил к правому флангу взявшего на караул Морочненского полка и поздоровался с ним. Могучий крик четырех тысяч человек приветствовал его. Саблин, счастливый и довольный, шагом объехал полки. Его радовала выправка солдат, отчет-

ливость приема, когда брали на караул и с „на караул” к ноге, и более или менее чистая и однообразная одежда. Только одного человека в 814 полку Саблин нашел без погон, сдержался и лишь показал на него пальцем командиру полка. Разумянившиеся на морозе, согретые ходьбою по глубокому снегу люди смотрели весело. Их заинтересовало, почему вместо обычных занятий их собрали всех вместе для какого-то объявления и у многих была затаенная мысль: — уже не вышло ли как-нибудь замирения.

Саблин читал приказ по полкам. Он хотел, чтобы каждый солдат ясно слышал и понял каждое слово Государево.

Первый полк, дрогнув два раза, взял „на караул” и замер. Саблин, въехав в середину батальонов, отчетливо, чеканя слово за словом, прочитал приказ Императора Армиям. Когда он кончил, он приказал взять „к ноге” и стал говорить о значении для России Константинополя и проливов, а сам вглядывался в лица и хотел прочесть те мысли и ощущения, которые бродили в них.

— Вы все земледельцы, — говорил Саблин. — Никто из вас, имея амбар с хлебом, не будет отдавать ключ от этого амбара в соседнюю деревню, но будет иметь его при себе. А у нас, в матушке России, так было. Житница наша, — юг России, богатая хлебом, полная элеваторов и хлебных ссыпок, была закрыта на ключ турками. Захотят турки выпустить наш хлеб на заграничный рынок — пропустят через Босфор и Дарданеллы, а не захотят — и наш хлеб будет гнить по амбарам, а мы не получим ни железа, ни машин, ни кос, ни плугов, ни материи, ни чаю. Наши Государя давно стремились, для блага народа, исправить это. Много войн вели мы с турками. 38 лет тому назад едва не вошли в Константинополь... Но... — Саблин запнулся, вспомнив, что нехорошо обвинять теперешнего союзника. — Не судил, видно, Бог! Не удалось тогда Царю Мученику, Царю Освободителю завершить славное царство свое этою победою и Русскому народу отдать ключи от его житницы... Теперь настает это время. Черное море подлинно станет Русским морем. Наши сыновья и внуки прославят нас за этот щедрый

подарок. Заботясь о Русском народе, наш Государь не забыл и великих страданий Польши. Кровь и разорение Польского Края несут ему ту свободу, к которой польский народ стремился давно. Запомните, братцы, этот великий день, заучите слова приказа Царева и, если кому придется помирать, то умирай, спокойно, ибо за правое дело, за святое дело помираешь. Благословят тебя сыны и внуки твои из рода в род. Из Константинополя, из старого греческого Царьграда, пришла к нам святая вера православная. Но не святой крест, но турецкий полумесяц горит и сверкает над Софийским собором. Пойдем, братцы, и восстановим, по слову Цареву, святой крест на его старом месте!

Саблин повторял эту речь во всех четырех полках дивизии. На него смотрели солдатские лица, он слышал тихие вздохи, но за всем тем ему казалось, что и приказ и его слова дошли до солдат и стали им понятными. Завоевать, забрать себе, улучшить свою и своих детей жизнь — это было понятно для каждого. И проливы были понятны и ясны и поставить крест на Софии хотелось, и Польшу было жалко — всё казалось правильным и ясным, но яснее всего было то, что ночью напал снег, от которого сразу стало как-то теплее, роднее и уютнее в чужом лесу, что погода была тихая, генерал сидел на прекрасной лошади и красиво и ясно говорил звучные бодрящие слова. Объехав полки, Саблин выскочил эффектно, чортом, по-кавалерийски, перед середину дивизии, и сам громко скомандовал: — дивизия шай на краул! Слуша-ай!...

Полки вздрогнули и оцетинились штыками.

— Державному Вождю Русской Армии могучее лихое Русское ура!

Два хора вразброд, но торжественно, заиграли гимн и шестнадцать тысяч человек заревели могучими голосами так, что снег посыпался с мохнатых елей толпившихся на опушке. Едва стихли голоса, как на правом фланге в Морочненском полку кто-то молодо и звонко крикнул ура и загорелось раскатистое ура снова, поднялись трубы и загремел, заглушенный криками людей, властный и могучий Русский гимн. И еще и еще раз кричали ура. Когда кончили и взяли

„к ноге”, то сами удивлялись силе своего крика и были взволнованы и возбуждены.

Саблин пропускал мимо себя полки. Музыка гремела, кое-где пели песенники и люди шли по снегу в колоннах по отделениям и казалось не было конца этим длинным и узким серым колоннам.

По мере того, как уходили полки, пустела площадка и на ней оставалось только затоптанное ногами, почерневшее место, настроение у Саблина менялось. Тоска закрадывалась ему в сердце. Далеко до Константинополя! И правда ли в этих словах приказа, которые казались ему еще минуту назад святыми. Не обманывает ли он снова, как столько раз обманывал, как обманул и тогда, 17-го октября 1905 года? Не ставит ли в неловкое, тяжелое положение генералов и офицеров? Позволит ли Англия исполнить эти, как говорилось в приказе, заветные цели войны? А Распутин? В речи Милюкова не мало говорилось о Распутине, отчего же вместе с этим приказом не пришло известие об аресте, или хотя об удалении Распутина? Приказ написан под влиянием какого-то хорошего, любящего Россию человека, а завтра придет человек, не любящий Россию, не понимающий ее, придет лорд Бьюкенэн, которому этот приказ пеперек горла, придет Распутин и конец ему.

„Да, конечно, ничего и нет”, — думал Саблин, шурясь от солнца, сверкавшего на снегу. „Это обман. Такой приказ должен заканчиваться приказанием армиям выйти из своего инертного позиционного состояния и начать зимнее наступление, выгнать немцев из насиженных теплых траншей и вернуть Варшаву освобождаемой Польше. Этого нет. Всё обман. Обман, Распутин и, как справедливо говорил Пестрецов. — указка Фоша и англичан. Им-то менее, чем кому-нибудь, интересно, чтобы проливы были Русские!”

Рота за ротой, подходя к своим землянкам, брали „к ноге” и с шумом и говором разбегались, снося ружья.

— Земляк, а земляк! Пантюхов, слышь чтоль, что говорил командир корпуса, мириться что ль Турция пожелала? А?

— Какое мириться. Сказано потоль воевать будем, пока не заберем самого Царьграда.

— Эх-ма! Ковеля отнять не можем. Ку-у-ды ж Царьград! Это и невесть где будет.

— Слыхал, хлеб продавать будут с юга России, так чтобы свободнее.

— Прода-ва-ать? Хле-е-б! Вона що еще. А нам, заместо двух с половиной фунтов, по два отпускать стали. Какое же тут продавать. Неладно придумали.

— Товарищи, — это всё иностранные капиталисты затеяли. Для чего нам эти самые проливы! Польша освободиться хочет, пусть сама и освобождается.

— Сказывали казаки, десять лет будем воевать, вот тебе и крышка.

— Пусть казаки и воюют, а у нас дома жены плачут.

Около офицеров толпились солдаты. Ермолов горячо и страстно говорил о величии России, в другой роте молодой прапорщик, уныло читая приказ, розданный в роты, говорил с тоскою: — много еще крови пролить придется, а будет ли толк, кто его знает.

Но в общем приказ, гимн, крики ура, речь Саблина возбудили какие-то надежды, желания и стремления, и солдаты оживленно стали толковать о том, что к Рождеству Ковель и Владимир Волынский будут заняты нами. Кто-то уже слышал, что на юге наши перешли в наступление и не то тридцать, не то сорок тысяч австрийцев забрали в плен.

Приказ создал порыв. А порыв, как учит тактика — не терпит перерыва.

XX.

Дома Саблин нашел весьма спешный пакет, привезенный ему мотоциклистом из штаба Армии. Сам мотоциклист, мокрый от пота и усталый, — он из-за снега ехал всю ночь те тридцать верст, что отделяли штаб армии от штаба корпуса, в шведской куртке, стоял на дворе крошечной халупы, в которой Саблин жил вместе с Давыдовым.

— Ваше превосходительство живете не так, как наши, — фамильярно улыбаясь сказал мотоциклист, интеллигентный солдат. — У нас в такой халупе, да никакой писарь не согласится жить. Всем подавай господские дома, да электричество.

Саблин ничего не сказал и, приняв пакет, стал расписываться в книге.

— Ваше превосходительство, вы не слышали, правда или нет, говорят, Распутина убили?

— Я ничего не слышал, — сказал Саблин и подумал, что, значит, не ему одному пришла в голову та же мысль, что благородный приказ Государя сам собою исключал Распутина.

У нас в штабе тоже ничего не слышали. Я у товарища на радио справлялся и там ничего нет. А только говорят.

— Вы студент? — спросил Саблин.

— Так точно, ваше превосходительство, — отвечал, вытягиваясь, мотоциклист. — Я могу ехать?

— погодите. Я скажу, чтобы вас чаем напоили и накормили. Дорога тяжелая.

— Покорно благодарю. Не надеюсь до ночи вернуться.

Саблин приказал адъютанту позаботиться о мотоциклисте-студенте, а сам, согнувшись в низких дверях, прошел в крошечную халупу с земляным полом и стал рассматривать бумаги.

Первая была частная телеграмма из Петрограда.

— „Приезжай немедленно. Очень нужен общий совет. События чрезвычайной важности. Подробности у тебя на квартире. Репнин, Мацнев, Гриценко”.

Саблин поморщился. После приказа, по смыслу которого выходило, что скоро должно быть наступление, после того, как он увидал результаты работы своей над корпусом, его совсем не устраивала поездка в Петроград, но было очевидно, что те, кто вызывали его, предусмотрели характер Саблина и его нелюбовь к отпускам. Из штаба Армии была прислана телеграмма, которой Саблин был назначен членом Петроградской Георгиевской Думы и должен был немед-

ленно приехать на заседания, которые начинались 17-го декабря. Самойлов позаботился о Саблине и, вместе с телеграммой, прислал предписание и все удостоверения для проезда по железным дорогам. Саблин подал эти бумаги Давыдову.

— Вам придется сейчас же и ехать. Иначе опоздаете, — сказал Давыдов.

— Когда идет поезд?

— По узкоколейке отходит в три часа. Но я вам не советую ехать. Только намучаетесь. Поезжайте прямо автомобилем на Сарны. Если вы в три часа выедете, вы к десяти будете, а поезд идет в половине двенадцатого, да еще и опаздывает.

Саблин отдал нужные распоряжения, написал приказ и в сумерках зимнего дня сел в автомобиль и по мягкой усыпанной снегом дороге поехал на Сарны.

Через сутки он был в Петербурге.

XXI.

Поезд, на котором ехал Саблин, ранним утром подходил к Николаевскому вокзалу. Было темно. На вокзале горели фонари, но на улицах они были погашены и мягкий туманный сумрак лежал над городом. В нем тонули дали Невского проспекта. Адмиралтейства не было видно. Саблин отправил с посыльным свой чемодан на квартиру, а сам пошел пешком по Невскому проспекту. Ему не хотелось идти домой. Дела, по которым его вызывали Репнин с Гриценкой, не могли начаться раньше полудня и впереди было длинное скучное утро, которое некуда девать. Саблин решил пройтись по родному, любимому городу. Впереди была масса дела — поездка на кладбище, на могилу Веры Константиновны, к Ротбек, к графине Палтовой, таинственное дело Репнина, представление председателю Георгиевской Думы, явка военному министру, — но сейчас, до одиннадцати часов было нечего делать. Саблин в Любани напился чаю и теперь хотелось движения. Он был в солдатской шинели не со свит-

скими, а с защитными погонями, на которых римскими цифрами был поставлен номер его корпуса.

На Невском было безлюдно. Саблин заметил, что панели не были очищены от снега, песку не было посыпано. Городовые стояли на улицах не в своих черных, а в солдатских шинелях и были хуже одеты, чем обыкновенно. Некоторые магазины были закрыты, у других, несмотря на ранний час, длинной вереницей, как у театральной кассы, один за другим стояли люди. Это были те хвосты за продовольствием, о которых слышал Саблин, но которых он еще никогда не видал.

Саблин около года не был в Петербурге и не мог не заметить в нем перемен, но его чувство к нему оставалось неизменно. Каждая тумба, каждый киоск, фонарь, вывеска, дом, были ему родными. Каждый неодушевленный предмет он мысленно приветствовал. Фруктовый магазин Соловьева, рыбная торговля Баракова, Милютины ряды. Семга, паюсная и свежая икра, громадные балыки, яблоки, груши, ананасы, — всё так же аппетитно, заманчиво, лежало за зеркальными стеклами, только цены казались громадными. Свежая икра стоила десять рублей, фунт семги восемь. На углах были газетчики; извозчики, правда, более редкие чем обыкновенно, стояли вдоль панелей, их большие лошади были накрыты серыми попонками и сами они похлопывали рукавицами.

„Нет, хорошо!“ — думал Саблин. — „Хорошо в Петрограде“. Он с удовольствием подумал о своей квартире, о мягкой кровати, о ванне, об электрическом свете и тепле.

„Да“, — подумал он, — „это не то, что крошечная халупа в Заставце, земляной пол, собачий холод и раздражающее присутствие Давыдова“.

Он вышел к Казанскому Собору. Серая громада простирала к Саблину каменные руки. Колонны казались седыми от облепившего их инея. Цветники были завалены снегом и из него жалкими прутиками торчали ветки мелкого кустарника. Двери собора были открыты. Кончилась ранняя обедня и несколько человек спускалось по широким ступеням.

Саблин свернул влево и вошел в собор. Казанский Собор напомнил ему детство. Взрослым, офицером, он почти никогда не бывал в нем. Его сразу охватила сумрачная тишина собора. У чудотворной иконы горели свечи, несколько лампад тускло светилось у иконостаса, да отражались огни в гладкой приземистой решетке из серебра, подарке Донских казаков. — „Что-то подарят они теперь”, — подумал Саблин и вспомнил молодого Карпова.

Саблин купил свечку и пошел к иконе Казанской Божией матери.

Он тихо шел по скользким плитам. В углу собора два человека, из причта, о чем-то спорили сдержанными голосами и гулкое эхо разносило звуки их голосов по собору, заглушая шаги Саблина.

У самой иконы, неподвижно распростершись, лежала женщина в котиковой шубке. Саблин остановился. Женщина плакала. Он слышал тихие всхлипывания и видел, как содрогались ее плечи. „Верно, получила тяжелое известие с войны”, — подумал Саблин. Он хотел отойти и не мешать чужому горю. Но в эту минуту женщина, всхлипнув еще раз, вдруг выпрямилась, поднялась с колен и обернулась.

Саблин увидел бледное лицо. Нестерпимая мука смотрела из громадных заплаканных серых глаз. Эти глаза скользнули безразлично по лицу Саблина и остановились на его погонах. Дикий, сумасшедший взор застыл на плечах Саблина, точно номер погон поразил эту женщину. Она схватилась за грудь и пошатнулась. Она упала бы навзничь на камни, если бы Саблин не подхватил и не поддержал ее.

— Спасибо... Спасибо большое вам, — проговорила она, задыхаясь от слез... — Благодарю вас. Я теперь дойду одна. Благодарю вас.

— Позвольте я вам помогу. Вам надо отдохнуть. Посидеть.

— Нет, это пройдет. Это так только. Меня поразило. Корпус, где служит мой муж. Вы одного с ним корпуса.

— Я командир этого корпуса, — мягко сказал Саблин, давая тем понять, что если дело касалось ее мужа, то он может ей помочь.

— Ах, генерал Саблин! — воскликнула она.

— А что случилось с вашим мужем? У нас в корпусе эти дни не было потерь в офицерском составе. Кто ваш муж?

— Подполковник Козлов, — прошептала женщина.

Ясный рассвет над окопами у Шпелеври и золотистая заря на востоке вдруг вспомнились Саблину. Вот она Зорька! Та самая Зорька, о которой молился так страстно Козлов.

— Я видал вашего мужа третьего дня утром. Он был в отличном здоровье. Его полк лучший в корпусе. Он стоит в полной безопасности в резерве и будет так стоять еще двенадцать дней. С вашим мужем ничего не могло случиться.

Саблин наблюдал молодую женщину. Известие о муже не произвело на нее впечатления. Всё то же неисходное горе было у нее в глазах. Она снова начала плакать.

— Я знаю... я знаю, — сказала она. — Я имела письмо. Оно тут со мной! Ах! спасите, спасите меня. Я так не хочу умирать. Ведь, я так молода.

Саблин подумал, не отравилась ли она, так исказилось болью ее лицо.

— Что же с вами случилось? Я готов вам помочь и я помогу вам всем, чем только могу.

Она посмотрела на него с беспомощной мольбой.

— Тут совсем особые обстоятельства. И я не знаю, как сказать вам. Меня спасти нельзя, — с отчаянием сказала она.

— Я думаю, что, как бы велико ваше горе ни было, Господь сможет и помочь вам и утешить, тихо сказал Саблин.

— Поедемте ко мне, — прошептала Зоя Николаевна. — Научите меня. Что делать, ах, что делать!

Женщина, говорившая с Саблиным была интересна. Слезы, беспорядочная прическа, бледные щеки, воспаленные веки больших блестящих глаз к ней шли. Она влекла к себе своею хрупкою женственностью и именно потому, ему не хотелось ехать. Бог ее знает, что она? Вспомнились циничные намеки Верцинского. Что, если она только ловкая искательница приключений? Хорош будет он в девять часов утра на квартире жены своего полкового командира. Он снова пос-

мотред на нее, готовый отказаться, но такое искреннее отчаяние было в глазах молодой женщины, что Саблин решил-ся.

— Хорошо, — сказал он, — поедемте.

XXII.

Горничная удивленными глазами смотрела на Саблина, принимая от него шинель. Она заглянула в гостиную и спросила Зою Николаевну: — чай прикажете подать?

— Да, устройте в столовой, — сказала Зоя Николаевна и села на диван подле кресла, в которое попросила сесть Саблина.

Улица, квартира с маленькими комнатами, кокетливо одетая хорошенькая горничная, веера по стенам, пальмы, фотографии, гравюры, напомнили Саблину многое из его холостой жизни и он невольно насторожился. Не для приключения же пришел он сюда.

— Я вас слушаю, — сказал он.

Зоя Николаевна схватила его руку. Горячие слезы быстро закапали у нее из глаз. Она нервно всхлипывала.

— Ну, успокойтесь, успокойтесь... Зоя... Зоя... прости-те, не знаю, как по батюшке.

— Николаевна, — чуть слышно сказала Зоя Николаевна.

— Выпейте воды.

Саблин прошел в столовую, где Таня накрывала скатертью стол и достал стакан с водою.

Зоя Николаевна пила и ее зубы стучали по стеклу. „Нет”, — подумал Саблин, — „так притворяться нельзя”.

— Я хотела... умереть..., с тоскою сказала Зоя и подняла глаза на Саблина. — Я должна умереть. Я не спала сегодня всю ночь и всё подумала. Я пошла помолиться Казанской Божией матери и решила: помолюсь, а потом пойду и брошусь в Фонтанку... Я и прорубь присмотрела у Аничкова моста. Стала молиться. Ах! ну, так жить хочется!

Она разрыдалась и схватила руку Саблина, точно искала в его твердой руке помощи.

— Знаю, что жить уже нельзя, всё кончено, а так захотелось жить. Кругом народ ходит, толкают меня, а я стою на коленях и молюсь, молюсь о чуде... Пусть всё, что было — будет тяжелым сном. И вот, проснусь и опять всё по-старому. Тишина. Одиночество. Прогулка утром с Вале́й, а вечером, письмо Александру Ивановичу, мужу... И чтобы ничего этого не было. Молюсь и знаю, что этого нельзя, что этого не будет, чувствую, что тот ужас, что был, — был. А молюсь... Только бы не умирать. Я так мало жила.

— Но зачем вам умирать? Нет такого горя, которое нельзя было бы залечить и забыть. У вас вся жизнь впереди, — сказал Саблин.

— Вот я так и молилась. Молилась, и знала что нельзя. Молюсь я, — чувствую, что уже решила. Всё подумала. Как подойду к проруби, как сниму шубку, шубки мне жалко стало. Намокнет, испортится. Пусть Валя носит. Я и билет такой изнутри приколола, чтобы шубку Вале отдали. Потом нагнусь сразу над решеткой, зажмурюсь и перекинусь туда. И стала я вся, как каменная. Понимаю, что другого исхода нет. Поднялась я с колен, чтобы идти, Решилась... И вдруг вижу погоны и номер корпуса Александра Ивановича. Я даже не поверила, что это живой человек стоит. Подумала: — видение!

Она перевела дух и отпила воды.

— Вы не верили в чудо, — мягко сказал Саблин. А разве не чудо, что я пришел именно в этот час в собор и принес вам известие о вашем муже? Святая целительница скорбей наших знает, как незаметным образом творить чудеса и спасать погибающих.

Лицо Зои Николаевны снова исказилось, словно от боли. Серые глаза наполнились слезами и она заплакала безутешно, со стоном, как плачут маленькие дети.

— А как же этот ужас! Ведь придет вечером он, а завтра другой. Ведь я больна уже! Ведь они, подлцы, заразили меня. Я вчера у доктора была. Дурная болезнь... Что же будет?... Я одна. Кто мне поможет? Они приходят толпою, пьют, шумят, а потом один остается со мною, делает, что

хочет. Противно, гадко! А что я могу сделать. Жаловаться. Мужу сказать? Разве можно то к о е мужу сказать. Александр Иванович и меня и себя убьет. Защиты нигде никакой. Сты-ы-дно. Один взял, надругался, другому сказал. Приходит другой, матиш, урод страшный. Я его видеть не могу. Грозится мужу написать. Что я могла делать?.. Пришлось покориться. Мне так противно. Каждый день! А тут заболела. Я и не знала, что такие болезни бывают. Ну, что же мне осталось, как не смерть!.. — воскликнула она, падая заплаканным лицом Саблину на руку и упираясь всхлипывающим ртом в нее. — А умирать не хочу!.. Не хо-чу! — совсем по-детски закричала она.

Несколько минут она плакала, не в силах овладеть собою. Саблин опять дал ей воды. Перед ним раскрылась целая драма и драма сложная, современная. Он сразу понял, что тут не могло быть и речи ни о какой любви или увлечении, а просто наивность, доведенная до глупости, и слабость, которую воспользовались какие-то наглые предприимчивые люди. Кто были они, — не всё ли равно. Они исковеркали жизнь молодой женщины и довели ее до такого состояния, что, пожалуй, и правда ей остается одно: — покончить с собою.

— Они говорили — злобно сказала Зоя, глядя мокрыми глазами на Саблина, что это свобода. Это жизнь по-новому. Я, так жить не могу. Сегодня вечером придет он. Что я сделаю? Я не могу бороться. Он сильнее. Хорошо... Я уйду... уйду... Ах не спасла меня Богородица — недостойная я!

— Постойте, проговорил Саблин. Он сам еще не знал, что сказать и что придумать. Постойте! Ничего этого не нужно. Никто к вам не придет. Да... Никого не пустят. Вы говорите — вечером. А с четырех часов у вас уже будет дежурить в прихожей до утра мой человек Тимофей, здоровый отставной солдат, старик... И никого не пустит. Очен просто. Муж, скажет, приехал. Вы спокойно проспите эту ночь... Да... А завтра.. Завтра я увезу вас в санаторию, в Финляндию. И отлично вас вылечат и всё позабудется. А вы вот что, Зоя Николаевна, вы мне завтра письмо передадите для вашего

мужа. Хорошее такое письмо. Но в нем, в этом письме, чтобы ни слова про ваше несчастье не было... У вас де открылось воспаление легкого... Может быть, чахотка. Вы поехали лечиться и слышите, слышите, — убедительно заговорил Саблин, переживая в душе свою драму и драму Веры Константиновны, — никогда, никогда вы ему не скажете и ни одним словом, ни одним вздохом не выдадите, что всё это было! Пусть это будет ваш крест, но мужа вы не убьете, потому что вы и сами не знаете, как он вас любит.

— Знаю, — тихо проговорила Зоя Николаевна. — Но разве можно теперь жить?

— Можно. Можно. Война продлится долго и вы успеете поправиться. А там всё пройдет и счастье вернется к вам.

Зоя посмотрела большими глазами в самую глубину глаз Саблина схватила его руку и хотела поднести к губам. Но он взял ее руку и поцеловал.

Она тихо плакала, провожая его.

XXIII.

Дома Саблин нашел записку от Мацнева с указанием адреса, куда он должен был явиться к 10 часам вечера и постучать особым образом. Саблин поморщился. — „Чорт знает, что такое“, — проворчал он. — „Всё это отдает бульварным романом“.

Он съездил в институт к Тане, потом заехал к известному врачу, переговорил с ним относительно Зои Николаевны, снесся по телефону с санаторией в Райволове, заказал комнату, обещав сам приехать на другой день с больною, отправил своего старого лакея Тимофея на Пушкинскую, успел побывать у председателя Георгиевской Думы, и в 10 часов вечера был на условленном месте.

Все эти хлопоты утомили его, но он делал их охотно. И потому еще он делал их охотно, что деликатность положения Зои Николаевны невольно набрасывала тень на него. Жертва оказывалась не такою маленькой, как казалось, но, во имя христианской, любви Саблин решил довести начатое

дело до конца и действительно спасти Зою Николаевну. Посвятить в ее драму он решил только Мацнева, чтобы Мацнев мог наблюдать за ней и помочь ей, когда Саблин уедет на фронт. В глубокой порядочности Мацнева Саблин был уверен.

Когда он постучал костяшками пальцев в дверь какой-то незнакомой квартиры, в конце Сергиевской, он услышал за дверью шорох и голос Мацнева. Мацнев спросил — кто там?

— Это я, Иван Сергеевич, — сказал Саблин.

— Кто вы?

— Да, Саблин. Не слышишь разве?

— Мало ли Саблиных на свете. Как зовут? допрашивал Мацнев.

— Александр Николаевич. Что за ерунда, Иван Сергеевич, сознайся, что это глупо.

— Ничего не глупо. Какая твоя была первая любовь?

— Китти, со смехом сказал Саблин.

Дверь открылась и Саблин очутился в объятиях старого философа.

— Ну, здравствуй, здравствуй дружище, — говорил Мацнев, — и не сердись, милый Саша. Мы живем в такие дни, когда приходится изучать Пинкертон, чтобы не попасть впросак.

Мацнев прочно заложил дверь на крюк, надел цепочку, повернул ключ и сказал:

— Вот так-то ладно. Все в сборе.

— Что это за квартира? — спросил Саблин.

— Это? — певицы Моргенштерн. Помнишь Гриценкиной пассии. Только ее нет, и прислуги нет. Мы одни.

Он провел Саблина в небольшую кокетливо убранную гостиную, где с серьезными лицами сидели Репнин и Гриценко. В гостиной был полумрак. Единственная зажженная лампа была накрыта темнолиловым шелковым абажуром с желтыми кружевами по краям и бросала свет только на стол.

Обменявшись незначительными фразами о здоровье, о службе, все сели.

— Приступим, сказал Гриценко, обращаясь к князю Репнину.

— Александр Николаевич, — сказал Репнин. — Мы пригласили тебя, чтобы вместе поговорить... посоветоваться... обсудить одно очень щекотливое и очень тяжелое дело, которое надо сделать во имя спасения России и Государя. Согласен ли ты заранее, быть с нами. Доверяешь ли ты нам, своим старым полковым товарищам?

— Я вам безусловно верю. Я знаю, что вы не пойдете против Государя Императора, как и я никогда ему не изменю.

— Спасибо, Саша, — сказал Мацнев.

— Тебе известен последний приказ Государя Армиям и флоту? — сказал Репнин.

— Я читал его третьего дня полкам своего корпуса и он был покрыт восторженными криками ура.

— За этим приказом, как логическое его последствие должно было последовать распоряжение об удалении, может быть, даже о заточении Распутина и удаление от дел Императрицы Александры Федоровны, — продолжал тихим голосом князь Репнин. — Этого не последовало. Это другой вопрос, насколько основательны обвинения Императрицы в сношениях с немцами. Я-то отлично знаю, что это неправда. Немка по происхождению. Императрица англичанка по воспитанию и немцев и особенно Вильгельма, которого считает виновником войны, ненавидит. Но, чем нелепее клевета, тем охотнее ей верит народ. Ты знаешь речь Милюкова в Думе 1-го ноября — она полна безобразной клеветы, но она захватила широкие массы народа и ее надо парализовать. Народ волнуется. Мы накануне революции. Работают партии. Умеренные партии хотят дворцового переворота, темные силы подняли голову и хотят разрушения самого престола. Революция, смута, беспорядки нужны нашим врагам, — потому что тогда Германия надеется выйдти победительницей в борьбе с нами. Смута нужна и нашим союзникам, потому что иначе Русский народ и Армия исполнят приказ своего Государя, проливы будут наши и наступит золотой век Российской Империи, славянские ручьи сольются в Русском мо-

ре, домашний спор славян между собою будет окончен. Англия не хочет этого допустить. Я имею сведения, что страсти народные разжигаются английским золотом. Мы, господа, накануне ужасных событий и мы должны помочь Государю и сделать за него то, чего он не решился сделать: мы должны удалить Распутина.

— Как же это сделать? — спросил Саблин.

— Убить, — еле слышно проговорил князь Репнин. Уже всё подготовлено. Эту миссию взяли на себя..., князь Репнин нагнулся к уху Саблина и прошептал ему несколько слов.

— Не может этого быть! — воскликнул Саблин. — Нет, господа. Оставьте. Остановите их! Это безумие. Никогда эти руки не обогрелись кровью. Они не смогут, просто физически не сумеют убить.

Саблин вспомнил свои ночные беседы с Верцинским. Возвыситься, или унизиться до убийства может не всякий. И нам это не дано. Саблин вспомнил рассуждения Верцинского о пяти пудах человеческого мяса, которые куда-то надо девать, иначе оно начнет вонять, разлагаясь, и он не мог себе представить, как те лица, которых назвал Репнин, это сделают.

Один молодой человек, бледный, болезненный, вдумчивый, красивый, родственник Государя, с тонкими пальцами бледных изящных рук, слабый физически. Другой — аристократ, талантливый, человек ума и сердца, Третьего Саблин мало знал — истерческий крикун писатель, политик, трибун, но никогда не убийца.

Саблин высказал свои соображения.

— Неужели, закончил он свою сильную горячую речь, вы не могли найти наемного убийцу.

— Милый Саша, сказал Мацнев. Всё обдуманно. Тут не годится наемный убийца. Э, что! Два раза пробовали и ничего не выходило. Ты пойми, Саша, это бесовская сила. И с бесом бороться могут только те люди, которые не боятся его бесовских чар, для которых он только грязный, трусливый мужик.

— Ах, они не смогут!.. Не сумеют. Убить человека! Хотя бы и гада... Не так, господа, это просто! А потом.. Куда девать труп? Ведь его нельзя оставить. Из него святого сделают. Моши приготовят. Нет, господа. Да и как же это!.. Где? Он ведь не такой простака чтобы пойти в засаду, его охраняет тайная полиция. Нет, господа, боюсь, что только хуже будет. Беда, коль пироги начнет печи сапожник.

— Всё организовано, сказал Репнин. Мы трое — просим четвертым тебя, — должны быть в резерве на случай, если понадобится помощь, или надо будет заметать следы. Можем мы рассчитывать на тебя? Да, или нет?

— Князь... Павел Иванович! А подумали вы о том, что убийство Распутина может стать первым шагом к революции?! И кто же его сделает! Кто пойдет против своего Государя!

— Поздно, Саша, — грустно сказал Гриценко. Поздно, да и выхода не видим. Пойдешь ты с нами?

— Ну, конечно. Ужели же я вас выдам! Когда? Где? Что я должен делать?

— Завтра ночью. Он обещал приехать в дом на Мойке, где ему обещано свидание с одной дамой света, которой он давно домогается. Там и будет всё сделано. Мы должны дежурить здесь.

— О Господи! — какая грязь, воскликнул Саблин. Сводничество, западня, обман и убийство!

— Да, милый Саша, политика — не красивая штука, сказал Мацнев, морщась, — но Распутин не человек, которого можно вызвать на дуэль и ухлопать из пистолета, подставив ему свой бок с благородною отвагой. То, что убийство будет совершено этими людьми, поднимет их в глазах народа, оправдает убийство в глазах Государя и поможет совершить следующий шаг — удалить от дел Императрицу.

— А, если все выйдет наоборот? Ах, господа, господа, не за свое дело мы взялись. Какие бы цели ни были — способности не красивы, а мы созданы для красивых дел! — воскликнул Саблин.

— Александр Николаевич, — настойчиво сказал князь Репнин. — Мы долго думали. Иного выхода нет. Теперь не такое время, чтобы плыть по течению. До завтра, в это же время и здесь. Постучать и общий пароль — м е с т ь .

XXIV.

Домой Саблин вернулся около полуночи. Он мечтал о ванне и сне. Завтра было полно забот и хлопот, надо было отдохнуть. Но в этот суетливый день всё делалось не так, как он хотел. В кабинете был свет и едва Саблин вошел в него, как тяжелая, массивная фигура дяди Егора Ивановича Обленисимова поднялась ему на встречу и сдвинула его в объятиях.

— Наконец-то! Дождался-таки. Я уже боялся, что так и не дождусь. Пять раз днем звонил по телефону и всё нет. Как неожиданно ты приехал. Вот уже именно Провидение тебя послало сюда в самую кипень событий. Утром иду и вижу, он с какой то прехорошенькой растрепой плетется на извозчике через Владимирский. Я в Думу шел. Хоть бы посмотрел на меня. Шалун, ваше превосходительство! Ну, да пора. Не век же траур носить. Ты ведь юноша! А поседел... Ишь виски то — бобер камчатский.

— Дядя. Если бы вы знали обстоятельства, при которых мне пришлось отвозить эту совершенно мне чужую и незнакомую женщину, надо думать, вы не стали бы так говорить, — сказал Саблин. У него на языке было сказать: — оставьте меня. Я устал и жажду отдыха. Но привычный такт светского человека и радушного хозяина взял верх над усталостью и Саблин проговорил:

— Ну что же мы стоим. Садитесь, рассказывайте, как вы теперь воюете на внутреннем фронте тогда, когда мы перестали воевать на внешнем.

— Да, Саша, воюем и победа близка. Союзники на нашей стороне, — сказал, грузно опускаясь в кресло, Обленисимов.

— Я сегодня это слышу уже второй раз. Правда, намеками. Союзники хотят революции? Союзники хотят разложения армии накануне наступления и победы? Мы у себя в окопах всегда думали, что если, не дай Бог, будет революция, то это *Made in Germany**) для лучшего нашего сокрушения и уничтожения. Но не союзники. Им то это невыгодно.

— Саша, мы поставили лозунгами дня: — без революции не может быть победы. Сначала революция, удаление с Престола Николая и Александры Федоровны, созыв Учредительного Собрания, а тогда победа. Мы знаем настроения армии. Армия не верит Государю, она не может драться и побеждать под лозунгами „за веру, царя и отечество“. Двуглавый орел отжил свой век — ему пора и на покой. Под красными знаменами революции пойдем мы и победим...

— Неправда! Это клевета на армию, на офицера и солдата. Еще третьего дня неумолкая гремел гимн у меня в окопах и ура потрясало лес в честь верховного вождя Российской Армии! — воскликнул Саблин.

— Саша, это только из-под палки. Это инерция, которую преодолеть придется и с которой придется бороться.

— Приказ Государя о заветных целях войны, Русские цели войны так ободрили и порадовали всех понимающих обстановку. Вожди воспрянули духом, а серая масса пойдет, куда ей укажут.

— Русские цели! — воскликнул, вставая и начиная ходить по комнате, Обленисимов. — Ты сказал: — Русские цели! В мировой войне не может быть Русских целей, но цели общие, поставленные в полном согласии с союзниками. Мы ведем не самостоятельную войну. Мы не должны забывать, что финансирует нас Франция, и Англия посылает нам снаряжение!

— Егор Иванович, — тоже вставая, в глубоком возбуждении проговорил Саблин. — Ты помнишь то, что ты говорил давно в дни глубокого мира, когда ты и тебе подобные доказывали, что войн больше не будет. Ты помнишь, ка-

*) Сделано в Германии.

кою грязью, клеветою и бранью обливали вы блаженную память Императоров Павла, Александра I и Николая I за то, что они посылали войска в Западную Европу для борьбы с революцией, Наполеоном и венграми, вы называли Россию жандармом Европы, при этом слову жандарм вы придавали свое специфическое значение, гадкое значение. Теперь вы хотите сделать из России и ее Армии городского, или как вы называете нагаечника, поставленного на защиту иностранного капитала. Какое дело России до того победит английская или германская индустрия, будет на сохе, чашке, сукне, которое купит мужик какой-либо Пермской или Вятской губернии написано *made in Germany*, или *made in England**) — мы должны стремиться к тому, чтобы на каждой вещи было одинаковое клеймо: „Российское изделие“!! К этому стремится Государь и это стремление народу понятно, но... устраивать революцию, свергать Государя в ту великую минуту, когда он торжественно заявил, что мы воюем за **Русские** интересы — это преступление, которому нет имени. Как только Армия поймет, что ее цели уничтожить Германию, во имя возвеличения Англии и удовлетворения национального самолюбия и безопасности Франции, Армия откажется воевать. Русский солдат никакой злобы не питает к немцам, каждую минуту он готов протянуть руку примирения немцу, но и он понимает, что если немец мешает ему жить, если немец вошел в его земли, его надо выгнать. Слова Государя: — „Я не заключу мира, пока мы не выгоним последнего неприятельского воина из пределов наших, и не заключу его иначе, как в полном согласии с нашими союзниками, с которыми мы связаны не бумажными договорами, а истинной дружбой и кровью” — понятны каждому. Они понятны и немцам. Когда немцы узнают, что Россия борется за свои заветные цели, а не во имя их уничтожения, они перестанут оказывать нам сопротивление..

— Вот и договорился до того, что нас так пугает, что заставило нас обратиться в заговорщиков, тайно собираться

*) Немецкое, или английское изделие.

и думать как все это устроить. Мир. Если немцы уйдут за Калиш, если Россия займет Константинополь — то есть дойдет до завершения задачи, поставленной Государем, то будет мир. Вы не пойдете на Берлин?

— Я не пошел бы. Думаю, что Армию будет трудно двинуть, но Государь союзникам никогда не изменит.

— Почему ты не пошел бы?

— Цели не вижу.

— А уничтожение германского империализма?

— Он нам не мешает. Он помогает нам обуздывать еще более злостный капиталистический империализм Англии.

— Саша! Саша! Кто же наш враг! — воскликнул Обленисимов, круто останавливаясь перед стоявшим у письменного стола Саблиным и пронизывая его выпуклыми блестящими глазами.

— Англия — твердо и ясно выговорил Саблин. Обленисимов отшатнулся от него и, несколько мгновений тяжело дыша, шевелил губами, но не произносил ни слова.

— Хорош! — наконец, вырвалось у него. — Хорош. Вот так же думают и в Царском. Если бы я тебя не знал с колыбели, я бы подумал, что ты с немцами за одно. Хорош! Ну, Саша, я все-таки тебе доскажу то, зачем пришел. Не обижайся на меня. Англия видит это настроение и в Государе и в окружающих его. Она не верит ему больше и она желает его устранения.

— Неправда, дядя! Зачем вы клеветеете на Государя. Только не Государь! Государь никогда не нарушит своего слова.

— Ты думаешь?

Саблин молчал.

— А темные силы дворцовой камарильи? Этому человеку нельзя верить и мы решили его убрать.

— Но, надеюсь, что вы найдете, — если нам не удастся помешать вам, культурный способ этого переворота, во славу Англии, — сказал, опуская голову, Саблин.

— Да. Клянусь, что ни один волос не упадет с его головы. Царское достоинство — есть достоинство России и ее революции. Русский великий народ сумеет показать миру образец гуманности, просвещения и благородства. Мы ничего не имеем против Царя, мы только персонально против Николая II и дворцовой камарильи, всех тех, кого мы считаем темными силами.

— А если темные силы тем или иным способом будут удалены от Государя? — сказал Саблин.

— Это ускорит развязку, — ответил Обленисимов. — Имей в виду, с нами все главнокомандующие.

— Кого же вы приговорили на смену правительству, которое вы предполагаете свергнуть. Не останетесь ли вы в полном одиночестве, как тогда перед войною, когда мы говорили с тобою.

— О, не беспокойся. Люди намечены. Всё прекраснейшие люди, гуманные и глубоко преданные союзникам.

— Я думал — ты скажешь: Р о с с и и! — с упреком и иронией в голосе сказал Саблин. Обленисимов не понял иронии.

— Нет, союзникам, — повторил он. — Что Россия! Россия без Европы ноль. Кто это? Достоевский что ли сказал: у Русского человека два отечества: — Россия и Европа.

— Да, трудно, — всё с тою же иронией проговорил Саблин, — трудно Русскому **государственному** человеку прожить без указки Бисмарка, Биконсфильда, Пуанкарэ, Клемансо и Бьюкенена. Своего не признаем, будь он хотя семи пядей во лбу. Да и как жить без Парижа, Монте-Карло, Ниццы и без английского снобизма. Погибнем. Мужичье! дикари!

— Святая Русь! — поднимая палец кверху и опять останавливаясь против Саблина сказал Обленисимов. — Святая Русь! Ребенок среди наций.

— С английской мисс и бонною француженкой.

— А что же, хорошо. Культура. Худому не научат. Я уверю, Саша, в святую Русь только тогда, когда в каждой избе Русской будет не угол с лубочными иконами, а электричество и ватер-клозет. А до тех пор и бонна и мисс!..

Ну, ты верно спать хочешь. Addio. А как хорошо! Addio.. Au revoir... Good night. *)

— „Спокойной ночи” звучит не хуже и много значительнее, — сказал Саблин, провожая дядю в переднюю.

XXV.

„Что же”, — думал, засыпая, Саблин, — „ведь я донестя обязан. Но на кого донести? На Обленисимова, Бьюкенина, Репнина, на Главнокомандующих, которые согласны свергать Государя. Пусть допросят их, узнают имена истинных виновников и казнят, как предателей, как казнили Мясоедова за старые мелкие грехи. Но, кому сказать? Военному министру Шуваеву? Как он посмеет разоблачать главнокомандующих? Да этот старый, честный военный чиновник умрет от страха и только будет шопотом умолять меня: — „молчите, молчите. Никому не говорите. Кш. Шш”...

„Сказать самому Государю?” Саблин вспомнил свою попытку переговорить с Государем, так нелепо остановленную Распутиным и покачал головою. „Государь и Самодержец! Саодержец силен своими боярами, своими генералами, а эти бояре изменили ему раньше, нежели восстал народ. Бедный Государь!” Если раскрыть ему всё то, что сегодня из намёков Репнина и разговора с Обленисимовым узнал Саблин, он только бесконечно растеряется. Что он может сделать, на кого положиться, кому поверить? Весь верх России, вся ее интеллигенция против Государя, а народ настолько тёмный, что искать вождей в народе нечего. Вождей нет. А народ без вождей -- слепое стадо. Что вождей! Бог с ними! Просто честных людей нет!

Молчать и делать свое маленькое дело. Командовать корпусом и готовить его к наступлению и победе.

Во имя чего?

Во имя ли заветных целей, провозглашенных Государем, за крест ли на Святой Софии, за Польшу ли, из рук России получающую свободу, как получили некогда Сербия и

*) Прощай... до свидания... Покойной ночи.

Болгария, или за уничтожение Германии и мировое торжество Англии?

Всё горе Саблина было в том, что он не был согласен с Достоевским и считал, что у него одно отечество: — Россия. Ее он любил превыше всего. За нее он готов был умереть и если бы ему сказали, что для блага России должна погибнуть вся Европа — он не колеблясь сказал бы: — и пусть гибнет! Жива была бы только Россия!

Саблин чувствовал, что совершается обратное: — гибнет Россия во имя спасения Европы и не мог помешать этому.

Доносить он не станет. И не столько потому, что доносить некому и бесполезно, сколько потому, что донос ему так же противен, как убийство. Они смогли бы и донести, когда признали бы это нужным. Мы этого не можем. Мы, старые дворяне. Мы, уже не холопы царские, готовые на всё, даже на низость, мы прикоснулись к Западно-европейскому рыцарству и восприняли его утонченную культуру, так непригодную для тяжелой современности.

Под утро он заснул, но проснулся рано. Надо было ехать отвозить Зою Николаевну с ребенком, ликвидировать ее квартиру, ставить мебель на склад, отдавать распоряжения. Часов до трех по его расчету он должен был быть занят окончанием этого дела. После хотел приехать к Тане, которой почти не видал. Нужно было поспеть и на кладбище.

Петербургская жизнь захватила его и закрутила своею сложностью. Было восемь часов утра, Саблин собирался выходить, когда зазвонил телефон.

— Кто у телефона? — спросил Саблин.

— Алексей Андреевич Поливанов. Знаю, что вы заняты, — говорил знакомый Саблину скрипучий голос бывшего военного министра, — знаю, что вы ненадолго здесь и всё-таки прошу вас пожаловать ко мне к пяти часам. Если, конечно, не боитесь за свою репутацию навестить опального человека.

Саблин готов был отказаться, но после этих слов он поспешно ответил:

— Слушаю, ваше высокопревосходительство. Буду непременно.

XXVI.

В пятом часу дня Саблин на извозчике подъехал к высокому дому на Каменноостровском проспекте, где скромно, на частной квартире, жил Поливанов, и поднялся на четвертый этаж. Квартира была небольшая. Скученно стояла в гостиной та самая мебель, которую Саблин привык видеть широко раскинутой по громадному залу казенной квартиры, тесно висели ласковые Русские пейзажи, которые Поливанов любовно собирал всю свою жизнь и на которых его глаз отдыхал, когда он был сам лишен возможности пользоваться природой. Всё говорило о прошлом, о конченном, о жизни, ушедшей в воспоминания.

Лакей, высокий лейб-гренадер, бывший денщик Саши, убитого сына Поливанова, попросил пройти в столовую. Поливанов с женою и гостем, молодым штатским, пили пятничасовой чай.

— Здравствуйте, дорогой Александр Николаевич, — отчетливо выговаривая каждую букву, ласково сказал Поливанов, поднимаясь навстречу Саблину.

Он постарел. Волос стало меньше и седые прядки пробивались в черных пучках висевших на висках и затылке, лицо пожелтело и осунулось, сильнее стала заметна кривизна раненой шеи и частое подергивание лица. Но Саблин сразу подметил, что он не обрюзг, не опустился и из-под нависших бровей и прищуренных век молодо и остро сверкали глаза с иронической усмешкой.

Поливанов представил молодого человека, как представителя какого-то отдела торгово-промышленного комитета. Молодой человек стал прощаться.

— Куда вы торопитесь, — сказал, пристально смотря в глаза молодому человеку, Поливанов, — вы нам не помешаете. У нас секретов нет. Я отставной и никому не нужный человек, вот рад повидать старого приятеля.

Но молодой человек решительно откланялся и вышел.

Поливанов сел напротив Саблина и пристально смотрел на него, улыбаясь глазами. Он как будто спрашивал Саблина — с нами вы теперь или всё еще с ними?

— Ну вот, Александр Николаевич, — сказал он, — вы должны быть теперь довольны. Снарядами вы завалены. Теперь уже ничто не помешает вам наступать.

— Хвост вытащишь, нос завязнет, — сказал Саблин. — Снарядов и патронов много, но довольствие войска стало хуже. Рыбные консервы, мясо козлов, да еще мороженных, это не питание. Хлебная дача уменьшена, притом, что солдат стал слабее воспитан, становится трудно управлять войсками.

— Значит, — сказал Поливанов, — армия недовольна питанием?

Саблину показалось, что Поливанова это обрадовало.

— Это не совсем так, ваше высокопревосходительство, — сказал он. — Как может армия быть довольна, или недовольна. Солдат присягал терпеть холод, голод и всякие нужды и безропотно переносить лишения.

— Теория, милый Александр Николаевич, — перебил его Поливанов. — Это было тогда, когда солдат служил двадцать лет и все двадцать лет проводил в походах и муштре. И тогда грабили, мародерствовали, и тогда бунтовались, и даже Суворову приходилось считаться с психологией солдата. Но тогда армия в 200.000 была уже громадной. У нас, Александр Николаевич, семь миллионов поставлено под ружье. Семь миллионов! Извольте накормить эту массу, извольте поставить на нее офицеров. Откуда их взять?

— Офицерский состав стал очень плох. Маршевые роты приходят совершенно сырыми и необученными, приходится обучать в окопах — это возможно лишь при блестящем офицерском составе.

— Да ведь у вас лучшая молодежь. Поди половина окончила университет, — сказал Поливанов.

— Но они не военные.

— Храбрости нельзя научиться, с нею надо родиться. И разве мало храбрецов среди этих юношей?

— Есть храбрость и храбрость. Храбрость порыва у них есть, у многих, но той стойкости, рассудительности, спокойствия, терпения, которые даются только знанием у них нет. Они много рассуждают. Это, мол, нужно, этого не надо, это прихоть начальника, того не исполняют, другого не сделают.

— Чести не отдают, это верно, — сказал Поливанов. — Да, конечно, они многого не понимают, но, милый Александр Николаевич, мы ведем войну народную. Известная демократизация должна быть допущена. У вас уже не солдаты, но народ. Без сочувствия масс мы ничего не сделаем. Как хотите вы победить, когда у вас и Распутин, и женское влияние, и нет устойчивости ни в чем. Народ не верит вам, генералам, потому что он не верит Государю. Государь и Верховный Главнокомандующий — это немислимо. У него нет нужных для этого талантов и настойчивости. Вы сами знаете, что *ordre contre ordre — desordre**) — а в Ставке переменчивы, как петроградская погода. Если вы хотите победить, вы должны понять, что надо идти с народом, а не с Монархом.

— Но Монарх и народ одно целое.

— Было так. Было так, что прежде Монарх, а потом народ. Теперь стало наоборот — впереди народ, а потом Монарх.

— Я не могу себе представить, чтобы стадо правило пастухом, — сдержанно сказал Саблин.

— Но и в стаде есть передовые бараны, которые ведут всё стадо и без них стадо опрокинет пастуха, — отпарировал, ядовито усмехаясь тонкою усмешкой, Поливанов и сейчас же переменял разговор.

— Вы знаете, — сказал он, — с какими трудами доставляют вам винтовки. Английские суда останавливаются далеко в Белом море, там, где оно не замерзло. К ним подъезжают на санях. И там, при страшном морозе на ледящем

*) Отмена приказания создает беспорядок.

ветру, в ручную таскают ящики с винтовками, передают на льдины, оттуда на сани и гужом везут в Архангельск. Миллионы чудных американских винтовок. Все это сделала общественность. Военная бюрократия никогда не решилась бы на это. Я иногда думаю, что штатский военный министр был бы лучше военного? Он меньше связан условностями воспитания и быта, у него меньше протекции, меньше зависимости от людей своей касты.

— Но у него нет знаний, — сказал Саблин.

— Вы думаете, что военные знания так трудно приобрести?

— Я думаю, что знать начальников и уметь их выбрать можно только живя среди них. Иначе придется полагаться на советников, а это разовьет наушничество и еще худший протекционизм. Я не знаю, как это может быть. История не дает таких примеров.

— Напротив. Очень много. Генералы Наполеоновской эпохи, генералы Американских войн и буры. Кадетский корпус убивает волю — самое нужное качество для вождя. Я бы допустил иногда в войсках и выборное начало, — опять Поливанов хитро уставился на Саблина и Саблин не мог понять, говорит он это серьезно, или нарочно пытается его.

— Выберут того, кто сумеет подкупить, сказал он.

— Я слышал, что вас очень любят. Неужели вы думаете, что корпус, или ваша дивизия вас не выбрали бы своим начальником.

— Я не знаю. Я как-то никогда не думал об этом.

— Подумайте, смеясь, сказал Поливанов, — этот вопрос лет десять тому назад поднимался в военной литературе и он вполне в духе Русского народа. Артель крепка своим выборным старостой, ватага молодцов своим атаманом. Это так подкупило бы массы.

И, выговорив это, Поливанов опять хитро посмотрел на Саблина, как будто спрашивая, что клюнуло или нет, как ты, голубчик, на это смотришь, но заметив, что лицо Саблина нахмурилось, Поливанов опять заговорил о постороннем.

— Посетите театры. Надо немного и развлечься. Мы не ходим из-за траура, но нам очень хвалили „Роман” с Грановской в главной роли и „Флавию Тессини” на Александринской сцене. Вы увидите новое искусство и новые настроения.

— Я поклонник старого, — сказал Саблин и поднялся прощаться, считая, что деловой разговор кончен.

Возвращаясь домой Саблин перебирал в мозгу своем разговор с Поливановым и чувствовал, что вызов его и разговор были не проста. Испытывали его и узнавали через него настроения армии и фронта. „Хорошо, он попал на меня”, подумал Саблин, „а попади он на Пестрецова, или на моих милейших начальников дивизий, что бы они ему наговорили? Тот-то, что фокса от мопса отличить не может, наверно, предложил бы ему и себя и дивизию в полное распоряжение: — чего изволите и что прикажете”.

Ночью Саблин, скрепя сердце, поехал на квартиру Гриценко. Было тошно и противно. Точно какая-то грязь, помимо его воли, засасывала его и увлекала в болотную, черную пучину.

XXVII.

Всю ночь играли в карты. Сначала в бридж, потом, шутя в макао по пяточку очко. Гриценко угощал вином и холодными закусками и сам пытался поставить самовар. Но не было растопок и он только надымил щепками и поранил себе руку тяпкой, которою колот лучины от поленьев на кухне. Мацнев в два часа ночи поехал на разведку и вернулся в шесть часов утра, бледный, возбужденный и взволнованный.

— Слава Богу! сказал он. — Всё кончено. Но как ты был прав вчера, Саша! Как это всё оказалось сложно, трудно и всё вышло не так, как мы думали.

— Но всё-таки вышло? Кончено? спросил Репнин.

— Его нет. Убит и уничтожен. Будем надеяться, что навсегда, — сказал, тяжело дыша, Мацнев и начал рассказывать всё, что он узнал.

— Они думали, что он не придет, что догадался, пронохал. Отрицать, ведь, нельзя, что у него есть какое-то внутреннее чутье. Бесовские силы ему помогают. Он приехал, но очень подозрительный. Принял его младший в подвальном этаже, который нарочно для этого отделали. Менее приметно. Он вошел, окинул подозрительно глазами обстановку и сразу спросил: — а где же она?

— Наверху, с гостями. Сейчас выйдет. Не может же она так прямо придти сюда. Будет заметно, — сказал младший. Он недовольно потряс головою, но согласился.

На столе было приготовлено вино и маленькие бушэ. Яд был в вине. Он наотрез отказался. Любимое его вино, любимые сладости, а не пьет и не есть.

— Не хочу, говорит он капризно. Пусть она придет. Вместе. Почему тихо кругом? Гости там? Танцуют? А музыка не слышно, будто никого нет.

И стал он подозрительный.

Вы знаете, что там никого и не было. Там был только старший и член Думы. — Я не буду называть их, теперь и стены слышат.

Распутин сел за столик в углу. В большом подвале, убранном, как кабинет, уставленном тахтами и креслами был полумрак. Тускло горели в углу лампочки, своды тяжело нависли. Мне младший потом рассказывал, что жуть стала прохватывать его. Средневековьем каким-то повеяло. Низкие потолки, своды, Распутин в своем характерном костюме, тонком архалуке, в котором из за ворота видна вышитая императрицей шелковая рубашка, на столе граненые графины, рюмки, стаканчики и в них яд. Тут же его любимые пирожные и в них тоже яд.

Жутко. У Распутина глаза горели, как угли и дрожь сладострастного нетерпения проходила по нему. Время шло. Разговор увядал. Вы понимаете, господа, говорить им было не о чем. Распутин, видимо, стал подозревать неладное.

— Ты бы, говорит он младшему, — сходил что ль милой, за ею-то. Что не идет? Скажи, друг ждет. Хороший друг.

— Хорошо, сказал младший, я пойду, а вы Григорий Ефимович, что не пьете? Выпить надо для куражу.

— Что кураж? Я и так хорош.

Однако взял рюмку и выпил. Медленно, смакуя, до дна...

Поймите, господа, состояние младшего. В вине была замешана сильная доза страшного яда. Слона убить можно. Действие моментальное. В пирожках такой же яд. Выпил... и ничего...

— Что-то, говорит, — горькая она у тебя, сегодня, — взял пирожное и ест. Младший отлично заметил — с ядом взял, отравленную. Ест и ничего. Усмехается, глядит своими страшными глазами с белыми обводами и говорит младшему.

— Шалунишка ты. Что же прелестница? Коли она не идет, я сам туда пойду. Танцуют, говоришь. Я эфто люблю, когда танцуют. Бабья-то много поди? Посмотрю. Это хорошо.

— Пойдите, Григорий Ефимович, — лучше я схожу за ней, сказал младший и почувствовал, что у него уже нет сил больше держаться. Что же в самом деле? Нечистая сила в нем? Когда и яд не берет его. Мне младший говорил: — знаете, я уж сам веровать стал в него. Дьявол, или кто, но кто-то сидит в нем и наши человеческие силы для него ничто. Младший еще раз посмотрел на Распутина. Не побледнел, нет, сидит, такой же, крючковатые пальцы впились в валик кресла, наливает одной рукою еще вина. Пьет... И опять так же спокоен. Младший вышел. Старший и член Думы ждали его на темной лестнице.

— Ну, что? — спросил член Думы. — Выпил?

— Выпил.

— Кончено?

— Нет, ничего, здоров.

— Что же это такое? Вы, — спрашивает он у члена Думы, — пробовали яд?

— Нет, не пробовал, но тот, кто давал его мне, ручался, что действие моментальное.

— Может быть уже умер?

— Да нет же.

— Пойдемте, посмотрите.

— Нет, господа, я не могу больше. Не верил в нечистую силу, а теперь веровать начинаю. Кто он такое в самом деле?

— Ну, господа, я пойду.

— Пойдемте вместе.

Старший вынул револьвер и начал спускаться вниз. В это время дверь отворилась и на лестницу вышел Распутин.

В полосе света от растворенной двери он увидел всех трех и видимо понял в чем дело. Он бросился к выходной двери.

— Уйдет, ведь, -- крикнул с отчаянием член Думы. Старший выстрелил из револьвера — Распутин повернул в дверь кабинета, пробежал два шага, захрипел и упал.

— Ну, теперь готов, сказал член Думы. Надо идти за автомобилем и уносить его.

Младший трясся, как в лихорадке. Для дела он уже был совершенно кончен. Ему посоветовали идти наверх, лечь и успокоиться. Сделают и без него. Член думы вышел во двор, дверь осталась открытой, холод повеял на лестницу. Старший пошел заглянуть в кабинет. Тут, прямо можно сойти с ума. Убитый Распутин, которого они считали уже мертвым, сидел на ковре, опираясь в него руками. Он был бледен. Волосы растрепаны, глаза дико вращались, озирая комнату. Он увидел старшего и стал подниматься на ноги.

— А! — закричал он. — Всё ей расскажу. Хозяйке! Расскажу, что ты меня убил, и вдруг встал и бегом, как волк, согнувшись побежал мимо старшего и выбежал на крыльцо.

Старший бросился за ним и наткнулся на входившего члена Думы.

— Распутин убежал, — сказал он.

— Что с вами! Убитый?

— Какое! Живехонек... Да вон он!

По снегу было видно, как какая то темная тень быстро кралась скачками вдоль стены дома, направляясь к воротам. Член Думы бросился за ним. У него был великолепный аме-

риканский револьвер. Он нацелился и выстрелил один и другой раз. Распутин споткнулся и упал. Член думы подбежал к нему. Теперь уже не было сомнения — он был убит...

— Выстрелы были слышны на дворе, — сказал старший. — В кабинете на ковре кровь. Сейчас могут придти люди.

— Ничего, скажем, что собаку убили, — сказал член Думы.

Позвали собаку и в доме пристрелили ее, как вещественное доказательство причины стрельбы. Но, понимаете, господа, тревога уже поднялась. Полиция и дворники насторожились, а впереди еще целое путешествие и возня с тяжелым трупом!

Подали автомобиль и сейчас же к нему подошел городской. Член думы решил играть вабанк. Он подошел к городскому и сказал ему:

— Ты знаешь меня?

Тот взглянул и узнал.

— Я член думы. Такой-то. Правый. Предан Государю. Я убил Распутина.

— Слава Христу! Ужели так! — воскликнул городской.

Психологический момент, господа! Им надо было воспользоваться. Подошел какой-то солдат. Он стал спрашивать городского о причинах стрельбы. Член думы опять подошел к нему.

— Я убил Распутина, сказал он. Хорошо я сделал?

— Куда же лучше! — сказал солдат. — Давно пора так сделать.

— Помогите, товарищи, нам его положить на автомобиль и вывести.

— С удовольствием.

И так -- тайна перестала быть тайной. Член думы всё взял на себя, при помощи городского и солдата, они перенесли тело Распутина и положили в автомобиль. За шоффера сидел N. N.

Было два часа ночи, когда они помчались по Мойке. Ночью поросил снег и автомобиль оставлял за собою свежий след. Поехали на острова.

— Мне кажется, он шевелится, сказал спутник члена думы.

— Нет ничего. Мертв.

Закутанный своею дорогою шубой и ковром Распутин тяжело лежал у них в ногах.

— Доехали до моста и до намеченной полыньи. Никого. Легкий туман поднимался с реки. Долго возились, не в силах будучи поднять тело на перила. На той стороне моста замаячила черная фигура. Не то сторож, не то городской показался там, разбуженный шумом автомобиля. Стали перекидывать тело. Возились втроем, неумело, неловко брались, всё никак не могли поднять. Страшно тяжелым казался Распутин. Но вот подняли, поднесли к перилам. Из шубы выглянуло бледное лицо. Распутин ухватился руками за перила...

— Ожил? — в глубоком волнении воскликнул Гриценко. — Вот чорт!

— Ожил, или показалось так. Член Думы, говорил, что он слышал, как Распутин, цепляясь за перила моста ругался скверными словами. Но, наконец, тело перекинули и оно звонко ударилось об воду и пошло ко дну.

— Вот и конец, — сказал, тяжело вздыхая, Мацнев.

— Нет, господа, — опуская на ладони рук свою красивую голову проговорил раздумчиво Саблин, — это не конец, а начало... революции... И Боже!.. чьими руками оно положено!!..

XXVIII.

Неделя прошла в работах. Шли заседания Георгиевской Думы, Саблин ездил в Райволово навещать Зою Николаевну, переговаривал с врачом, убедился в том, что она написала и начала постоянно писать мужу, бывал в институте, был даже на „Флавии Тессини“.

Он знал из газет, из рассказов, из сплетен о том страшном отчаянии, в которое была повернута Императрица. Он знал, что она искренно верила в Распутина и видела в нем

пророка и святого. Он предсказал, что с его смертью погибнет весь род Романовых и императрица верила, что это так и будет. События надвигались грозные, страшные, о надвигающейся революции говорили уже открыто. Прямо говорили о том, какие части надежны и какая ненадежны, и на поверку выходило, что надежных частей не было.

Саблин знал, что розыски тела Распутина велись лично министром внутренних дел Протопоповым, что рассказ городского о стрельбе, о том что на Мойке господа убили собаку, кровь на снегу у ворот — всё это уже ранним утром навело на след таинственного автомобиля, по которому легко добрались до проруби. Тяжелая глубокая калоша Распутина, спавшая с ноги и забытая на снегу показала место, где его сняли, а лоскутки шерсти его шубы указали и место, где его сбросили. Были спущены водолазы и тело Распутина было найдено со всеми следами убийства.

Саблин, читая в газетах подробные протоколы розыска, которыми щеголяла сыскная полиция, разыгрывавшая из себя ловких Шерлоков Холмсов, готов был рвать на себе волосы, так грубо было сделано это убийство.

Нет о н и б ы так не убили! Их не нашли бы так легко! Они не забыли бы калошу и не стали хвастать перед городовым и солдатом. А н а м уже ежели надо было убивать, то убивать открыто, при всех. Встать, сказать, за что убиваю, бросить несколько жгучих жестких слов, вынуть револьвер и уложить без отказа. А то: — яд, который не действует, пуля, которая не берет и труп, которого не могут скрыть.

Обленисимов носился по городу, всюду крича о подробностях дела и путая правду с собственным вымыслом. Он окончательно стал революционером и мечтал о роли по крайней мере Мирабо. Красный цветок не вынимался из петли его пиджака.

— Саша, — говорил он, уже не таясь, не являясь ночью, не разыгрывая из себя Никодима, но за завтраком, или за обедом, не стесняясь прислуги, в ресторане, там, где ему удавалось поймать Саблина. — Теперь, Саша, крышка! Дья-

вол он, или нет, но Романовым конец. Конец Распутину — конец и Романовым. Теперь революция и народоправство и Российская республика! Доживу и я до этого великого дня!

— Дядя, — говорил Саблин, — как поворачивается у тебя язык это говорить. Ты дворянин!

— Гражданин, Саша! Это куда выше! В России... Ах и великая сила у нашего народа. И ум, и юмор, и мягкость языка поразительные. Выхожу я, Саша, из театра, а ко мне подходит, знаешь, этакая фея с Невского проспекта, мы их в дни моей молодости „горизонталочками” называли — и говорит мне: — „товарищ, одолжи целковый на извощика”. Саша! пойми! Товарищ! Эврика! Вон оно то слово, тот ключ к народному сердцу, который теперь найден. Мы все товарищи!

— Товарищ по корпусу, по гимназии? По чему товарищи? Слово товарищ старое, оно имеет строго определенное значение.

— Товарищ по партии!

Дядя, вернемся к тому, что ты начал? Ты рад тому, что какие-то бредни предсказывают гибель Романовых? Что они тебе сделали? Не они ли пожаловали твоих предков Спасским, благодаря которому ты и образован, и сыт, и одет, и богат, и влиятелен? Так ты платишь им за всё то добро, которое они тебе сделали.

— Саша! Я не эгоист. Я думаю о России.

— О России. Никогда, дядя, — вставая и краснея до корней волос заговорил Саблин, — никогда не смей мне говорить так о Романовых и России. Слышишь, не смей мне повторять нелепые сплетни о Российских государях. Вспомни историю. Михаил Федорович принял царство воров и разбойников. Вся Россия была крошечный лоскуток земли без выхода к морю, кругом враги, внутри мятежи, разбой и голод, равного которому не было. Человеческое мясо ели в Москве. Без казны, без армии, без честных служилых людей...

— Я это знаю. Что ты мне повторяешь уроки истории, — сказал Обленисимов.

— Ах знаешь! Михаил Федорович...

— Русский народ, — перебил Обленисимов.

— Нет, Михаил Федорович, потому что Русский народ только и умел метаться от одного Лжедмитрия к другому, от Тушинского вора к польскому королевичу.

— Что ты кричишь, Саша.

— Я не кричу, а мне стыдно за всех вас! Что же и Петр, и Екатерина, и Александр вам ничто? Меншиковых, Потемкиных, Суворовых, Кутузовых не было? Был народ? И вы хотите, чтобы всё это кончилось. Ну кто же станет править ста шестьюдесятью миллионами разноплеменного народа, далеко между собою несогласного? Кто же, президент!?

— С тобою, Саша, говорить нельзя. Ты кричишь. Ты повторяешь азбучные истины.

— Если ты их забыл, дядя.

— Все потому, что ты не в партии.

— А что важнее партия, или Россия?

— Саша. Ты политически не образован и на войне ты огрубел. Какие манеры...

— Товарищ! Еще чего не доставало! Товарищ! Партия или Россия? Я тебя спрашиваю.

— Саша, оставь! *Devant les domestiques.**)

— Ах так! Теперь вам и домашки пригодились. Ну, так не смей мне, дядя, ни слова говорить о Государе! Какой он ни на есть, он мой Государь, а она Императрица и тот, кто им изменит, будет подлец!

— Прощай, Саша. Тебе надо успокоиться. У тебя нервы на войне разошлись. Никто об измене не говорит... А, если он сам изменит?

— Что-о?

— Ну, Бог с тобой, я уйду!..

На смену Обленисимову пришел Мацнев. Он длинно и таинственно, запершись в кабинете у Саблина и сидя под портретом Веры Константиновны, рассказывал о том, как труп Распутина тайно перевезли в Чесменскую богадельню

*) Перед слугами.

за Московской заставой, положили там в часовне, как Протопопов надел на него вышитую Императрицей рубашку, а неприкрытые ей части тела и лицо намазал фосфором. Туда ночью, в карете, одна, приехала Императрица, вошла в полутемную часовню и увидела светящийся труп. Она склонилась перед ним на колени, а Протопопов, трясясь, проговорил:

— Он воскреснет! Вы увидите! Он воскреснет.

С Императрицей сделался глубокий обморок. Труп Распутина перевезли в Царское село и похоронили, украсив могилу цветами. Императрица ходит на могилу пешком, молится и ждет чудесного воскресения. Неизвестные лица крадут по ночам цветы и пакостят могилу. К могиле поставлены часовые... Как у Христа!!

— Милый Саша, — говорил Мацнев, глядя усталыми воспаленными глазами в глаза Саблину. Он стал так не похож на старого циника Мацнева, который говорил: „бей ворону, бей сороку“. Милый Саша! Она сошла сума! Они все там сошли с ума. Там говорят: — так было и с Христом! Его гнали и мучили, Его убили и Он воскрес. Воскреснет и Распутин. Питирим и Варнава готовы сделать из него святого. Подумай: Христос и Распутин! Милый Саша, я сел за библию. Ведь это Содом и Гомора, а не Россия! А что, если гнев Божий ударит на нас... Виновных сослали в Персию. Там, говорят, климат, которого они не перенесут. Жена младшего хотела ехать с мужем. Ей не разрешили. Какая жестокость! Милый Саша! Что же это такое? Ты моложе меня, но я. — всегда бывший твоим наставником, я теряюсь. Уже не правды я ищу. Но что же? За кем идти? За ними, которые верят в святость Распутина, или за теми, кто убил Распутина и помчался теперь на фронт с клятвою потребовать отречения Государя от Престола в пользу сына и регентства Николая Николаевича. Я и имена их всех знаю. Да! Саша! Милый Саша! Ты как поступишь?

Вера Константиновна кроткими синими глазами смотрела с полотна портрета. В тумбе стола за семью печатями и с надписью Саблина „не распечатывая положить со мною

в гроб”, лежит ее тайна. Простил он ей? Если бы простил, не нес бы с собою в гроб ее исповедь, не шел бы в царство теней с этой жалобой Богу! Значит не простил и Императрице, и вот есть случай ей отомстить.

Заговор принимает большие размеры. В нем Поливанов, Гучков, в нем Пуришкевич, в нем Рузский и Алексеев, он уже вне власти охранного отделения и само министерство внутренних дел пасует перед ним.

Мацнев, старый циник, но благороднейший человек Мацнев растерян.

Упитья мезтью? Вера, отомстить за тебя, и простить и сжечь твой страшный дневник. Саблин снова посмотрел на портрет, в ее синие ясные глаза.

Разве есть в ее дневнике хотя слово упрека Императрице?

Саблин вспомнил отца Василия и, твердо глядя на Мацнева, сказал:

— Нет, Иван Сергеевич, ни ты, ни я — мы не изменим Государю. Никто из нашего полка не пойдет против Государя Императора.

— А как же Распутин?

— Это их семейное дело. Это болезнь. Истерия. Мы не можем судить Государя по сплетням, но лишь по делам его: А дела его: — это чудесный приказ о заветных целях войны. Его мы исполним!..

XXIX.

В середине января 1917 года Саблин вернулся на позицию. Маленькая халупа с подслеповатым окном приняла его, как родного. В ней, казалось, была мирная пристань, убежище от всего грязного и страшного, что делалось в эти дни в Петрограде. Полки своего корпуса Саблин нашел распустившимися, но, главное, что его беспокоило, это совершенно расстроившееся довольствие корпуса. Он призвал интенданта и после долгой беседы с ним выяснил, что с продовольствием выходит заминка в центре.

— Если позволите, — сказал интендант, — мы доставим всё, что нужно, через земский и городской союзы. У них на складах всего в изобилии. Вам только написать письмо и они охотно дадут. У них даже белая мука есть.

— Как же это так, почтеннейший, — спросил Саблин, — а у вас нет?

— Потому-то у нас и нет, что у них есть. Они всё изпод носа скупают, не стесняясь справочной ценой. Теперь всё в их руках. Захотят: — завалят армию хлебом, не захотят, у нас и по фунту не хватит.

„Странно это“, подумал Саблин. „В продовольствии, этом важном факторе войны и победы, хозяева не главнокомандующие армиями, не начальники, не те, кто вел войну, а разные „милостивые государи“, как их называл Мацнев, общественные деятели, представители партий, борющихся против правительства“.

Саблин отдал приказ расширить корпусные склады и всякими правдами и неправдами пополнить их так, чтобы в деле продовольствия совершенно не зависеть ни от кого. Он разослал по окрестностям дивизионных интендантов и заведующих хозяйством и скупал всё, что можно было купить. Его агенты повсюду сталкивались с агентами земгора, который вырос в громадную организацию. Рядом с ним стоял Военный торгово-промышленный комитет — мощная организация, захватившая все снабжение армии в руки. Склады комитета ломались от запасов, на фронт же снаряжение отпускатось очень скупо.

Бывая в штабе армии, у Пестрецова и Самойлова, беседуя с своими полковыми командирами и офицерами, разговаривая с солдатами, Саблин убедился в том, что во всей армии было глубокое убеждение в том, что на днях начнется наступление на всех фронтах, как Русском — восточном, так и Союзническом — западном. Указывали и время этого наступления — между 20 февраля и 1 марта, указывали и цели. Все, до солдат включительно, знали, что до весенней распутицы, решено занять Ковель, Владимир-Волинский и Пинск, захватить Львов. Потом на время распутицы пред-

полагалась передышка, перегруппировка, подвоз снарядов и в марте, или апреле — движение с целью овладеть Брестом, Влодавой и Варшавой. Летом предполагали быть на границе и если нужно, то и за границей. В армии были уверены в успехе наступления. Солдаты чувствовали мощь армии. В артиллерии на позиции, в бомбовых погребах лежало по 2000 снарядов на орудие, тыловые парки и склады были полны снарядами сзади частей, занимающих позицию, в ближайшем тылу, всё переполнено было новыми частями, приезжающие из отпуска рассказывали о громадных гарнизонах, сосредоточенных в Петрограде, Москве и во всех больших городах. На фронте не сомневались, что всё это будет двинуто для удара и должно непременно сокрушить врага.

Саблин спрашивал Пестрецова, есть ли основания для этих слухов? Пестрецов отвечал откровенно:

— Прямого приказа, или директивы армиям нет. Но после приказа Государя это так естественно. Кончить войну надо. Мы и так из-за союзников перетянули ее. Рубежи намечены правильно и твоя ближайшая задача — Камень-Каширский и Большая Глуша.

Саблин озаботился заготовкой белых балахонов для того, чтобы наступать по снегу и усилил занятия штурмами позиций. Он присматривался к солдатам, входил в самую толщу их и, разговаривая с кем-либо, не слушал казенных ответов, а прислушивался к тому, что говорила толпа кругом. Ночью в окопах услышав где-либо разговор он тихо подходил и прислушивался, что говорят о наступлении и о войне. Он беседовал с Верцинским и Ермоловым, говорил с Козловым. Верцинский и Ермолов разными словами и различными выражениями одиноково характеризовали настроение солдатской массы в связи со слухами о наступлении.

Оно было двоякое. Меньшинство: — старые кадровые солдаты, запасные недалних сроков стояли за наступление, считали его неизбежным и считали, что без победы не может быть мира, а мира они хотели жадно. В них сильно говорила гордость Русским именем, своим мунди-

ром, и они не сомневались в победе и в том, что летом наступление закончится полным разгромом германской армии.

Из распросов очередных, так называемых „контрольных“, пленных Саблин узнавал, что немцы тоже знают о готовящемся наступлении и очень боятся его. Уже отданы распоряжения об эвакуации Ковеля, если бы это понадобилось.

Большинство Русских солдат относилось к наступлению инертно. Они жаждали мира, но воевать и добиваться мира победою они не хотели. Они хотели, чтобы мир — явился так. Как так они не объясняли, но часто говорили: — это от Государя зависит, сказывают, герман то очень мириться хочет, ему только предложи, он согласится. — Для чего воевать! кабы гроза была нашей губернии, а то дойди-ка до Уфимской! Там бы я ему показал. — Воеем, братцы, не для себя, а для французов. Француз, сказывают, жидок сдал, ему помощь нужна. — А на кой ляд нам француз этот самый!

Но всего тяжелее было настроение некоторой части офицеров. Это были, одни, старые, почтенные капитаны и полковники, освоившиеся с пребыванием в отставке и запасае, пригревшиеся на тыловых должностях, привыкшие думать, что опасность непосредственного боя для них миновала и теперь при громадном увеличении армии оказавшиеся в роли полковых и батальонных командиров. Они сумели угреться и на позиции. Построили себе блиндажи и отсиживались в них, попивая кофей, куря до одурения и избегая в тяжелые минуты бомбардировок вылезать из блиндажа. Для них мысль о наступлении и переход к полному случайностей полевому бою — были нож острый. Но что они думали делать в этом случае, они не говорили и сурово молчали. Саблин приглядывался к ним и думал, что, вернее всего, за несколько дней до наступления они двинут в ход тяжелую артиллерию своих застарелых ревматизмов, прострелов и удуший, все окажутся больными и благополучно переключуют в лазареты и госпитали. Саблин намечал им заместителей и исподволь подготавливал их.

Другая категория были те прапорщики, которые пошли в военные училища и на курсы только затем, чтобы в офицерском звании подвергаться меньшей опасности, чем солдатами, какими их взяли бы непременно. При окопной войне они этого достигли. У них были прочные блиндажи и они могли, пользуясь трудностью наблюдения за ними, там отсиживаться. Но полевая война требовала их перед взводы и перед роты, в прорыве им пришлось бы первым кинуться на проволоку. Это их не устраивало, и они тихо и осторожно вели среди солдат разлагающую пропаганду. Они не говорили против наступления, но они говорили о невозможности наступления, они говорили о бессмысленности войны и о том, что ее и действительно можно кончить так. Войну хотел вести Государь, потому что она давала ему славу, и генералы, потому что они получали за нее большие деньги, ордена и отличия и она им была выгодна. Выходило незаметно так, что если бы Государя и генералов не стало, то и войны бы не было. Часто среди солдат они проводили такую мысль: — простому народу, крестьянам и рабочим война не нужна. Германский крестьянин и рабочий легко может столкнуться с Русским крестьянином и рабочим, но мешают этому капиталисты, которым война дает наживаться. Эта проповедь по своему действию была ужасна. Саблин собирал офицеров, беседовал с ними, перетасовывал их, но чувствовал, что убедить человека молодого, полного сил, в том, что он должен пойти на верную смерть не так-то легко. Саблин не раз вспоминал хорунжего Карпова. Разве он убеждал его в том, что ему нужно пойти у Костюхновки впереди всех? Он приказал ему и тот сказал: — слушаюсь, и исполнил.

Нужна муштра. Саблин тянул офицеров и требовал строгой исполнительности.

Повидимому, и наверху производились те же наблюдения, и то, что видел Саблин, видели и другие начальники. Из Ставки пришло приказание о формировании особых ударных частей из лучших офицеров и солдат для нанесения первого удара и для увлечения за собою остальных. Саб-

лин не мог с этим согласиться. Да, такая мера давала успех в наступлении, но за то она уничтожала всё лучшее и в командном составе и в рядах, а с кем же развивать наступление и заканчивать войну? Саблин не выделил ударных батальонов, но назначил ударными первые батальоны полков, слегка подобрал их и вел с ними специальные занятия.

26-го февраля Саблин по телефону получил условное приказание о том, что начало наступления назначено на 28-ое февраля, а вслед за тем и подробный приказ о том, что он должен исполнить.

XXX.

Была тихая, лунная ночь. Было темно, снег днем тронуло и ночью он не подмерз, но лежал такой же рыхлый и ноздреватый. Саблин с начальниками дивизий и со штабом приехал к девяти часам вечера на специально построенную в тылу позицию, подобную германской, окруженную двенадцатью рядами проволоки. Эту позицию должны были взять незаметно, одетые в белые балахоны первые батальоны полков, собранные от нее в версте, то есть в таком расстоянии, в каком находились и наши настоящие позиции. Офицеры с сигнальными ракетами были размещены по позиции. Они должны были начать бросать их, когда они увидят, или услышат наступающие части.

В ударных батальонах люди были расставлены согласно с теми задачами, которые на них возлагались. Одни прорезали верхнюю проволоку и, широко шагая, шли дальше, другие подрезали проволоку ниже, третьи с гранатами бросались в укрепление и выбивали людей из блиндажей — они назывались чистильщиками траншей, четвертые переходили окопы и устремлялись на подходящие резервы, пятые перекапывали окопы для себя, шестые шли вправо, седьмые влево, расширяя прорыв, каждый человек знал свою роль, как актер знает пьсу и это была их генеральная репетиция.

Саблин и все окружающие его знали точно час и место, куда должны были наступать ударные батальоны. Знали

его также офицеры и солдаты, сидевшие в учебном окопе. Маневр начинался по проверенным часам в 9½ часов вечера.

— Пошли, — сказал Давыдов, глядя на свои часы брашлет со светящимися стрелками.

Все затихли.

Ночь была тихая. На горизонте, где была позиция, вспыхивали редкие ракеты и падали таинственными зелеными звездочками, порхая в воздухе. На песчаном бугре, покрытом снегом, окруженном лесом было тихо. Слышно было как внизу, под снегом журчала вода, да сзади вздыхали лошади и иногда односложными словами переговаривались вестовые.

Впереди снег сливался с ночным туманом и образовывал в серебристом сиянии месяца сплошную массу, в которой слабо намечались темные колья и переплет проволочного заграждения.

Несколько раз ухо, казалось, улавливало шорох ног, но всякий раз обманывалось. Там, где двигалось три с лишним тысячи человек, было тихо.

Ночь, пустынное, глухое место среди больших лесов, напряженное ожидание и сознание, что это преддверие чего то великого, страшного, и важного волновали офицеров и солдат, и они всматривались вдаль и поглядывали на часы. Но впереди также клубился серебристой ватой туман и единственным звуком, доносившимся оттуда, было тихое журчание ручейка, пробившегося из-под снега и падавшего в какую-то ямку.

— Уже пятнадцать минут идут, — сказал Давыдов.

— Пошли-ли? — сказал Саблин. — Поняли ли они, что ровно в половина девятого наступать?

— Ну, как же! С ними Козлов.

Опять стали слушать.

— Кажется идут.

Вспыхнула и взметнулась одна, другая ракета.

Вот, видите, идут.

— Где, где,

— Да вон же белые фигуры, как в саванах.

— Не вижу.

— Сколько их!

— Нажмите секундомер.

Громовое ура раздалось кругом и в то же мгновение бесконечные ряды солдат в белых халатах и капюшонах, как стая призраков, появились на укреплении.

— Сколько прошло времени от того момента, как подошли к проволоке, до того, когда ворвались в укрепление? — спросил Саблин.

— Полторы минуты, ваше превосходительство, — молодцевато ответил молодой капитан, старший адъютант штаба корпуса.

— Это великолепно.

— Главное, стрелять было бы невозможно, так сливаются белые фигуры со снегом.

— Штаб-горнист, труби отбой, — сказал Саблин.

Сиплые звуки медной трубы прорезали ночной воздух, крики ура стали погасать и люди в белых саванах строились в колонны за укреплением. Они тяжело дышали после бега, были оживлены и шутки слышались в их рядах.

— Ловко, — говорил один солдат другому — сказывают, нас совсем не видать и не слышать было.

— Уж и крались же мы. Я ногу поставлю и жду, пока не окрепнет, другую ставить.

— И прожектором не усмотришь. Чудно! Все белые!

— Ротный Ермолов сказывал, на штурму пойдем и лица мелом намажем, чтобы ничего, значит, не видать.

— А я бы углем. Страшнее. Будто черти.

Раздалась команда „смирно”. Саблин подъехал к сводному полку.

Он горячо благодарил солдат за блестящий маневр и предсказывал им, что они будут иметь полный успех в деле, если так же пойдут. Он ничего не говорил, когда пойдут, но все уже знали, что это будет последствием.

XXXI.

28-го февраля Саблин утром объехал все батальоны, назначенные в прорыв и долго беседовал с Козловым и батальонными командирами. Он видел полную уверенность в успехе.

— Люди, ваше превосходительство, хотят чтобы поскорее началось, — сказал пожилой капитан.

— А не сробеют?

— Думаю, что нет. Увлечения много. И робких заразили. Говорят прямо: — 1-го марта к ночи в Ковеле будем.

— Кавалерия будет, — сказал Саблин.

— И мы не отстанем, — сказал Козлов.

Он провожал Саблина к автомобилю.

— Имеете письма от супруги? — спросил Саблин.

Козлов просиял.

— Почти каждую неделю письмо привозят из штаба. Пишет каждый день. Я уже не знаю как и благодарить ваше превосходительство, что вы такое участие в ней приняли. Чахотки, слава Богу, не оказалось, одно воспаление легких. Поправляется совсем.

— Ну, слава Богу, слава Богу, — сказал Саблин, невольно опуская глаза. — В десять я буду у вас в Шпелеври и ровно в два начинаем.

— Понимаю, — сказал Козлов.

Саблин около двух часов дня вернулся в штаб, он хотел пообедать и прилечь отдохнуть в предвидении бессонной ночи. Давыдов доложил ему, что его ожидает Командарм на прямом проводе. Саблин пошел через улицу в халупу, где помещался аппарат Юза.

Долго не могли наладить и урегулировать аппарат, но, наконец, из несвязных букв стала отбиваться четкая лента. Пошли так сердившие Саблина ненужные вопросы. — Кто у аппарата — У аппарата Саблин. — Здравствуйте, у аппарата Наштарм, — что означало, что у аппарата был начальник штаба армии генерал Самойлов.

— Наступление приказано отложить, — выстукивал поленте аппарат. — Поисков разведчиков не делать.

— Отложить невозможно, — отвечал по аппарату Саблин, — всё готово. Люди рвутся в бой, всякая перемена погасит порыв и, вместо победы, даст неудачу. Что случилось?

— Категорическое приказание Главкозапа. Отложено на всем фронте.

— Они с ума сошли. Стоит теплая погода. Снег быстро тает. Скоро будет такая грязь, что до полной весны нельзя будет работать.

— Я передаю вам приказ: Главкозапа и Ставки. Наступление отменено. Причины неизвестны. Никуда не отлучайтесь. Будьте готовы каждую минуту подойти к аппарату. До свиданья. Генерал Самойлов.

Аппарат остановился.

— Все? — спросил Саблин у чиновника юзиста.

— Всё-с, — отвечал, вставая с табурета, чиновник. Это был типичный старый телеграфист. Он строго посмотрел на солдата, сидевшего у аппарата Морзе и сказал:

— Вислентьев, выйдите на минуту.

Солдат встал, улыбнулся и вышел.

— Ваше превосходительство, — сказал шопотом чиновник, — позвольте вам доложить. Они почему-то скрывают. В Петрограде большие беспорядки. Солдаты взбунтовались. Что там сейчас, никто не знает. Может быть уже революция.

— Вы откуда знаете? — спросил, вспыхнув, Саблин.

— Мне товарищ по проводу передал из Ставки.

— Не может быть, — сказал Саблин.

— Не могу знать, ваше превосходительство, а только товарищ мне всегда верно передавал. Государь будто из Ставки уехал.

— Молчите покамест!

— Как рыба, ваше превосходительство!

Саблин передал в полки приказ об отмене наступления и всюду он вызвал чувство недоумения и огорчения. День, который Саблин думал провести в волнении предстоящего ночного боя оказался пустым и долгим. Волноваться было

не о чем и Саблин с нахмуренным лицом вернулся в халупу и стал ходить взад и вперед по маленькой комнате с земляным полом.

„Вот оно, началось”, — думал он. „Началось то, о чем так давно, так долго и упорно мечтала наша интеллигенция. Туман французской революции всегда висел над нами и наши передовые люди мечтали о своих Мирабо, Дантонах, Маратах, Робеспьерах, ну и конечно — Наполеонах! Нет такого артиллерийского поручика, который, хотя раз, не помечтал бы стать Наполеоном и выкатив пушку на площадь, кого-нибудь разгонять Что-то там, в Петрограде?!”

„Русская революция! Но разве не поднимали красное знамя мятежа Разин при Алексее Михайловиче, Булавин при Петре, Пугачев при Екатерине, разве не трепетало оно, поднятое Гапоном и Шмидтом, еще так недавно над нестройными толпами народа по всей России. Во что же выливалось это? — в разгромы, иллюминации помещичьих усадеб, еврейские погромы, выпускание кишек племенному скоту, подрезывание жил жеребцам, битье зеркал, разрывание дорогих картин и уничтожение накопленного богатства. Разбой, а не революция... Но, тогда руководили революциями простые, дикие, неграмотные казаки, или поп Гапон и рабочие, а теперь во главе революционного движения стала, вернее всего, Государственная Дума... Посмотрим, справится ли она?” Саблин вспомнил анекдот о словах императора Вильгельма, сказанных будто бы по поводу того, что кто-то назвал императора Николая II неумным. — „Я не считаю его неумным, потому что для того чтобы двадцать лет править таким диким народом, как Русский, надо иметь много ума”.

Но революция Саблину рисовалась только в виде беспорядков. Может быть очень крупных, явно нежелательных во время войны, но только беспорядков. Ведь не изменят же Государю осыпанные его милостями главнокомандующие фронтами, генерал адъютанты Рузский, Эверт, Брусилов, Щербачев? Есть верные полки. Взять хотя бы его бывшую кавалерийскую дивизию, конные корпуса — да они сметут Петроградский гарнизон из развращенных и трусливых солдат так, что от него духу не останется. И Думу

разогнать недолго. Повесили Мясоедова, могут повесить и других..

И вдруг засосало под сердцем. Вспомнилось предсказание Распутина, что гибель его означает гибель дома Романовых. Стало страшно. Какая-то невидимая рука вмешивалась в судьбы России, над нею нависала тяжелая рука Бога жестокого, Господа Сил? Вспомнилось отчаяние Мацнева и то, как сравнил он Россию с Содомом и Гоморрой. Подъята рука Бога карающего и что могли сделать люди?

Жутко стало Саблину. В маленькие окошечки избы видна была блестящая, мокрая, обледенелая дорога, поля с набухшим снегом. обломки забора, разобранные солдатами на дрова, дальше клубилось тучами серое небо и моросил мелкий, надоедливый, холодный дождь.

Саблин смотрел на обломки забора и вспоминал недавний случай в 819-м полку. Они шли на позицию и остановились на ночлег возле деревни. Походные кухни стали подле старого деревенского кладбища. Сотни лет покоились за земляным валом, среди густой заросли калиновых и сиреневых кустов, под могучими каштанами скромные деревенские покойники. И над ними стояли покосившиеся от времени, со стертыми надписями кресты, украшенные чьею то заботливою рукою, где пучком сухих цветов, где веночком, где лентами. Эти старые почернелые кресты были кому-то дороги и кто-то по ним находил остатки прошлого.

Кашевары полка сломали кресты и затопили ими кухни. В ста сажнях от них был лес и там стояли поленицы дров. Когда Саблин накричал на них, они не смутились.

— Поленицы, ваше превосходительство, далеко. да и какой там лес, — а это сухой, ишь горит как! — говорил, весело улыбаясь, молодой парень.

Страх Божий, чувство святости места были потеряны. „Эти” подумал тогда Саблин, „и в церкви ночлег устроят и алтарь осквернят. У них нет ничего святого!”

„И это народ — богоносец. Это воспетый интеллигенцией народ, который хочет теперь захватить власть в свои руки и сам править великою Россией. Захватит ли?”

Сумерки сгустились. Поля не стали видны, исчез забор и окна мутными серыми пятнами просвечивали на темной стене. Саблин зажег свечу и стал читать французский роман.

В одиннадцать часов вечера его вызвали к аппарату. Пестрецов требовал его приезда в штаб корпуса.

Еще затемно Саблин сел в автомобиль и по мокрой, но еще твердой дороге помчался к Пестрецову.

XXXII.

Пестрецов его сейчас же принял. Он провел Саблина в свой кабинет, тщательно запер дверь и прошел к столу. Потом вновь подошел к двери и быстро раскрыл ее. За дверью оказался денщик.

— Ты чего? — спросил Пестрецов.

— Я так. Думал не понадобится ли чего, — сказал денщик.

— Пошел вон!

— Слушаю...

— Вот видишь, Саша, — сказал Пестрецов, — это начало... Вызвал я тебя, а и сам не знаю зачем. Просто хотелось со своим человеком поговорить, на лицо родное посмотреть. Ничего не знаю. В Петрограде беспорядки. Были столкновения между полицией и солдатами. Кажется начались на голодной почве, на недостатке хлеба рабочим, но не знаю. Ничего не знаю. Из Ставки молчок. Никаких распоряжений. Это и понятно. Тот, кто ничего не делает, тот не ошибается, а ошибиться теперь, это играть своею головою, или, по крайней мере, своим местом и положением.

— Мне кажется, напротив — нет ничего более ясного теперь как: --- непоколебимая верность Государю и Родине.

— Ты так думаешь?

— Да. Я так думаю. Государя можно осуждать за многое. Надо стараться исправлять его ошибки. Его можно не любить, не уважать, презирать, ненавидеть, но служить ему мы обязаны. Это наш священный долг. Никакие беспорядки во время войны не допустимы.

-- Да. Ты так думаешь...

Пестрецов стал рыться в кипе телеграмм и, наконец, достал одну.

— Впрочем одна телеграмма есть. Главкозап боится, что беспорядки перекинутся в армию и потому требует более тесного общения офицеров с нижними чинами. Воспрещены отпуска и отлучки офицеров от частей. Вот и всё... Так прости меня, Саша, за то, что побеспокоил тебя. Знаю, нелегко шестьдесят верст отломать ко мне. Вот и погода какая! Опять мокрый снег пошел. Природа плачет. А о чем? Вот, говорят, радоваться надо.

— Кто говорит? — сурово спросил Саблин.

— Николай Захарович, наштарм мой. Он уже под меня подкапывается. Так прямо не говорит, а по лицу вижу. Стар я, вишь, для нового дела. Молодое вино де не вливают в старые меха. Да... А ведь мы приятели с ним. Много лет служили вместе, да и так ли я уже старше его? Да... Так, если что про меня услышишь, Саша, не осуждай. Все люди, все человеки. Всяка душа влаstem предержажим да повинуется, несть бо власть, аще не от Бога. Ты то попомни: состояния у меня никакого, только служба. Да и жена молодая. Нина Николаевна веселиться любит. Так не суди строго. У меня равнение направо. Как начальство, так и я. Ну, храни тебя Господь!

Тоскливо было на сердце у Саблина все эти дни. Чувствовалась неурядица, неразбериха, чувствовалось, что наверху все потеряли голову. Дома было скучно. Погода мешала производить занятия. Надо было беречь обувь и шинели. На позицию не тянуло. Всюду Саблин видел недоуменные, потерянные лица, у всех был молчаливый вопрос, что там, в тылу..., революция?

9-го марта к Саблину приехал с таинственным видом его старый лакей Тимофей. Он привез ему газеты и письмо от Мацнева.

„... Свершилось”, — писал Мацнев. — „У нас революция. Что будет, — ничего не известно. Республика, конвент, директория, учредительное собрание, чорт его знает. Одно знаю: — Наполеона пока нет. Все и вся изменили. Это какая-

то повальная болезнь измены. Случилось всё чорт знает как, катастрофически повально, до жуткости быстро и, как говорят, бескровно. Я, конечно, не специалист по оценке степени кровности революции, но на редкой улице ты не найдешь трупа убитого городского, или лужицу крови, правда, небольшую. Рек крови не видал и не только Нева, но даже Фонтанка не покраснела от крови. Может быть это и называется бескровная, но по-моему крови было довольно.

„Были какие-то беспорядки. Кажется, толпа требовала хлеба. Может быть требовала и еще что-нибудь, не знаю, но по улицам разъезжали казаки 1-го Донского полка и действовали по-старому: — лихо и нагайками. Им кричали „опричники” и всё шло по-хорошему. Мы уж к этому привыкли.

„Вдруг... Заметь, все такие дела решаются вдруг.. Не то прапорщик Астахов — это офицер нового типа, не то просто какой-то рядовой является в казармы Л. Гв. Волынского полка и говорит: — „Товарищи! В ружье и к Думе!” — Убили ротного командира и, как убили, крикнули: „нам нет другого пути, как на улицу!” Кто, зачем, почему? — Никто не знает, но идут к Думе. По пути заходят в Павловский полк, там поколебались и тоже пошли. Захватили электротехническую роту и готово. Не то демонстрация, не то революция. Гремит марсельеза, и при этом врут, доложу тебе, отчаянно. Реют красные тряпки. Ну, натурально, вся надежда на казаков. Вызвали сотню. И, представь себе, на Знаменской площади какой-то казачишка, вместо того, чтобы кинуться на собравшуюся с красными флагами толпу, выхватил шашку и зарубил полицейского офицера, который стоял спиной к нему, считая, что казаки приехали его защищать. Что тут было — описать трудно. Попробую писать революционным стилем. Революционный восторг охватил толпу. Нашлись какие-то барышни — оне всегда умеют в нужную минуту явиться, и стали целовать забрызганного кровью казака, и пошла потеха. Всё обрушилось на городских. Они засели в участках и стали отстреливаться. Их выкуривали пожарами и жгли живьем. „Граждане солдаты” совершенно позабыли,

что у них враг немец, решив, что их враг городской, и пошла охота за полицией.

„Впрочем охотились и за офицерами. Зачем, дескать, офицеры не явились в казармы и не пошли с солдатами к Думе. Офицеров разделили на революционных и не революционных. Те, кто приял революцию, нацепили красные банты и безоружные, — граждане солдаты, на всякий случай срывали с них оружие, — под руки велись солдатами впереди частей и орали какие-то песни. Тех, кто не нацепил, — арестовывали и убивали на улице.

„Главкомандующего генерала Хабалова, попробовавшего протестовать, ничтоже сумняшеся арестовали и отвезли в крепость. Он, Впрочем, так растерялся, держал себя такой шляпой, что беды большой от этого не было.

„В Думе идет ликование. Пахнет весной — действительно пахнет весной, — ибо март на дворе, мокро, грязно, и рослая фигура Родзянки на крыльце Думы, окруженная толпою думских членов. Ну, конечно, речи. „Граждане солдаты“, „революционные войска“, „народ взял всё в свои руки“, „проклятый царизм“ и ура, и марсельеза. Откуда-то принесли известие, что союзники одобряют революцию, и все воспрянули духом.

„Да, милый друг, изменяли Государю даже и те, кому изменять как будто бы было и не к лицу. Великий князь Кирилл Владимирович, во главе своего гвардейского экипажа, пожаловал тоже к Думе, — и с красным бантом, конечно, — чтобы выразить Родзянке свои верноподданнические чувства и предать проклятию ненавистный царизм, (что за подлое неграмотное слово!), который дал ему столько наслаждений в его жизни.

„Жутко писать, милый Саша. — но представь и меня захватило. Правда, без красного банта, я шатался по улицам и не знал, ликовать или нет? Как будто бы это то, чего я хотел, как будто бы и не совсем то. Противна была угодливость и стремление понравиться толпе. На Морской встретил милую Нину Васильевну. В глубоком трауре идет, полная негодования.

— „Для этого”, — говорит она мне, — „мой Пик проливал кровь и умер героем, чтобы, вместо нашего священного трехцветного флага, висели эти кровавые тряпки, чтобы вместо величественного гимна гремела перевернутая и опошленная французская марсельеза? Своего ничего выдумать не могли! Какой позор! Я презираю наших генералов, наших офицеров — ведь всё сдалось, всё пошло за толпою, поплыло по течению! Ужас! Я видеть не могу красных бантов на груди заслуженных генералов и офицеров!”

„И вдруг навстречу нам идет граф Палтов с женою. Свитские вензеля тоскоблены с погон и на груди шелковый красный не бант, а целая розетка вроде тех, какие мы одевали лошадям на уздечки на каруселях. Идет, сконфуженно улыбается. Увидали нас, подошли. Нина Васильевна сверкнула глазами на Палтова и, не подавая ему руки, — а он уже и фуражку снял, чтобы поцеловать ей ручку — говорит.

— „А вы, граф, орден трусости одели!”

„И пошла!

„А она прехорошенькая стала Нина Васильевна и траур к ней очень идет.

„Между тем войска и толпа продолжали всё по программе. От Думы пошли в Петропавловскую крепость, в Кресты, в Литовский замок и выпустили всех арестованных, все жертвы „царизма”, как политических, так и уголовных. Город наполнился преступниками. Горят пожарные части, кое-где звенит стекло, разбивают магазины. Революционные дамы и барышни, — и среди них не мало представительниц высшего общества, суди меня Бог и военная коллегия, если я между ними не видал Нину Николаевну Пестрецову, — организуют питательные пункты по всему городу для подкрепления сил „революционных граждан солдат”. Всюду вино, бутерброды, жареная птица, телятина, сладкие пирожки.

„По всему городу звенит слово: — товарищ. Все стали товарищами. Видел дядюшку твоего Егора Ивановича. Стоял окруженный матросами на платформе грузовика, опирался на красное знамя с каким то „,до л о й”, дальше я не разобрал надписи, и зычным голосом вопил, а что имен-

но, я услышать за гомоном толпы не мог. Я слышал только слово „народ“, с таким сочным „о“, что мурашки побежали по спине. Хорошо говорит твой дядюшка!..

„Испуганная Императрица, — все дети ее больны корью, — вызвала Государя. Приезжай он в эту минуту в столицу, даруй одной рукою конституцию, другою разгони всю ту сволочь уголовного типа, которая как-то сразу, как воронье, налипла на революцию, может быть, еще что-нибудь и вышло. Но изменили, Саша, не низы. Им еще Господь просит, их угнетали и держали в темноте, их жизнь не ахти как была сладка, они не ведали, что творили. Изменили верхи.

„Государь отправляет отряд в Царское, назначает туда своего любимого генерал-адъютанта и, казалось бы, такого ему преданного, Иванова, отдает распоряжение о направлении в Петербург кавалерийских частей. Но „главкосев“ — Рузский, который находится в оживленнейших переговорах с Родзянко, отменяет распоряжения Государя и не пускает войска к Петрограду. Видишь ли: все крови боятся, все хотят сделать безкровно. Государя со станции Дно сворачивают на Псков, объясняя ему, что на Витебской дороге путь неисправен. Государь покорно едет к Пскову. Он и мысли не допускает, что генерал адъютант Рузский, выдвинутый им из праха, может ему изменить. С ним Воейков, и полупьяный Нилов, — советники плохие. В поезде полная растерянность. Конвой и сводный полк смотрят хмуро — ни одного человека твердого волей нет при Государе.

2-го марта, Государь прибыл в Псков. Он ожидал там увидеть Родзянко, но его встретил только Рузский. Государь заявил, что он готов объявить манифест об учреждении ответственного перед палатами министерства и поручить составление кабинета Родзянко.

Но, милый друг, *l'appetit vient en mangeant**) и аппетита за три дня разыгрались. Упоенный речами бесчинствующих солдат и ослепленный красными флагами, Родзянко уже грезит, как бы самому взгромоздиться на Престол, его

*) Желание есть разыгрывается по мере того, как ешь.

приближенные ему льстят, притом он трус, и его политика — потворствовать толпе. Он не отходит от прямого провода и пугает Рузского. — „Вы-де не отдаете себе отчета в том, что здесь происходит: настала одна из страшнейших революций, побороть которую будет не так легко. В течение двух с половиной лет я неуклонно, при каждом моем всеподданнейшем докладе, предупреждал Государя Императора о надвигающейся грозе, если не будут немедленно сделаны уступки, которые могли бы удовлетворить страну. Я должен вам сообщить, что в самом начале движения власти, в лице министров, ступевались и не принимали решительно никаких мер предупредительного характера. Немедленно же началось братание войск с народными толпами, войска не стреляли” et pa-ta-ti et pa-ta-ta я списал вся ленту их разговора, любезно предоставленную мне, как будущему историку „великой Российской революции”. — А в конце концов стоит прямо: — „считаю нужным вас уведомить, что то, что предполагается вами уже недостаточно и династический вопрос поставлен ребром. Сомневаюсь, чтобы с этим можно было справиться”.

У Рузского миллион солдат под ружьем и все еще и не поехали революции. Даже если тысяч сорок походом двинуть на Петроград, так при одном известии весь революционный пыл погас бы и все эти герои революции побежали бы выдавать друг друга и каяться. Но, повторяю, игра заварена серьезная и в ней принимают участие верхи, не без одобрения союзных посольств.

Но Рузский еще ломается. Он притворяется, что не понимает „в каком виде намечается решение династического вопроса”. И тут уже эта старая лисица Родзянко распоясывается во всю: — „с болью в сердце буду теперь отвечать, Николай Владимирович, еще раз повторяю — ненависть к династии дошла до крайних пределов, но весь народ, с кем бы я ни говорил, выходя к толпам и войскам, решил твердо войну довести до победного конца и в руки немцам не даваться... Повторяю: со страшной болью передаю я вам об этом, но что же делать? В то время, когда народ, в лице

своей доблестной армии, проливал кровь и нес неисчислимые жертвы, Правительство положительно издевалось над нами. Вспомните освобождение Сухомлинова, Распутина и всю его клику; вспомните Маклакова, Штюрмера, Протопопова, все стеснения горячего порыва народа помогать по мере сил войне. Назначение кн. Голицына, растройство транспортов, денежного обращения, непринятие никаких мер к смягчению условий жизни. Постоянное изменение состава законодательной палаты в нежелательном смысле. Постоянные аресты, погоня и росыск несуществующей тогда еще революции — вот те причины, которые привели к этому печальному концу. Тяжкий ответ перед Богом взяла на себя Государыня Императрица, отвращая Его Величество от народа... Прекратите присылку войск, так как они действовать против народа не будут. Остановите ненужные жертвы”...

„Всё это доложили Государю и Государь сам отменил посылку войск. Он желал знать лишь одно: что же нужно для блага народа, который он так любил?

„Списываю тебе с ленты слова Родзянки.

„Николай Владимирович”, — говорит он Рузскому, — „не забудьте, что переворот может быть, добровольный и вполне безболезненный для всех и тогда всё кончится в несколько дней. Одно могу сказать: ни кровопролития, ни ненужной жертвы не будет”.

„Но Государь еще колеблется. Он не верит Родзянке. В 6 часов утра его будят и передают слова генерала Алексеева, переданные через генерала Лукомского генералу Данилову. Я и их списал для тебя, мой старый друг, чтобы ты знал, как заставляли Государя добровольно отречься. Только что Родзянко говорил о том, что придется пролить много крови, если Государь не отречется. А ты знаешь, что кровь для Государя всё. Он слишком любит свой народ. И чтобы усилить впечатление генерал Лукомский из Ставки говорит: — „...Переживаем слишком серьёзный момент, когда решается вопрос не одного Государя, а всего царствующего дома и России”. Генерал Алексеев уже угрожает анархией в армии и на фронте. Он говорит Данилову: —

„это официально, а теперь прошу доложить от меня генералу Рузскому, что по моему глубокому убеждению выбора нет и отречение должно состояться. Надо помнить, что вся Царская семья находится в руках мятежных войск, ибо по полученным сведениям дворец в Царском Селе занят войсками, как об этом вчера уже сообщил вам генерал Клембовский. Если не согласится, то вероятно произойдут дальнейшие эксцессы, которые будут угрожать царским детям, а затем междоусобная война и Россия погибнет под ударом Германии и погибнет вся династия”.

„Пишу тебе так подробно, милый Саша, при всей своей лени, не ленюсь снимать копии с телеграфных лент для того, чтобы ты знал, что все они лгали сознательно, или бессознательно. Ни Дума, ни Родзянко, ни толпа хулиганствующих, распропагандированных, купленных иностранными деньгами солдат не изображают мнения России. Царское Село в это время не было занято и во дворце были колеблющиеся, не знающие на чью сторону стать солдаты и все смотрели, куда их повернут. Пишу для того, чтобы ты знал и в сердце своем запомнил тех, кто в эти дни повернул корабль России на новый курс, к великой ли славе, или к полному крушению — покажет будущее. Пишу для того, чтобы ты знал, что не Государь отрекся, а его отрекли, как теперь глупо говорят. Я слышал эти дни, как один приближенный и обласканный Государем человек, сказал, что Государь отрекся так легко, как будто батальон сдал, а не Россию!

„Это не правда.

„Какие муки пережил Государь в эту страшную ночь!

„Если вы не отречетесь погибнет Россия, — говорят ему председатель Государственной Думы, Начальник его штаба, генерал-квартирмейстер, главнокомандующий северным фронтом. Он им не может не верить. Он должен им верить.

„ Если вы не отречетесь — в армии будет анархия, погибнет армия и Германия победит”.

„Если вы не отречетесь — погибнет ваша семья и дети ваши будут убиты”.

„Давили на всё. На Государя, на Верховного главкомандующего, на Отца!

„2-го марта в 3 часа дня Государь передал Рузскому собственноручно написанную телеграмму:

...„Нет той жертвы, которую я не принес бы во имя действительного блага и для спасения родной матушки России. Посему я готов отречься от престола в пользу моего сына с тем, чтобы оставался при мне до совершеннолетия, при регентстве брата моего Великого Князя Михаила Александровича. Николай...”

„Но сейчас же Государь переписал ее и написал:

...„Во имя блага и спасения горячо любимой России я готов отречься от Престола в пользу моего сына. Прошу всех служить ему верно и нелицемерно. Николай”.

„Нет, это не батальон сдавал!”

„Ты помнишь унтер-офицера Болотуева, он в дни твоей молодости у тебя взводным был. Он давно служит дворцовым служителем и дежурил в эти дни при Государе.

„Он говорил мне вчера, что Государь плакал после подписания этих телеграмм у себя в купе”.

„Итак, главное сделано. Телеграмма подписана, она находится у „главкосева” Рузского. Царь уже больше не царь. Ему докладывают, что к нему едут члены Думы — Гучков и Шульгин. Гучков — октябрист, Шульгин — правый, редактор-издатель „Киевлянина” лучшей, правой газеты, издававшейся в Киеве. Может быть надежда на лучшие вести мелькнула в страдающем мозгу Государя. Он потребовал телеграмму обратно от Рузского.

— Нет, ваше величество, что подписано — то кончено. Телеграммы вы не получите, — сказал ему его генерал-адъютант.

„В семь часов вечера Гучков и Шульгин были приняты Государем. Он ждал от них помощи, но получил последний удар.

„Говорил один”, — рассказывал мне Болотуев, — „потом говорил другой, долго, страстно говорили. Это был обвинительный акт Государю. Он был виноват во всё. Он был виноват и в том, что злое время настало на Руси и все изме-

нили, все продались, кто английскому, кто немецкому капиталу.

„В 12 часов ночи Государь подписал следующий манифест:

„...В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжелое испытание. Начавшиеся, внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, всё будущее дорогого отечества требуют доведения отечественной войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы и уже близок час, когда доблестные армии наши, совместно со славными нашими союзниками, смогут окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России, почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы и, в согласии с Государственной Думой, приняли мы за благо отречься от престола Государства Российского и сложить с себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие наше брату нашему, великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на престол Государства Российского. Заповедаем брату нашему править делами государственными в полном ненарушимом единении с представителями народа и законодательных учреждениях, на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую присягу.

„Во имя горячо любимой Родины, призываем всех верных сынов отечества к исполнению своего святого долга перед ним повиновением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему, вместе с представителями народа, вывести государство Российское на путь победы, благоденствия и славы.

„Да поможет Господь Бог России. Николай.”

„Итак, казалось бы, достигли желаемого. Дана конституция, во главе Государства мягкий, благожелательный, ли-

беральный, Михаил Александрович, храбрый солдат, любимый в Армии. Россия пойдет с ним к победам и славе. Значит: и проливы и Константинополь, и Русское дело и Русская победа в надежных руках.

„Кажется, что бы лучше?

„Но вовсе не этого было нужно тем, кто делал революцию. Им-то слава и честь России были менее всего нужны!

„В то время, как Государь с тяжелою душою, но с полным благородством отдавал самого себя для блага России, в тот же самый день, 2-го марта, около трех часов дня, господин Милюков в Таврическом дворце говорил речь уличной толпе. Каюсь: был в этой толпе и я и наблюдал ее. Поближе к Милюкову стояли свои люди, встретившие его рукоплесканиями и вынесшие на руках из зала. Но сзади, там, где стоял я, было совсем иное настроение. Когда Милюков сказал о создании временного правительства, мой сосед, интеллигентного вида мужчина, крикнул: „кто вас выбрал“. — „Нас выбрала Русская революция“, — развязно ответил Милюков, — „но мы не сохраним этой власти ни минуты после того, как свободно избранные народом представители скажут нам, что они хотят на наших местах видеть людей, более заслуживающих их доверия“.

— „Ага! Ладно!“ — крикнул мой сосед.

„Известие, переданное Милюковым, что власть перейдет к наследнику, при регентстве великого князя Михаила Александрович, вызвало опять крики: — „это старая династия“... ..Вечером я уже узнал, что во дворец ворвалась толпа прапорщиков и потребовала от Милюкова, чтобы он отказался от своих слов, что на престоле будет кто-либо из Романовых и вот уже именно с легкостью необычайной Милюков сдал это и сказал, что это было только его личное мнение.

„Когда вернувшийся из Пскова Гучков на Варшавском вокзале сообщил встретившей его кучке железнодорожных рабочих о том, что Государь отрекся в пользу брата своего, его слова были встречены возгласами негодования.

„Долой царя! Не желаем!” — и Гучков поснешил успокоить их, что это только желание „Николая II”, а они еще посмотрят.

Итак, милый Саша, кучка прапорщиков в Таврическом дворце и такая же кучка железнодорожных рабочих на Варшавском вокзале легко отталкивают кормчих, взявшихся править Государством и направляют корабль России, куда им угодно, но только, конечно, не к славе, победе и благоденствию.

Кто эти прапорщики? Кто эти железнодорожники? А, если это германские шпионы, если это агенты Антанты, которым уже не нужна больше победа России, если это слуги тех самых большевиков, которых судили в прошлом году. Никто не поинтересовался спросить, кто они, но признали в них „волю народа”; сто восьмидесяти миллионного народа!..

И вот, третьего марта, достойная компания в лице кн. Г. Е. Львова, П. Н. Милюкова, А. Ф. Керенского, Н. В. Некрасова, М. И. Терещенко, И. В. Годнева, В. Н. Львова, А. И. Гучкова, М. В. Родзянко, В. В. Шульгина, И. Н. Ефремова и М. А. Караулова, около полудня собирается на Миллионной улице в доме великого князя Михаила Александровича.

Пространно говорит старый дворянин Родзянко, богатейший помещик, взысканный царями, о необходимости для блага Родины отречься от престола и Михаилу Александровичу. Ему возражали П. Н. Милюков и А. И. Гучков. Милюков говорил о том, что временное правительство одно является „утлою ладьею”, которая может потонуть в океане народных волнений, что государство нуждается в сильной, привычной власти монарха.

Потом говорил Керенский, настаивая на отречении Великого Князя.

Ты, Саша, знаешь хорошо великого князя. Никогда он не думал о престоле всероссийском, никогда к нему не готовился. Кругом него шли шумные дебаты, шли разговорчики о нем так, как будто бы его и не было. На кого он мог положить? Его туземцы были благоразумно загнаны, кому

это было нужно, на румынский фронт. Вокруг орда пьяных солдат, убивающих своих офицеров и начальников, опереться не на кого.

„Великий князь отказался. И я не осуждаю его. Он ничего другого уже не мог сделать.

— Ваше высочество! — воскликнул Керенский, выслушав его отказ — вы — благородный человек!..

„Итак — *le roi est mort**) и да здравствует временное правительство, во главе с князем Львовым из представителей всех партий.

„Старых министров, а с ними за одно и тех генералов, которые почему-нибудь не понравились толпе, — не сняли свитских аксельбантов, позволили себе только что торжественно провозглашенную свободу слова и осудили действия хулиганов, — революционные войска арестовали и доставили кого в Таврический дворец, кого в крепость, кого в Кресты. Картины умилительные. То и дело видишь грузовик, на который навалилась ликующая, разукрашенная красными лентами матросня и солдатня, с ними непременно несколько девиц и посреди них сконфуженно, глупо улыбающаяся физиономия какого-нибудь сановника. Впрочем, кажется, обходились прилично и обижать не обижали. Новый кабинет собрали всех мастей и оттенков. Кадетская партия себя не обидела, напихала своих, куда надо и куда не надо. Все это пирожники, взявшие сапоги и сапожники, взявшие печь пироги. Князь Львов во главе, Александр Иванович Гучков военный министр, левый социалист Керенский, министр юстиции и так далее в том же роде, личности довольно бесцветные, как бесцветна была и Дума. — Ярче других Милюков, министр иностранных дел. Мы за последнее время были подготовлены ко всяким таким назначениям и потому подумали — *les ministres passent — les bureaux restent***)) и не беспокоились, но вскоре увидели, что и бюро затрещали по швам, новые метлы заработали с революцион-

*) Король умер.

**)) Министры уходят — их министерства остаются.

ной энергией — и всюду поклон в сторону толпы, то есть, говоря просто, — хама.

„Газеты всех оттенков, не исключая и правых, соловьями разливаются, восхваляя революцию. „Новое Время” стало называть Государя Императора „бывший царь” с маленькой буквы и писать про Государя грязные сплетни. Внезапно, стихийно, как будто заранее заготовленные, вылетели на улицу грязные порнографические листки с грубыми картинками, и мальчишки носятся среди солдат, громко крича: — „сказ о том, как Сашка шила Распутину рубашку” — и другие подобные циничные гадости”...

Саблин остановился здесь и вспомнил Русско-японскую войну и тогдашние крики газетчиков о победах Японии. „Мальчишки и уличные девки” — подумал он, — „вот тот камертон, который дает тон нынешней Русской истории. А где же дворянство, рыцари, где же интеллигенция и подлинный народ? Народ всё еще безмолвствует”..

„Но всё это было бы еще полбеды”, — продолжал читать Саблин, — „если бы у нас было правительство. Хотя худое, да правительство, мы ведь хорошим-то не очень избалованы, но беда оказалась в том, что Временное Правительство оказалось правительством без власти.

„В то время, как к Таврическому дворцу торжественно, под гром музыки, подходили полки за полками, пришли и казаки, — на поклон, срамить своих дедов, пришел и Конвой заявить о своей рабской душонке, — когда там вновь народившиеся министры, позабыв обо всех делах, целые дни приветствовали, благодарили и умилялись подвигам революционных войск, пожимая тысячам солдат руки, еще теплые от убийства безоружных людей, в том же самом Таврическом дворце засело другое правительство: совет солдатских и рабочих депутатов. Что за депутаты, откуда они явились, кто их избирал, этого никто не знает. За длинным столом, окруженные вооруженными до зубов солдатами, матросами и рабочими, сидят юркие личности в пиджаках и солдатских рубашках, носящие по паспорту звучные фамилии, вроде Чхедидзе, Цедербаума, Гуммера, Гельфанта, Розенфельда, Крах-

мая, Нахамкеса, но укrywшиеся для удобства совращения малых сих под православными псевдонимами Маркова, Суханова, Каменева, Загорского, Стеклова и тому подобных. Эти неуклонно ведут свою линию и, захватив в свои руки мощную радиостанцию, рассылают по всей России приказы самого возмутительного содержания.

„Их линия поведения точно определяется нижеследующей формулой, выработанной уже два года назад в Циммервальде и провозглашенной ими в № 1 „Известий Петроградского Совета рабочих депутатов“: — „немедленная и неотложная задача временного революционного правительства войти в сношения с пролетариатом воюющих стран для революционной борьбы народов всех стран против своих угнетателей и поработителей, против царских правительств и капиталистических клик и немедленного прекращения кровавой человеческой бойни, которая навязана поработленным народам“. — И, можешь себе представить, как этот призыв понравился всем трусам, шкурникам, оборонцам, уклоненцам, спекулянтам и привлек сразу всю пакость земли Русской на сторону совета. Что же делало тем временем настоящее, тоже самоизбравшееся, Временное Правительство?

„Временное Правительство разговаривало и совещалось, как поступить с этою властью, выросшею у него, как гнойный прыщ на носу.

„Разгонять? Но это нарушить девственную чистоту бескровной ликующей революции, это покажется народу старым режимом, насилием, произволом. Да и кто будет разгонять? Солдаты и рабочие не захотят гнать своих депутатов, которых, надо полагать, они когда-то избрали и которые отрицают войну и обещают мир.

„Соединиться с ними, вступить в переговоры, сделать из них, так сказать, нижнюю палату будущего парламента, признать их и столкнуться? Как будто не ловко. Уже слишком махровая компания там заседает, да и определенно известно, что никто никогда их не избирал.

„Решили просто. Держать с ними „контакт“. Кому пришла эта гениальная идея, затрудняюсь сказать, но очень

скоро наш брат чиновник, да и кое-какой офицер почувствовал, что настоящая власть это и есть Цедербаум, Нахамкес и компания, а князь Львов, Гучков и Милюков это только вывеска для господ, и ловчили в мундирах иногда и со значками генерального штаба, стали появляться, яко тать в ночи, перед советом и выражать свою преданность красному знамени, отрекаясь от оципанного новым правительством двуглавого орла.

„Что будет дальше, Саша, поживем — увидим. Пока хожу по улицам, из благоразумия в штатском и сильно поношенном платье, ибо хорошие шубы по ночам товарищи солдаты снимают, и приглядываюсь, не увижу ли где-либо Наполеона, который подкатит пушки к Таврическому дворцу и разгонит непрошенных гостей. Но что-то не видно. Пробовал я петь марсельезу с народом, — что-то не поется.

„Таня твоя перебралась к своей подруге Оле Полежаевой в Царское. Так-то лучше, пожалуй. Ну вот и всё. Храни тебя Господь. Твой старый Иван Мацнев”...

Прочел это письмо Саблин и почувствовал, словно какой-то большой куст со многими цепкими корнями вырвали у него прямо из сердца...

Что же это? А как же армия? Что скажут Ротбеки, хорунжие Карповы, все те, кто так любил Россию и верил, что Россия без Хозяина земли Русской не мыслима?

Замелькали в памяти простые, не замысловатые, безчисленные кресты офицерских и солдатских могил, зазвучали в ушах тихие панихидные слова „на поле брани за веру, Царя и отечество убиенных” и понял Саблин, что невидимый враг верно выбрал время для того, чтобы нанести страшный удар России, повалить ее и повергнуть в хаос и бездну небытия.

Кто этот враг? Таинственные ли семьдесят мудрецов, на которых туманно намекал Верцинский, император Вильгельм, готовый на всё, лишь бы покончить войну, или Англия?

А, может быть, никто, но Божья воля. Страшное наказание Господа Сил за то, что мы забыли Его заветы любви и стали ненавидеть и Бога и людей?..

XXXIII.

Был теплый весенний день. Снег быстро таял и на скалах холмов, обращенных на юг, чернели яровые поля, и ярко, молодо и задорно блестели тонкими радостными иголками озими. Птицы в лесу звонко, по-весеннему, перекликались о чем-то творческом и бесконечно счастливом.

Бледно-синее небо с розовыми облаками отражало солнечные лучи и точно радовалось тому, какое оно красивое, новое, иное, чем несколько дней назад, когда стоял мороз и густо лежал по земле твердый снег. Людям должно бы петь и радоваться в такой день, ликовать и славословить Господа, но вместо этого они ходили озабоченные, сердитые и недовольные. У всех была одна мысль: — „наш день настал. На нашей улице праздник, не прогадать бы, не продешевить бы, не упустить бы своего”.

204-ая дивизия строилась в резервный порядок для принесения присяги Временному Правительству. От Командующего Армией утром пришло к Саблину приказание лично быть на присяге. Пестрецов опасался, что солдаты откажутся присягать и требовал, чтобы Саблин объяснил войскам, что Государь сам отрекся от Престола, что также отрекся и Михаил Александрович, что будет Учредительное Собрание, которое установит образ правления в России и что волноваться нечего, ежели народ пожелает иметь Царя, то Царь и будет.

Саблин холодно, без обычного в таких случаях, когда он бывал перед войсками, подъема, прочитал бледный манифест, подписанный Государем и сказал, что Россия без управления оставаться не может, что время власти взяло на себя Временное Правительство, которому и надлежит присягать.

Он посмотрел на лица солдат. Они были задумчивы, большинство смотрело вниз исподлобья. Саблин подумал: — „народ взял на себя время власти и задумался”.

Он отъехал в сторону, слез с лошади и закурил папиросу. Перед ряды вышел священник и стал монотонно читать сло-

ва новой присяги, чуждо звучащей для 'солдата, слишком простой и не страшной.

После чтения, по очереди стали подходить сначала офицеры, потом солдаты и подписываться под присяжными листами.

Саблин хотел уже уезжать, как вдруг шум и громкий говор заставили его встрепенуться. Из леса, направляясь к нему, шла маленькая группа вооруженных 'солдат, бесцеремонно толкая перед собой офицера. Саблин с удивлением увидал на солдатских погонах номер полка Козлова, а в офицере узнал подпоручика Ермолова. Те самые солдаты, которые обожали своего офицера и с которыми он жил одною жизнью на позиции, нагло и грубо толкали его.

— Что такое! крикнул Саблин. — Как вы смеете! Солдаты подошли к Саблину. Их тесным кольцом окружила толпа уже присягнувших солдат полка, глаза и жадно слушая что будет дальше.

— Ваше превосходительство, — задыхаясь заговорил молодой солдат с наглым лицом, не выпуская из своей руки шинели Ермолова, — позвольте вам доложить. Все, значит, присягать стали, подписывать присяжный лист, а поручик Ермолов вдруг пошел в лес и стали уходить с поля.

— Присягать, значит не желают, — сказал другой солдат, стоявший по ту сторону от Ермолова.

— Прежде всего не смей трогать офицера, крикнул Саблин, и разойдись по местам.

Никто не шевельнулся. Сквозь толпу протиснулся бледный Козлов и стал подле Саблина. Саблин заметил, что он отстегнул крышку кобуры револьвера и передвинул револьвер на живот.

— Я присягнул своему Государю, — твердо, отчетливо, чеканя слова, сказал Ермолов тяжело дыша, — и никому больше присясть не буду... Я не изменник!

— Ишь ты! пронеслось по толпе. — Государь сам отрекся, народ, значит, взялся сам управлять. А он, значит, не желает с народом служить.

— Разойтись! — гневно крикнул Саблин.

— Чего разойтись! Товарищи, надо посмотреть, присягал ли еще и сам генерал. Может и он с ним заодно, под красным знаменем служить не желает.

— Вам сказано, разойтись, — сказал Козлов. Что вы, бунтовать хотите.

— Это не мы бунтуем, а те, что присягать не хотят. Их арестовать надо.

— Арестовать, арестовать!

— И генерала, арестовать!

— Правильно, товарищи.

— Царя ноне нет и господ нет, арестовать генерала.

— Навались, робя. Хватай!

Положение становилось тяжелым. Передние еще держались, не смея поднять руку на своего корпусного командира, но сзади напирала масса, раздавались свистки и Саблин почувствовал, что сейчас произойдет что-то ужасное.

— Повремените, товарищи! — раздался из толпы слегка шепелявящий, тусклый голос, и Саблин узнал голос Верцинского. — Самосуд не дело свободного народа. Вы неправильно арестовали товарища Ермолова. Он такой же свободный гражданин, как и вы, и это его воля присягать или нет. Ведь и вас никто не неволил. Товарищи! настала минута, когда вы должны показать, что вы достойны той великой свободы, которую завоевали мозолистые руки солдат и рабочих! Вы не оскверните чистые минуты великой революции насильем. Мирно разойдемся, товарищи, но будем знать, что есть люди, которые не с нами. На них мы будем смотреть с полным, глубоким презрением. По землянкам товарищи. Красное знамя свободы сменило двуглавого орла тирании и произвола! Расходитесь!

— Правильно!

— Что же, это он правильно! Коли свобода, то значит во всем свобода... И в присяге свобода.

Толпа пошатнулась и стала расходиться.

— Ваше превосходительство, я умоляю вас, уезжайте, сказал Козлов. — Люди с ума сошли. Пройдет этот угар и они на коленях будут умолять о прощении.

— Садитесь на лошадь моего ординарца и поедем ко мне, — сказал Саблин Ермолову — вам не безопасно оставаться среди них.

— Я ничего не боюсь, ваше превосходительство, — со светлым лицом сказал Ермолов. — Я и смерти не боюсь. А жить теперь не стоит. Не для чего!

— Ваша жизнь еще нужна будет! Садитесь.

Они молча поехали мимо расходившихся солдат. Почти никто не отдавал чести Саблину. Солдаты смотрели мрачно, исподлобья, но молчали.

XXXIV.

В штабе корпуса Саблин застал полный кавардак. Едва не бунт. На дворе избы, которую занимал Саблин, толпились радиотелеграфисты, телеграфисты, мотоциклисты и самокатчики и о чем-то шумели.

— Я говорю, не имеет права задерживать! Это такой же приказ, как и временного правительства, и Вислентьев не имел права сдавать начальнику штаба. Вислентьева за это арестовать надо. Он должен был передать, как указано, — слышал Саблин возбужденный голос, когда слезал с лошади.

Он хмуро посмотрел на солдат и прошел в хату. В ней Давыдов с бледным, как полотно, лицом, неистово курая, ходил взад и вперед по грязному, размокшему, земляному полу.

— В чем дело, Сергей Петрович? — спросил Саблин.

— Я едва не выпорол телеграфиста. И жалею, что не выпорол эту скотину — сказал Давыдов.

— Но что случилось?

— Извольте видеть, ночью передана радио-телеграмма с заголовком „всем, всем, всем, немедленно передать во все части, роты, эскадроны, батареи и команды“. Дикая галиматья. Военская дисциплина отменяется. Объявляется декларация прав солдата! Слышите, ваше превосходительство, не обязанностей, а прав. Прав! Солдат имеет право ходить по всяким злочным местам, ездить в вагоне I класса, и

даже не сказано, что с билетом, не отдавать никому никакой чести, офицер вне службы ему не начальник и прочая ерунда и довольно безграмотная.

— Кем подписана?

— Советом солдатских и рабочих депутатов.

— Ерунда! Как же ее передали?

— А вот пойдите вы. Оказывается это не первая. По ночам радиотелеграф работает непрерывно и радиотелеграфисты исписывают целые листы „всем, всем, всем!“ Что с этим делать!

— Приложить к секретному делу, как любопытный документ неразберихи нынешнего времени.

— Уничтожить! Да неразбериха ли, ваше превосходительство? Вот в чем беда! Слыхали, в М-ске торжества по случаю революции и свержения Царя. Начальника гарнизона генерал адъютанта Б. товарищи солдаты просят пожаловать на парад. Он выходит. Ничего красного на нем нет. Услужливые адъютанты говорят: — вам надо быть в красном, ваше превосходительство. Кто-то, ах, ваше превосходительство, от подлиз и от лакеев нас и революция не избавила, выворачивает генеральское пальто на красной подкладке — и подает так Б. Тот одевает. Каков кардинал!

— Шут гороховый!

— Так вот ваше превосходительство, неразбериха ли это? А?

— Но ведь вы понимаете, сказал Саблин, что этот приказ № 1 с декларацией прав солдата — это проповедь распущенности. Наш солдат в массе и без того разнуздан, давно ли командование было принуждено ввести телесные наказания, что бы хотя как-нибудь обуздать армию и охранить мирных жителей, а после такого приказа трепещи обывательское благополучие. На части разорвут.

— И воевать не станут, ваше превосходительство. Я полком командовал, так знаю-с, что такое выгнать из окопа и поднять цепь в наступление. Не то что кричишь, надрываешься, а палкой иной раз съездишь. А тут вы и тому подобное. Да они на это вы — вам ты ответят. Так спрятать приказ?

— Обязательно спрятать...

Вечером из штаба армии пришло приказание разъяснить солдатам, что приказ № 1 и декларация прав солдата касается только частей Петроградского гарнизона, заслужившего такие милости, так как он поднял знамя революции. Мозги солдат окончательно свихнулись. Явилось такое правительство, которое измену присяге, измену Государю, уличные беспорядки ставит выше тяжелой, полной лишений и боевой страды на фронте. И солдат озлобился.

Для Саблина и офицеров стало ясно, что правительство находится в руках гарнизона и Россию правят не князь Львов, не Гучков, Милюков, Керенский и другие, а правит толпа, может быть, таинственный Совет солдатских и рабочих депутатов, возглавляемый компанией евреев и Русских с уголовным прошлым.

Еще через три дня по всему фронту громогласно и требовательно сверху вниз было объявлено, что приказ № 1 распространяется на всю Армию. Армия раскрепошалась от дисциплины и обращалась в вооруженную толпу. По армии стали носиться темные слухи о какой-то таинственной Еремеевской ночи, как называли безграмотно солдаты историческую Варфоломеевскую ночь. В эту Еремеевскую ночь предлагалось перебить всех офицеров, просто за то, что они офицеры.

И в этих слухах был слышен таинственный, но полный грозного смысла призыв: —

— И лучшего изгоев — убей!

„Убей начальника”.

Саблин призвал к себе Давыдова.

— Нам, начальникам, — сказал он, нечего делать у такого правительства. Прикажите составит для меня рапорт со всеми нужными приложениями и послужным списком для увольнения меня в отставку. Мотив: — невозможность командовать частью при таких условиях.

— Ваше превосходительство, — мягко сказал Давыдов. — правильно ли вы поступаете? Если все поступят так, как вы...

— Как это было бы прекрасно, — перебил его Саблин. — Это был бы протест против того, что делает правительство. Если бы все офицеры сейчас ушли со службы, — это не было бы дезертирством, но это заставило бы правительство перестать разрушать Армию.

— А не ускорило бы это Еремеевскую ночь?

— Может быть. Но она всё равно будет. И я уйду не от нее. От нее никуда не уйдешь. Я уйду, чтобы не быть невольным участником развала Армии и гибели России, уйду для того, чтобы бороться против этого. Приготовьте мне к вечеру бумаги, а сейчас пошлите ко мне Ермолова.

— Слушаюсь, сказал Давыдов.

Через несколько минут в халупу вошел Ермолов.

— Поручик Ермолов, сказал Саблин. Завтра утром через нашу деревню будет проходить N-ская кавалерийская дивизия со своим стрелковым полком. Я писал о вас начальнику дивизии и командиру стрелкового полка, они принимают вас к себе. Вы присоединитесь к полку и уйдете с ним.

— Ваше превосходительство, — смело проговорил Ермолов, — позвольте мне этого не делать.

— Почему? — спросил Саблин и устремил пытливым взгляд на юношу. Где видал он такие бледные бескровные лица с большими ясными, точно светящимися глазами? Где видал он это благородство черт и линий, не прирожденное, а созданное высотой помыслов..., Мелькнули в памяти картины итальянских монархов художников XV и XVI века... Показался сумрак Берлинской картинной галереи Кайзера Фридриха, Римские музеи и все эти святые Себастьяны и Антонины, эти прекрасные отроки, привязанные к столбам и пронзаемые стрелами. Мученики! Глаза мученика за веру, за идею, смотрели на Саблина. И инстинктивно понял он, что-то, что скажет сейчас Ермолов, возвысит Ермолова, покажет его в полной красоте христианской любви и чувства долга. Часть офицерства Русского, как Христос, добровольно шла на страдания и крестную смерть, добровольно осудила себя на Голгофу!

— Разрешите мне вернуться в свою роту, сказал Ермолов. Они ничего со мною не сделают! Я там очень нужен. Мой долг быть с ними до конца.

— Сколько вам лет? — с чувствам уважения и восхищения спросил Саблин.

— Мне двадцать лет, — отвечал Ермолов.

— Идите и да хранит вас Господь!...

XXXV.

В три часа ночи усталый писарь принес Саблину рапорт, послужной список, расчет на пенсию и прошение об отставке. Он вошел потому, что в окно увидел свет и Саблина, сидящего за столом.

— Я не знал ваше превосходительство, как писать вам прошение, — сказал он. Раньше на Высочайшее имя писали. Я на имя министра писал. Опять не знал, как титуловать его. Написал: господин министр. Только не знаю хорошо ли будет?

— Хорошо, я просмотрю и, если нужно исправлю. Оставьте здесь, сказал Саблин.

— Послужной списочек, ваше превосходительство, составлен в двух экземплярах, благоволите просмотреть и вот здесь написать: — „читал” и фамилию вашу проставить, так полагается.

Писарь ушел и Саблин развернул послужной список.

В этой прошитой, опечатанной еще старою печатью с большим широко распростершим крылья двуглавым орлом тетради грубоватой серой бумаги заключалась вся его жизнь.

Тихо и ясно горела свеча, в походном подсвечнике, поставленная на горку книг. Она бросала свет на рано посевшие, но все еще густые волосы, на тонкий овал лица и отражалась маленьким огоньком в серых глазах.

„Послужной список Командира N армейского корпуса, Свиты Его Величества генерал-майора Александра Николаевича Саблина, составлен 13-го марта 1917 года...”, прочел Саблин. Старый писарь не посмел, или не захотел ли-

шить свитского звания своего командира корпуса, как не соскоблил и Саблин с своих погон Государевых вензелей. То, что было, — было, и уничтожить прошлое человек не властен. И прошлого Саблина никто от него не отнимет, как и он сам не в силах изменить в нем ни одной черты. Историю даже единичного лица нельзя ни изменить, ни повернуть, как же хотят он и, подумал Саблин, — отменить прошлое и уничтожить великую историю царей московских и императоров Российских. Настоящее, пускай, принадлежит им, но будущее вряд ли и прошлое — никогда.

„Имеет орден”, — читал Саблин, — „святого Георгия 4-й степени, георгиевское оружие”, — да, милые мои, моей конной атаки и взятия батареи, когда были убиты мой сын и товарищ юности, милый Пик, и многие другие, моей раны вам не отнять от меня. Вам не отнять лихих дел моей дивизии у Костюхновки, где пал хорунжий Карпов, — вы, господа штатские военные министры, вы нахальные еврейчики, сидящие в Смольном, вы толпа разгульного дикого народа, вы можете сорвать и растоптать золото и эмаль, порвать шелк лент и темляка, но красоты подвига и упоения победы вам не вытравить ни из моего сердца, ни из сердец участников, и история скажет про нас свое слово...

„Из потомственных дворян Орловской губернии” — и этого вы не отнимете от меня! Вспомнил Саблин тихую усмешку Маруси, когда смотрела она на портреты его предков. Из века в век, из поколения в поколение, мы делали Государево дело и не вместе нам покинуть Государя...

А вот... покинули...

„По окончании курса наук высочайшим приказом произведен в корнеты в Лейб Гвардии.. 1894 года августа 8-го...”

Двуглавый черный орел старыми шелками расшитый по парче, запах старины, тления и ладона. — Полковой штандарт... Слова присяги... Музыка и чувство высокого счастья, заполнившее всё сердце и отодвинувшее все другие чувства... Парад и обожание Государя... Китти, Маруся, калейдоскоп случайных встреч, Вера Константиновна и над всем этим могучее покровительство двуглавого орла... Празд-

ник жизни... Яркое счастье бытия, муки совести, Любовин, смерть Маруси, разочарование в Государе и народе и всё поглощающая любовь к армии...

Точно перед смертью, в те часы печального раздумья, когда после трагической кончины Веры, он сидел, готовый к самоубийству, пронеслась перед ним вся его жизнь в полку под двуглавым орлом.

А что же?.. Хорошо жилось... Сытые лошади, сытые, воспитанные солдаты, вахмистр Иван Карпович, весь уклад полковой жизни, отдавание чести, дисциплина, муштра, трубы, песенники, собрание... „Пью за здоровье генерала Пуфа“ и пьяный Ротбек... ах хорошо всё это было! Полковая семья, мелкие интересы, ученья, караулы, маневры, балы во дворце, мелкие дразги, five o'clock и у почковых дам. *сop-cours hippique*,*) скачки, маневры...

Все это нам... А им?

Им? Мясная порция в двадцать три золотника, жирные наваристые щи, рассыпчатая, в ароматном сале, гречневая каша, два с половиной фунта хлеба, красивый мундир, любовь горничных и кухарок и сладкие мечты о возвращении домой. Тихое бытие без сложных запросов, без дум, с мечтами о крепком сне, о чарке водки, с лихою песнью, бравым ответом и со страхом окрика и наказания. Жизнь в вечной сутолоке и работе, чистка лошади, сапог, мундира, амуниции, учения, сложный ритуал военной жизни и возвращение в деревню с привычкой к труду и со званием запасного солдата, Кто хотел — шел дальше. Худо разве жилось Ивану Карповичу? Вспомнил эскадронный праздник, стол для офицеров у вахмистра, свежую икру, мадеру, шампанское, толстую вахмистершу, белокурую дочку, воспитанницу театрального училища и шумную толпу офицеров в маленьких комнатах вахмистерской квартиры...

Нет и им не плохо жилось под двуглавым орлом. Широко распростер он свои могучие крылья от края и до края и

*) Пятичасовые чаи... Конские состязания...

пол вселенной охватил ими и всюду было тихо, спокойно и сытно.

А теперь?...

Как-то, после японской войны, Саблин был в концерте. Пела его любимая певица Л. Бакмансон, певица с большим темпераментом. Она пела романс Цезаря Кюи „Раненый Орел”... После печального стопа упавшего от раны орла слышался могучий, полный страсти призыв.

Расправишь могучие крылья свои

И снова ты вдаль полетишь!..

Долгая зимняя ночь убывала. Но ведь жизнь была еще дольше. Догоравшую свечу сменила новая, а Саблин не спал. В маленькие окошки халупы заглянул печальный рассвет. Показалась грязная дорога, колья поломанного забора, черные поля, глыба ноздреватого снега на скате холма, зелень озимей, яснее стал далекий лес и раннее весеннее утро внесло еще большую печаль в сердце Саблина.

Да ведь остался, остался двуглавый орел. Ничем его не заменишь!

Издали послышалась музыка... Знакомая музыка... Полковой марш драгунского полка его дивизии. Зашлепали лошади по дороге, слышна команда „смирно”. Полковой командир увидел флаг корпусного командира и надеется, что Саблин надел пальто, пристегнул шашку и подошел к окну...

Нет, он не выйдет.

Уже у самой его хаты рыжие лошади драгунского полка, за трубачами виден штандарт. Двуглавый орел на копье закутан красным кумачом и широкие красные ленты, наподобие алого знамени, спускаются и закрывают штандарт в чехле. Алые банты у солдат в петлицах, алый бант на груди у начальника дивизии, алый бант на груди командира полка.

Нет, Саблин не выйдет.

Он командовал дивизией, служившей под двуглавым орлом и кровавому красному знамени он не пошлет привет. Революционных солдат он не знает.

Печально звучит уходящий марш. И, как в заключительной сцене Чеховских „Трех сестер” звуки удаляющейся музыки создают тревожную, до боли жуткую гамму печальных ощущений, так и это утро, и марш драгунского полка будили грусть о безвозвратно потерянном.

Безвозвратно.

Расправишь могучие крылья свои
И снова ты вдаль полетишь.

Яркий зал Кредитного Общества. Портрет Государя и на фоне его певица в черном кружевном платье с черными красиво завитыми волосами.

Где это все?

Идут уланы и над ними красные ленты. Красное знамя закрыло гусарский штандарт, и у толстого фон Вебера, на груди большой алый бант.

Орден трусости.

Затопотали часто в перебой лошади казачьего полка, и нагло смотрят чубатые лица с красными бантами на груди. В их марше много аккордов из „Жизни за Царя”, и они, вместо марша, играют какое-то пошлое попури.

Развеваются красные ленты над тем знаменем, что ходило в атаку под Железницей и не видно за ними двуглавого орла.

Это барышни все обожают...

Гремит оркестр и уходит в даль, оставляя полосу жуткой пустоты.

Саблин взял перо и, отыскав место для подписи на прошении, занес руку, чтобы расчеркнуться. — „А. Саблин” — и остановился.

„Это барышни все обожают” — настойчиво и вкрадчиво пропел уже за деревней корнет казачьего оркестра.

Встал образ Ермолова. Показались большие лучистые глаза на бледном лице, глаза мученика.

Властно, могуче, страшным стоном прозвучал в душе крик певицы над затихшим залом:

Расправишь могучие крылья свои
И снова ты вдаль полетишь.

А как же они-то? Офицеры... Те, кто, как Христос, взяли крест свой и пошли на Голгофу? Ужели он бросит крест и уйдет в сторону? Ужели не разделит он с ними и муки сердца и, если нужно, все ужасы грядущей Еремеевской ночи!

Саблин бросил перо и порывистым движением разорвал прошение об отставке.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

I.

Весна наступала ясная, солнечная, теплая. Прилетели жаворонки и пустые поля ожили их веселым пением. Лес набух и потемнел. По вечерам лиловые сумерки стлались над лесом и он казался густым и непроходимым. Лед на реке стал рыхлым, местами поверх него шла вода. Переходить по нему стало опасно. Жидкие мостики того и гляди могло снести ледоходом. Саблин настойчиво просил разрешения убрать с Лешищенского плац-д'арма бригаду, которая чувствовала себя отрезанной и очень волновалась, но наверху все обещали переход в наступление, плац-д'арм был нужен и бригада стояла в сырых, залитых водою и грязью окопах.

После революции некоторое время на позиции всё оставалось так, как было установлено Саблиным. Неподвижно стояли часовые на наблюдательных постах, люди не расставались с противогазами, резервы были по-прежнему бдительны, химическая команда ежедневно проверяла все средства противогазовой обороны. Приказ № 1 хотя и был прислан в полки, но на него мало обращали внимания. По-прежнему говорили „ты”, ругались когда нужно, ленивых и нерадивых грозили поставить „в боевую”. Офицеры осматривали винтовки, унтер-офицеры показывали внушительный кулак тем, у кого замечали грязь и ржавчину, часовые сменялись каждые два часа, точно, без промедления, и масса не отдавала себе отчета в том, что произошло. Только в резервных ротах после переключки пели „Отче наш”, а „Спаси Господи” и гимн петь перестали. Честь отдавали по-преж-

нему и вместо „ваше благородие” только некоторые развязные солдаты говорили „господин поручик”.

Началась смута и солдаты почувствовали перемену лишь после того, как вернулись из штаба фронта и из Петрограда солдаты, посланные делегатами от полков на съезды фронтовой и общеоармейский. Приехали простоватый, недавно произведенный из фельдфебелей прапорщик Икаев и солдат из народных учителей, в 1905 году приговоренный к ссылке за участие в революции, но бежавший и долго живший в Германии, Воронков. Каждый по своему воспринял революцию и по своему докладывал солдатам о том, что произошло в России и как следует теперь вести себя солдату.

Икаев собрал роту в тесном узле окопов и, сидя на банкетке, у ног часового, восторженно рассказывал о южном съезде фронтовых делегатов в Луцке.

Над головою синело бездонное ясное небо и пел жаворонок, кругом журчали ручьи, сливаясь к реке, часовой, глядя через бруствер на зеленеющие поля и прислушиваясь к тому, что говорил Икаев, смотрел на чуть темнеющую полосу неприятельских проволок и не мог понять, как, после того, что произошло, еще может быть война, еще есть надобность стоять на посту и смотреть, как немцы что-то делают у себя, — не то чинят проволоку, не то прорезывают в ней проходы. Спокойно, деловито работают они и видно, что сзади ходит офицер и должно быть покрикивает, на них. Хорошо бы их теперь шрапнелью sprыснуть, да видно и на артиллерийского наблюдателя нашла такая же благодушная лень... Пусть себе работают. Ну, стоит ли теперь убивать, когда повсюду такая свобода объявлена и делается такое странное и неслыханное, какого не делалось никогда и нигде.

— Приезжаю я, братья мои, в Луцк, — восторженно говорил Икаев, — а там уже на площадке солдаты нас ожидают. И у каждого на шинели красный бант. Встречают нас „Вы”, говорит, „товарищи делегаты от корпуса? Мандаты ваши покажите”. Проверили документы и сейчас нас, будто

бы мы енералы какие-то, сажают в антонобиль и везут прямо во дворец. Банты нам дают алые. „Товарищи”, — говорят, — „это священный знак свободы и вам надо его носить на груди”.

— Ишь ты! — сказал со вздохом один из слушателей, — ну-у! А Сетраков бант такой одел, ему еврейчик один подарил, а генерал Саблин увидел, стыдить его стал. „Ты”, говорит, „не девка, чтобы банты да ленточки носить. Это не форма!”. В боевую грозил поставить.

— Старого режима енерал, — проговорил, сплевывая шелуху от семечек, Икаев. — Несознательный! Не понимает завоевание революции. Вот там, братцы, я посмотрел настоящих енералов! Приехали это мы во дворец. И что же вы думаете, товарищи! Я и глазам своим не поверил. Парные часовые у будок сидят, винтовки к стене поставлены, сами семечки лушат, с прохожими пересмеиваются. Я и спрашиваю, что же это, мол? А под суд их за это не отдадут? А они, Луцкие то, смеются. „Что”, говорят, „товарищ, разве плохо? Это вам не старый режим. Это свободные солдаты. Часовой — он свое дело сполняет, а стеснения обидного, или унижения личности ему нет никакого. Что хошь — то и делай”.

— Ловко! — вздохнул кто-то в толпе. „Ловко” — подумал часовой и, повернувшись спиною к неприятелю, стал слушать, что говорил Икаев.

— Во дворце, товарищи, поставили нас не по чинам, или званиям, отдельно офицеров и солдат, как при старом режиме бывало, а поставили вперемежку: все, мол, равны. Выше меня стал солдат какой-то, а немного пониже енерал и офицер. Напротив собрались какие-то енералы, слышать, по делам приехали. Выходит к нам сейчас же главнокомандующий. На груди у него красный бант большунций и ленты свешиваются. егорьевский крест даже закрывают. На тех-то енералов, что по делу его ждали и не посмотрел, а прямо к нам, делегатам. Я вытянулся, приготовился уже крикнуть „здравия желаю”, гляжу, а он с ручкой к каждому подходит, здоровкается с каждым. И мне подал. Тут я понял, что значит: — равенство.

Икаев вздохнул. Послушно завздыхали солдаты в толпе слушателей.

— С ручкой... Главнокомандующий... Ишь — ловко. А не вре? — заговорили солдаты.

— Да... Вечером, значит, — продолжал Икаев, дав улечься впечатлению, — пожалуйста на заседание, в театр, а до того всем одинаково: — номер в гостиннице и три рубля суточных, без разделения званиев. Пришли мы в театр. А нас там первым делом спрашивают: — „вы какой партии будете?“ Господи ты Боже мой — я и не думал никогда, какие там партии бывают. Искренно говорю, что не знаю. Подходит такой молодой человек, так похоже, что из евреев, и говорит так любезно: „позвольте, я вам разъясню“. И стал докладать. Да! Мудрено, а красиво! Большевики, значит есть, меньшевики, социалисты-революционеры, социал-демократы, разные такие, есть, что и Царя опять желают. — „Куда“, спрашивает, „вас писать?“ Пишите, говорю, где земли больше дают и свобода самая настоящая. Стали мы, значит, товарищи, — большевиками... Да, — крутя головою, сказал задумчиво Икаев. — Стал я партийным человеком.

Икаев замолчал. В толпе все затаили дыхание. Словно сказка развертывалась перед ними. Главнокомандующий „за ручку“, бант на нем красный, часовые на посту сидят, солдаты на автомобиле раскатывают, есть партия, где земли дают сколько угодно... Чудно и сладко.

— Я — помолчал, сказал Икаев, — так теперь смотрю. Я, даже могу сказать, презираю того человека, который ежели не партийный.

II.

Воронков суетливо перебежал из землянки в землянку. Он побывал в Петрограде и приехал оттуда заряженный медным задором революции.

— Товарищи! — говорил он, задыхаясь и худое нервное лицо его передергивалось, — вы обмануты. Вась, товарищи, предают. Вас нарочно держат в старом режиме. Что

это такое?! Титулование, отдавание чести, офицеры вас греют по-прежнему. Товарищи, вы должны сбросить это всё и приступить к демократизации армии. В Петрограде все начальники выборные. Разве там мыслим такой генерал, как Саблин? Там его на штыки бы подняли. У вас я не вижу никаких завоеваний революции. Вы должны собраться на митинг и потребовать исполнения приказа № 1. Права солдата не соблюдаются, вы все такие же серые рабы, как и были. Где у вас красные знамена революции с теми святыми лозунгами, которые я видал в Петрограде? У вас всё то же: — Царь и Бог! Эх, товарищи, не для того свергали мы Царя, не для того познали, что Бога нет и Бога выдумали буржуи и капиталисты, чтобы держать народ в темноте и рабстве. Товарищи, на алых знаменах революции я видал святые слова: — „Мир хижинам — война дворцам”. „Долой войну”. Война нужна только капиталистам, а мы им более не слуги. Соорудим красные знамена и под ними и с ними мы будем отстаивать права народные и завоевания революции.

В некоторых землянках офицеры пробовали возражать Воронкову, но он нагло перебивал их, не давал говорить и кричал:

— Вы обманули народ! Вы утаили от товарищей солдат завоевания революции. Вы держите в темноте окопных страдальцев!

Поднимался шум и офицеры умолкали.

Как-то сразу приказ № 1, до этого тусклый, вялый, и непонятный, выявился, как явление огромной важности и перевернул всю жизнь солдата.

Часовой, слушавший Икаева, давно отстоял положенные два часа, Икаев ушел с этого места и завалился спать, люди разошлись по землянкам, а смена не шла.

В караульной землянке молодой прапорщик в это время препирался с солдатами, наряжая их на смену.

— Седов, уже пять минут одиннадцатого, — говорил он, — вам пора идти на смену Ковалеву.

— Ничаво, господин прапорщик, он постоит еще, а у меня что-то в грудях болит.

— Панкратов, пойдите тогда вы.

— Так сейчас я вам и пошел, ежели Седова черед, я ночь стоял. Да чаво, достоин до двенадцати, а там и нам смена. Восьмая рота заступит.

Но пришло двенадцать, а восьмой роты не было. Она тоже не торопилась идти. Там, разинув рты, слушали рассказы Воронкова и не трогались с места. Только в четыре часа сменили Ковалева.

По землянкам были разбросаны в беспорядке противогазы, шинели и патронные сумки. Ружей никто не протирал. В кадке для воды на случай газовой атаки воды не было, пакля отсырела, керосин растащили по землянкам и жгли в лампочках, хворост залило водой. Когда ротный командир пришел и накричал на людей, никто не шевельнулся исполнить его приказания, а, когда он уходил, ему вслед раздались свистки и крики и он отчетливо услышал чей-то злобный голос: — „погоди, дождетесь вы Еремеевской ночи!“ Страшное значение этих слов было известно старому ротному командиру.

Ротный призвал фельдфебеля.

Фельдфебель, пожилой мужик крестьянин, запасной солдат, мрачно выслушал жалобы ротного командира и, глядя исподлобья, сказал:

— Ничего, ваше высокоблагородие, не остается, как только арестовать прапорщика Икаева и Воронкова. От них вся смута идет. Солдаты поговаривают, чтобы, значит, арестовать полковника Пастухова и выбрать командиром либо Икаева, либо Воронкова.

— Арестовать Воронкова? Да можно ли? Как будто бы, Подубояринов, права такого нет теперь, — сказал ротный командир.

— По приказу нет права, — отвечал фельдфебель, — а только, если так оставить, хуже будет. Слышно, в Залихватском полку шесть офицеров солдаты убили и суда не было. Солдаты не выдали следователю, так ни с чем и уехал.

Ротный пошел к Пастухову. Пастухов мрачно сидел в землянке. Дверь была приперта колом.

— Что же делать? — говорил ротный.

— Пишу рапорт начальнику дивизии о болезни. Завтра сдаю полк. Пусть командует, кто хочет. Днем по окопам пошел. Хоть бы кто встал. Сидят, семечки лущат, норовят так шелуху плюнуть, чтобы на мою шинель попало. А, как-вы стерт...

Пастухов испуганно заглянул в дверь и, вернувшись, сказал шопотом:

— Денщика боюсь. Сам мне покаялся. — Меня, — говорит, — прапорщик Икаев призывал и приказал за вами, господин полковник, следить и все докладывать ему... Комитеты какие-то будут, вот бумага вышла. Нет. Довольно. Я в лазарет пойду, лягу... Там спокойнее. Переждать надо. Образумятся же люди.

— Пока солнышко взойдет, роса очи выест, — сказал ротный.

— А что поделаешь? Сидите и молчите. Их сила — их власть. Пусть они и правят.

Ротный послушался совета и засел в землянку, офицеры пугливо жались к нему. Солдат стал страшен.

По солдатским землянкам шел тихий и озабоченный шопот. Смысл всех речей, всего происходившего в Петрограде и Луцке был один: --- война кончена. Надо идти домой, нести в свои хижинны давно обещанный мир.

В шестнадцатой роте раздобыли кусок красного полотна и Воронков выводил на нем крупно чернилами — „долой войну!“ --- Это знамя революции решено было выставить ночью на ближайшем к неприятелю форту, чтобы неприятель тоже узнал сладости Русской революции.

Одиннадцатая рота вечером шла в бригадный резерв и, когда спустилась под гору и вышла на шоссе, ведущее к разоренному господскому дому, где помещался бригадный командир и были землянки резерва, ротный подсчитал ногу и крикнул песенникам:

— Запевай лихую!

Но, вместо обычной „Три деревни, два села, восемь девок, один я“, запели новую, привезенную Воронковым из Петрограда песню:

Ешь ананасы, рябчика жуй:
Настал твой последний денечек, буржуй!

На переключку вечером никто не вышел и молитву не пели. Тщетно фельдфебеля и взводные кричали: „выходи строиться на переключку!“ — из углов землянок мрачно отвечали: — „ну, будя! будя! чего орете, сказано не пойдём. Правов таких нет, чтобы заставлять молиться. Кто хочет и так помолится“.

По углам шептались о том, как бы не стали в деревнях делить землю без них и что какая теперь война, когда земли много и свобода полная, ни господ, ни Царя.

Медленно и тяжело, как мельничные жернова, всрочались мозги солдат и никак не могли переварить случившегося. Обычно в таких случаях солдат обращался за разъяснением к офицеру, но теперь оказывалось, что офицеру верить нельзя.

— Слышь, товарищи, — говорилось по землянкам, — Воронков сказывал, что, когда, значит, народ решил сам захватить власть в свои руки и солдаты пошли к Думе, офицеры не пошли. Их насильно вытаскивали с квартир, а кого и убили...

— Известно... Господа! Они завсегда против народа были. У них один совет: — дисциплина, и чтобы честь отдавать, и чтобы за всякую провинность в морду!

... Н-н-да! Это точно.

— Мало кровушки они нашей попили, попить хотят и еще.

— Ничего, как бы мы ихней не попробовали. Наше время не уйдет. Будет им Еремеевская ночь!

Кое-где, в полголоса разучивали рабочую марсельезу.

III.

19-го марта в 204-й дивизии был назначен большой митинг. Дивизия должна была избрать делегатов для доклада временному правительству о своих пожеланиях и принесения поздравления по случаю революции. На митинге были офицеры и представители полков корпуса.

Саблин пошел на этот митинг, чтобы руководить им и присмотреться к настроениям солдат.

При его входе в большую землянку — церковь и манеж 805-го полка, все встали и затихли. Оказалось, что уже до него кто-то руководил солдатами. Им объяснили, что должен быть выбран председатель, президиум и секретарь. В председатели, как чуждая старому режиму, была предложена заведующая корпусной летучкой городского союза женщина врач Софья Львовна Гордон, — красивая полная еврейка, давно равнодушная к Саблину. В президиум были избраны офицеры и заслуженные унтер офицеры, в большинстве георгиевские кавалеры. По предложению Софьи Львовны Саблину было предложено принять почетное председательствование, что было принято единогласно, и его сейчас же усадили рядом с Софьей Львовной.

— На повестке дня, — начала Софья Львовна, — кем была составлена эта повестка дня, Саблин не знал и, когда спросил, ему сказали, что командиром 819-го полка, молодым офицером генерального штаба. — На повестке дня значится: избрание делегата и его товарища для посылки в Петроград и сообщение им ответов дивизии по следующим вопросам: — устройство Российского государства, отношение к войне, воинская дисциплина, решение вопросов о земле... для доклада Временному Правительству.

— И совету солдатских и рабочих депутатов, — раздался голос с места.

— Товарищи! прошу с мест не говорить, — сказала Софья Львовна, — полагаю, что нам надо начать с избрания делегатов для того, чтобы, слушая то, что будет здесь говориться, они могли бы записать, что нужно. Избрание должно быть

сделано закрытой баллотировкой, поданием записок. Но для того, чтобы нам не разошлись во мнениях и более или менее единогласно избрать делегата, я предлагаю назвать тех, кого вы считали бы достойными быть выразителями мнений дивизии.

Наступила тишина.

— Генерала Саблина, — сказал, вставая прапорщик, произведенный из фельдфебелей, с четырьмя георгиевскими крестами на груди. — Как, значит, генерал Саблин, все одно как отец нам, заслуженный генерал и георгиевский кавалер и знает нужды наши и заботится о нас...

— Просим, просим! — раздались голоса.

— Не надо генералов. Своего изберем!

— Товарищи, — раздался возбужденный голос Воронкова, — мы только что освободились от гнета проклятого царизма, а между прочим мы видим на погонах у генерала вензеля как-будто самодержавного Государя. Теперь Николашка...

— Молчать, — крикнул Саблин, — не смей так говорить про Государя! Государя нет, но оскорблять его память я не позволю!

— Товарищи, вы видите... сказал, отходя с позеленевшим лицом, Воронков.

— Воронков, вы не правы, — крикнул с места Верцинский.

— Генерала Саблина и подполковника Козлова, как оба георгиевские кавалеры, — сказал снова прапорщик.

— Георгиевские кресты тут не причем, — крикнул кто-то с места.

— Прапорщика Осетрова!

— Капитана Верцинского!

— Прапорщика Гайдука!

— Солдата Воронкова.

— Воронкова! Товарища Воронкова! Просим, просим.

— Голоса наметились, — сказала Софья Львовна. — Приступим к голосованию.

Собрание засуетилось и загомонило. Саблин встал и вышел из землянки. Давыдов последовал за ним. На большой поляне среди леса толпились солдаты. Они с живым интересом следили за тем, что происходило на митинге. То и дело из землянки выбегали делегаты и сообщали о том, что делается внутри. Саблин закурил папиросу. Солдаты, стоявшие неподалеку от него, смотрели ему в рот, не спуская с него глаз. Они были кругом и, казалось, не было возможности уйдти от них куда либо. Они следовали сзади и прислушивались к тому, что говорили Саблин и Давыдов. На беду Давыдов не говорил ни на каком иностранном языке. Саблин взял его под руку и они тихо пошли по лесу. Мягкий мох расстуался под ногами, пахло сыростью, хвоей, весной. В лесу весело перекликались птицы.

- Вы считаете продолжение войны возможным — сказал Саблин.

— Нет, --- коротко ответил Давыдов.

-- Эти люди изберут своими вождами тех, кто им будет потворствовать и угождать, кто раньше страдал от начальства, — сказал печально Саблин.

— Вы слышали, в N-ской дивизии пехотные солдаты явились на батарею и запретили артиллеристам стрелять. Чего, мол, стреляете, только немца раздражаете. Вы молчите и они молчат. Нам это нежелательно. Поставили свой караул к батарее и угрожали убить командира и офицеров, если они будут стрелять, --- сказал Давыдов.

-- Что же дальше?

— Ничего. Их делегатов вызвали в штаб дивизии, уговарили, что этого делать нельзя, они согласились, а караула всё-таки не сняли.

— А в Петербурге выносят резолюции — война до победного конца в полном согласии с союзниками, — нервно бросая папиросу сказал Саблин.

— Выносят потому, что не им воевать. А попробуйте послать их на фронт?

— Отольется союзникам эта революция полною мерою. Так бы они этим летом уже победили Германию, а когда

Русского фронта не станет, неизвестно, что еще будет, — сказал Саблин.

— А ведь приезжали их знаменитости в Петроград, на похоронах жертв революции были. Тома, французский социалист, речь говорил, превозносил Русский народ и говорил, что в восторге от революции. Без отпевания похоронили на Марсовом поле в красных гробах жертвы революции, — говорил Давыдов, и вы знаете, ваше превосходительство, пикантную подробность. В гробах с жертвами революции лежат более чем на половину люди, никакого участия в революции не принимавшие, или даже боровшиеся против. Там похоронены те, кто случайно умер в эти дни в больницах, и убитые солдаты и городовые.

— Шуты гороховые! — сказал Саблин.

— Да, ваше превосходительство, во Временном Правительстве шуты гороховые, а в совете солдатских и рабочих депутатов уголовные преступники и предатели России. Добра от этого для России не будет.

— Какое же добро!.. Мы должны готовиться к борьбе не на живот, а на смерть, а мы уступаем легко позицию за позицией.

— Вы пойдете еще туда, в собрание? — спросил Давыдов.

— Загляну на минуту. Послушаю до каких геркулесовых столпов тупоумия и жадности дойдет солдатня, призванная решать государственные дела, но оставаться долго не могу. Слишком тошно.

— Вы знаете, Воронков в Петрограде из дворца Кшесинской, от партии большевиков получил большие деньги. А партия замешана в сношениях с немцами. Вот вам и ключ нашей революции.

— Ну, так Воронкова и изберут, — сказал Саблин.

— Изберут того, кто обещает сейчас мир и землю, — сказал Давыдов, — или кто даст деньги.

— Безысходная тоска! И подумаешь, я, командир корпуса, смотрю на все это возмутительное безобразие и молчу.

— А что сделаете? Один в поле не воин. Это народ.

— Народ! Народ! — воскликнул Саблин. — Мужик умен, да мир дурак — это сказал сам про себя Русский народ. Ну, пойдемте на минуточку, а потом и домой. Хотелось бы зарыться с головою в подушки и заснуть, заснуть так, чтобы не видеть всего этого ужасного кошмара.

— А помните Толстовское: — образуется.

— Вот оно то и сгубило нас. Приучило к пассивности, к тупому фатализму... — сказал Саблин, подходя к землянке.

IV.

В землянке среди затихшей, тяжело дышавшей толпы шел подсчет голосов.

— Воронков... Воронков, Осетров, Воронков, Воронков, — читал молодой прапорщик, избранный секретарем. Имя Саблина встречалось редко.

Подавляющим большинством голосов был избран делегатом от дивизии солдат Воронков, товарищами делегата Осетров, Гайдук и Шлоссберг. Саблин заглянул в землянку тогда, когда выборы были кончены и начальник дивизии, командиры полков и многие офицеры пожимали руку Воронкову, поздравляя его с избранием.

Начальник дивизии, старичок в очках, не могший отличить фокса от мопса, говорил приветственную речь.

— Вам, Воронков, предстоит большое дело, — говорил он, — разъяснить Временному Правительству наши настроения и рассказать то, как бьется сердце окопного солдата. Вы скажете, Воронков, что мы, солдаты 204-й дивизии, не посраим земли Русской и готовы драться до последнего для полной победы над врагом! — прокричал он, стуча кулаком по столу, и так не отвечал этот крик и высокопарные слова его изсохшей фигуре, бледному старческой бледностью лицу, изборожденному глубокими чисто вымытыми морщинами, что Саблину стало совестно за него.

— Дайте же мне обнять вас, Воронков, и пожелать вам счастливого исполнения вашей миссии!

Старик так расчувствовался, что готов был перекрестить Воронкова.

Воронков бледный, взволнованный, обернулся лицом к солдатам и заговорил видимо заученную и заранее подготовленную речь. Он говорил плохо, часто повторяясь, делая все один и тот же жест, отодвигая кулак от груди и снова прижимая его к ней. Он снимал все высокое и святое и обнажал низкое и земное. Его речь въедалась в память короткими, часто повторяемыми фразами.

— Товарищи, я благодарю вас за ваше доверие ко мне и я оправдаю ваше доверие, — говорил Воронков. — Я скажу вам, как я чувствую по текущему моменту, и ваше одобрение, или неодобрение приму к сведению при составлении своей программы. После свержения проклятого царизма, слишком триста лет угнетавшего рабочих и крестьян, не подлежит никакому сомнению, что Россия должна представлять из себя федеративную республику, где всякому народу должны быть предоставлены права на самоуправление. Нам не нужно тиранов и постановим целью своею добиться того, чтобы пролетариат мог взять власть в свои руки. В отношении войны, программой нашей партии является: — мир хижинам. Довольно лилось крови крестьянской! Русскому пролетариату не нужно никаких аннексий и контрибуций...

Речь Воронкова длилась почти полтора часа и несмотря на то, что она была переполнена иностранными словами и местами так запутана, что похоже было на то, что и сам Воронков ее не понимал, его слушали внимательно. Он говорил о том, что земля должна принадлежать трудящемуся на ней народу, что земля, как воздух и вода, не может быть ничьею собственностью. Он рисовал картину будущей России, где не будет ни войны, ни воинской повинности, не будет полиции, народ не будет платить никаких податей и налогов, у каждого будет прекрасный дом и в нем всего полная чаша, но все будет общественное.

Солдаты, разинув рты и тяжело дыша, слушали его, как слушают дети рассказчика сказки, но они верили этой сказке.

Ему встал возражать капитан с мужественным Русским лицом и окладистой черною с проседью бороною.

Он говорил красиво, звучно, образно, чисто по-Русски, пересыпая свою речь остроумными словечками и поговорами. Он старался доказать, что Россия без царя не мыслима, что нам нужна конституционная монархия, тогда не будет того, что было раньше.

Речь Воронкова прерывалась частыми возгласами — „правильно“, „правильно!“ и речь капитана, диаметрально противоположная по содержанию, прерывалась такими же криками: — „правильно! Это верно! Правильно сказало“.

Или солдаты не понимали того, что им говорили, или они сами не знали, чего хотят.

Саблин вышел с митинга и поехал домой. Митинг продолжался до позднего вечера. Солдаты забыли про обед, про усталость и все стояли с распаренными лицами в духоте и слушали одного оратора, сменявшего другого. Говорил полковник генерального штаба, начавший свою речь подыгрыванием к солдатам: — „Я социалист-революционер и республиканец, я сторонник народоправства. Я сам вышел из народа. Мой дед пахал землю, а мать моя была прачкой“.

Он клеветал на свою мать. Его мать была дочерью статского советника, а дед был помещиком, спустившим в карты свое имя.

Говорили Осетров, Гайдук, длинно и витиевато говорил Шлосберг, цитировавший Некрасова. Но чем дальше разъясняли солдатам ораторы то, что произошло в России, тем темнее становилось у них в душе. Ясно было одно: произошло что то громадное, что совершенно все изменило, и эти изменения углублялись все шире и больше.

Когда расходились, то шли озабоченные, задумчиво и молчаливо. Главное, боялись продешевить.

Софья Львовна обедала у командира полка, а потом, в его коляске, оживленная и красивая, приехала к Саблину с докладом о результатах митинга. Она смотрела на Саблина ласковыми томными глазами и по записочке докладывала ему постановления **собрания**.

Почти все офицеры высказались за конституционную монархию, солдаты -- за ряд отдельных республик вроде Соединенных Штатов, но без общего президента. Все офицеры и часть солдат: — война до победного конца в полном согласии с союзниками. Подавляющее большинство солдат: — немедленное заключение мира и роспуск по домам. Многие офицеры и все солдаты за демократизацию армии и установление в ней выборного начала. На митинге ясно высказалось недоверие солдат офицерам. Стоило офицеру что-либо предложить, чтобы солдаты требовали совершенно противоположного. Среди солдат сквозила ненависть к военной службе и к мундиру...

-- Ваше превосходительство, — сказала Софья Львовна, кладя свою белую, холеную, сильную руку на руку Саблина и приближая к его лицу свое красивое лицо с глазами вдруг наполнившимися слезами, — уезжайте куда-нибудь!

Карие глаза смотрели глубоко в душу Саблина. В них была нежность. Что-то материнское усмотрел Саблин в больших карих глазах еврейки.

Ну я вас прошу! Здесь хорошо не будет. Ах, Александр Николаевич, они так озлоблены и на вас и на всех офицеров, что страшно становится. Будет что-то ужасное.

— Но вы, Софья Львовна, кажется, так радовались революции? — нервно сказал Саблин. Близость красивой женщины возбуждала его.

— Ах, я ее воображала себе совершенно иначе. Это не революция. Это самый грубый бунт.

Полная рука задрожала на руке Саблина. Красивое лицо было близко, большие с поволокой глаза смотрели с любовью и жалостью.

— Благодарю вас, Софья Львовна, — сказал Саблин. Но бежать я никуда не побегу. От своего долга не уйду. Да и куда уйдешь? Кругом тоже самое.

— Берегите себя, ваше превосходительство, — сказала Софья Львовна. — Я знаю вас давно и я знаю, что таких, как вы, мало в России. Вам грозит страшная опасность.

Она стояла у стола, освещенная снизу двумя свечами. Каким то тени бежали по ее лицу. Она опустила глаза и стала тяжело дышать. Краска то прилиwała к ее щекам, то отлиwała. Саблин в затуманенном слезами взоре видел все возроставшую нежность и сам был тронут до слез.

— Ваше превосходительство, — прошептала Софья Львовна. — Я скажу вам тайну. Эта тайна может стоить мне жизни. У нас в законе написано: — и лучшего из гоев убей! Раздави главу змия... Теперь наши люди стоят у власти... Вы... лучший... Ах! Я так боюсь за вас!... Я так люблю вас!... Берегите себя!..

В избе стало так тихо, что Саблину казалось, что он слышит, как стучит сердце в его груди. Софья Львовна стояла, опустив голову на грудь. Бледность шла к ее восточному лицу. Длинные ресницы ее вздрагивали и вздрагивала тень от них под самыми бровями.

Прошло две минуты. Часы отбивали их на столе и Саблин слышал тикание маленького маятника в золотой коробке.

— Прощайте, — сказала Софья Львовна, протягивая руку.

— Прощайте, — сказал Саблин и поцеловал белую руку, чего раньше не делал никогда.

Она прошла тяжелым шагом по глиняному полу. Слышно было, как она звала кучера, зашелестели по мокрому двору колеса, тяжело вздохнула у самого окна лошадь, зашкрипели рессоры и коляска покатилась.

Саблин сел на табурет за стол, облокотился на обе руки и прошептал:

— И лучшего из гоев убей!

„Что же это? Или правда? Семьдесят мудрецов, на которых намекал Верцинский и которых никто не знает и Русская революция, руководимая из недр Сиона. Тайна,“

„А лучше не думать“.

В избе еще стоял запах духов и молодого женского тела. Ласка Софья Львовны глубоко тронула его. От нее становилась легче на сердце, истерзанном тоскою мрачных

предчувствий. Запах духов был приятен. Его мучительно потянуло к Софье Львовне. Все забыть в ее нежных ласках. Все бросить к чорту и хоть на миг уйдти из этого страшного мира все пожирающей глупости.

„Нет“, — сказал сам себе Саблин. „Нет. Только не это!“ Он вышел на двор и позвал Давыдова, сидевшего в соседней халупе, в канцеларии штаба.

— Сергей Петрович, — сказал он порывисто. — Давай-те заниматься.

— Да заниматься нечем. Нечего делать. — ответил Давыдов.

— Бумаг нет?

— Не поступало.

— Ну... давайте разрабатывать план наступления на Камень-Каширский.

— Пустое дело! Теперь уже видно, что никакого наступления не будет.

— Все равно, давайте.

— Как хотите, ваше превосходительство.

V.

Германские разведчики доставили в штаб своей дивизии флаг, снятый ими с Русского проволочного заграждения с надписью „долой войну“.

Флаг был переслан в штаб корпуса, а оттуда в штаб Армии. Последовало распоряжение о приостановке эвакуации Ковеля и штаб Армии донес о своевременности наступления на Русских с целью прогнать их за реку. Уничтожение заречных плац-д'армов дало-бы возможность освободить до трех дивизий для переброски на западный фронт.

Главное командование одобрило этот план и 20-го марта, к ночи, немецкая артиллерия, молчавшая больше месяца, заговорила и начала обстреливать позицию у деревни Леще.

Все попряталось по блиндажам и на окопах остались одни часовые.

Рядовой Пантюхов, Пензенской губернии, тридцатилетний мужик, неглупый малый, отец пятерых детей, заступил на пост и упершись локтями на бруствер и поставив винтовку подле, стал смотреть на догорающее закатное небо. Вечер был теплый, весенний. Пантюхов собрался на пост наскоро. Только что у них в карауле, несмотря на неприятельскую стрельбу, был горячий спор. Поручик Левенталь, из немцев, доказывал, что нельзя от помещиков землю так отобрать, а надо, чтобы государство за нее заплатило и дало бы крестьянам в рассрочку через земельный банк, потому что у многих помещиков земля купленная и несправедливо так ее отнять, а прапорщик Гайдук говорил, что надо отобрать даром, потому, что помещик достаточно уж этою землею попользовался. В самый разгар этого спора взводный выслал Пантюхова на часы. Пантюхов накинул шинель с оборванным хлястиком, вдел рукава и, не беря ни патронташа, ни противогаза, с одним ружьем, путаясь в полы шинели, вышел к брустверу.

— И платить хорошо, а не платить куда-ж лучше, — думал Пантюхов. — У нас помещики Оболенские, три брата, земли у них полторы тысячи десятин, а в Замараловке крестьян всего полтора ста семейств не наберется, значит по десять десятин на семейство приходится. Да есть и между крестьянами такие, что свою землю имеют, им и вовсе давать не надо. А давать надо так, у кого семья большая, тому и земли больше. У меня к примеру — Акулька, да Ванька, да Миша с Гришей, еще Авдотья махонькая, как на войну итти родилась. Значит уже мало мало, а пятьдесят десятин мне подавай. Опять прапорщик Гайдук правильно говорил что и инвентарь делить надо, потому долго они им владели. А у господ Оболенских одних коров триста голов. И какие коровы. Одна к одной. Ры-лькие. Из-за границы их выписывали в десятом году. Всех поделить.

Шум и металлические удары на позиции противника отвлекли на мгновение внимание Пантюхова.

- И чего он там делает? — подумал он. -- Ведь учили нас чему то. Пойтить разве доложить? А то погодить?..

Опять у Оболенских конный завод свой. Одних кобылиц почитай шестьдесят, да четыре жеребца с Тамбовской губернии пригнаты, всех надоть поделить обязательно. На что ему завод, когда земли у него не будет. И делить, чтобы обязательно поровну. Только вот, чтобы не сделали так, как в пятом году мастерили, не стали бы ребята резать. Народ то озорной, ожесточится и пойдет кромсать, ни себе, ни людям.

Пантюхов уже давно отстоял свою смену, но никто не приходил. Это его мало беспокоило. Он хорошо выспался днем в теплой, нагретой людьми землянке, ночь была хорошая, в меру прохладная и так хорошо мечталось под синим небом, усеянным звездами.

—Ишь дух то какой хороший! Весною пахнет. Земля то как благоухает! После Благовещения, али на Пасху хорошо бы и домой. Да, Господи благослови! и помещиков порешить и за пахоту приниматься на новых делянках... А не унимается, герман... И все-то он работает. Все работает. Что значит офицерская палка над им. Боится. Н-да, а мы освободились, ловко... Только бы назад не повернули. Вот ребята поговаривают — перебить их нужно, чтобы и не встали. То же и перебить страшно. А ну как под ответ попадешь!.. Ишь шумят как... Точно паровозы пар выпускают. И откуда у него там машины, никогда раньше не было.

Вдруг страшная мысль ярко прорезала его мозг.

„Газы... Газы удушливые пускать будет! Уже пустил значит...”

И все то, чему учили, что несколько раз репетировали при самом генерале Саблине, вдруг встало со страшною яркостью в уме Пантюхова. „Первое всего противогаз одеть, потом тревога по всей линии, на батарею сказать, костры зажигать, как подойдет газ-то, значит, водой заливать, потому он воды боится, кто зачумел, кислородом отпаивать”.

— Ахти родимые, а где же мой противогаз! Пресвятая Богородица, спаси нас грешных!... Что же это буде!.. Да что же это буде!

Пантюхов метался по окопу, ничего не предпринимая. Пантюхов хотел ракету пустить тревожную, кинулся к ракетному ящику, а он водой залит. Как третьего дня шел дождь, так и не вынесли его, а ведь говорил кто-то, чтобы вынести, значит. И спички в воде плавают. Пантюхов хотел на батарею сказать, да так одурел с перепуга, что не мог вспомнить, где батарейный телефон. Показалось ему, что уже газ его тронул и тут вспомнил, что весь кислород ребята, балуясь, выпустили. „А кислый он, кислород то”, — вспомнил Пантюхов, — „ну и легкий же, так и пьешь его на манер лимонаду!”

Он бросился в ближайшую землянку и широко распахнул двери. На нарах горела жестяная лампочка. Человек восемь солдат, раздевшись до рубаш, ожесточенно играли в карты. Остальные люди взвода храпели на все лады.

— Газы, товарищи! Газы!.. — крикнул Пантюхов, дико вращая глазами и отыскивая свой противогаз. Но найти его среди разбросанного платья и белья было нелегко.

— Чего врешь. — грубо окликнул его старый солдат, подвигая к себе кучку ассигнаций.

— Ей Богу, ребята, газы пустил немец. Так и шумят.

Люди начали вскакивать с нар, кто-то проснувшись неловким движением опрокинул лампочку. Полный мрак наступил в землянке. В этом мраке копошились и ругались люди, отыскивая свою одежду, и дрались, отнимая друг у друга противогазы.

VI.

С соседнего форта уныло неслись тусклые звуки била. Одетый в противогаз солдат, похожий на какого то демона, ударял обломком подковы в подвешенную железную доску и звон ее раздавался печально и скучно по окопам. Люди суетились и выскакивали, большинство без противогазов, так как многие оставили их в резервных землянках, когда шли на смену.

Мальчик прапорщик из кадет, у которого солдаты только что отняли противогаз, со слезами в голосе кричал на телефоне:

— Иван Андреич!.. Иван Андреич!.. Господин капитан!.. Вы? Ах, Господи!.. Открывайте скорее огонь... По расписанию № 4. Газовая атака... что?... Не позволяют?... Караул от нашей дивизии? Да скажите им — мы погибаем!..

Часть роты, руководимая офицерами, одела противогазы и выстраивалась вдоль бруствера. Те, у кого не отыскалось противогаза бежали толпами к реке.

Далеко за рекою заметались сполохами желтые огни и выстрел за выстрелом загремела приданная корпусу артиллерия. Пехотные делегаты вняли мольбам из окопов и разрешили открыть противогазовый огонь. Но было поздно.

В сумерках ночи над черной сырою землею надвигался густою пеленою низкий туман. Легкий западный ветер быстро гнал его прямо на окопы. Он подкатил к чуть намечающимся в темноте кольям проволочного заграждения и сейчас же поглотил их. И стало ясно, что он так быстро идет, что убежать от него невозможно.

Била, звеневшая по всему фронту окопов, смолкли. Прапорщик, говоривший по телефону, без противогаза и шапки выбежал на бруствер и скомандовал положить винтовки и быть готовым встретить атаку. Много людей стояло, завязав рты платками, без противогазов. Это были лучшие, старые солдаты.

Пахнуло кислым, какою-то удушливою химиею, легкий дурманящий запах горького миндаля примешался к нему, желтая пелена надвинулась на лица, на сырую от ночной росы ивовую плетенку окопа. Лица, незакрытые противогазом стали зелеными и глаза вдруг широко раскрылись, выражая ужас.

„Что же это?“ — подумал прапорщик, и вдруг задвигал судорожно пальцами. Ему показалось, что его мама, милая любимая мама, высокая, розовая, в каштановых волосах и еще молодая склонилась к нему, как тогда на их квартире, на Мойке, когда благословляла она его прощаясь... Собачка

Бобка царапает полу его шинели и скулит в углу. Седая... и все крестит его мелким дрожащим движением руки... Мама! Мама! Бабушка! захотел крикнуть прапорщик, но не крикнул ничего и упал на спину со страшным, перекошенным лицом. Кругом падали люди. Их внезапная смерть, лица, выражавшие нечеловеческий ужас, зеленовато желтые, страшные, не похожая на обычные лица мертвецов навели ужас и на тех, кто смотрел сквозь мутные стекла противогазов. Солдаты стали сходить с позиции и идти назад. Позиция пустела. Солдаты шли к реке. На дороге они натыкались на одиночных людей, на целые кучи людей, лежащих по полям и дороге. Это были те, которые убежали раньше и которых газ нагнал в пути.

Наступал рассвет. Все колебалось в мутных желто-зеленых волнах газа, который заполнил все впадины и лощины и лежал в них. Там, где стояли кухни, лежали мертвые лошади, мертвые кашевары и уныло догорали топки брошенных котлов.

Мосты на реке были сломаны. Снег на льду был до середины реки покрыт желтым налетом. Дальше газ не пошел — сырость реки его съела, он растворился.

Люди в противогазах толпились, не смея ступить на лед.

— Чего стали! — раздавались глухие из противогазов голоса. — Все одно погибать! Вали на лед!

Мальчик-прапорщик стал на лед и легко перебежал на ту сторону.

— Вали! Вали! держит... и толпа солдат кинулась на лед. Но он не выдержал, осел, затрещал и люди стали проваливаться в темную дымящуюся воду. Было неглубоко, вода доходила едва до пояса, но идти дальше было нельзя.

— На мост, на большой мост! Товарищи, на мост! — раздавались голоса.

Не думая о неприятеле, солдаты кинулись вверх по реке к большому мосту, который еще был цел.

В это время в окопы входила жидкая цепь германских разведчиков. Люди в серых шинелях и низких металлических касках, из-под которых страшно глядели темные, точ-

но лица демонов противогазы, держа ружья на перевес рассыпались по укреплению. Они открыли редкий ружейный огонь по бегущим по берегу людям и тем заставили их еще торопливее бежать на мост.

Но мост был занят. С той стороны на него вливалась густая колонна людей, в противогазовых масках. Это шли 204-й и 209-й полки, наскоро собранные Саблиным. Саблин лично вел их в контр-атаку.

VII.

Уже рассвело. Солнце светило сзади, косыми лучами освещая песчаный холм, за которым были укрепления Лесницкого плац-д'арма. По скату холма колебались, словно брюхо ползущей призрачной змеи, волны желтозеленого тумана. Сквозь очки противогаза местность представлялась неестественной и непохожей на землю. Старая трава приникла под газом и потемнела. В межах лежали мертвые жаворонки, застигнутые газом. Весь скат холма, с дорогой, спускавшейся от господского дома, был покрыт мертвыми телами. Лошади упали в коляске, на козлах сидел мертвый солдат, склонившись вперед и зеленое лицо его выражало муку и ужас. Внутри коляски с такими же зелеными лицами сидели бригадный генерал и полковник Пастухов. В свалившейся на бок бричке, — видно лошадь в предсмертной агонии кинулась в сторону, — сидели мертвые делопроизводитель и казначей в погонах гражданских чиновников. Утренний ветер трепал черной бородой на зеленом лице казначей.

Все это было страшно своею непостижимостью. Поле боя не походило на поле боя. Казалось, не люди сражались тут с людьми, но сама костлявая смерть с косою прошла и свалила внезапно так много народа. Мертвецы были страшные, земля была страшная и выходившие на тот берег солдаты колебались.

— Первый батальон поротно в две линии вправо от дороги, — сказал Саблин и голос его глухо раздался из противогаза.

Шинель его пожелтела от газа, а погоны стали тусклыми с зеленым оттенком и на них черным казался вышитый вензель Государя.

Саблин остановился, чтобы пропустить вперед головную роту. Ее вел Козлов. Но, как только роты разошлись на интервалы, оне пошли тише.

Навстречу бежали люди в противогазах.

— Товарищи, — кричали они и голоса их тускло звучали из резиновых чехлов масок, — назад, товарищи, все пропало. Его сила!

Козлов и Ермолов шли впереди и за ними молча шел Морочненский полк. Первые полуроты разсыпались в цепь. Германские разведчики стали покидать окопы. Со стороны германцев показались густые темные цепи.

Саблин поднялся на холм и смотрел в бинокль сквозь очки противогаза на поле боя. Морочненский, а за ним и Павлиновский полки были ближе к окопам, чем германцы. Еще одно усилие и плац-д'арм будет снова занят Русскими войсками, а в укреплениях они отсидаются. Наша артиллерия хотя и беспорядочно, видно не было настоящего наблюдателя, но поражала противника и немецкие цепи часто ложились.

Секунды казались вечностью.

Ермолов, шедший впереди, то и дело приподнимал противогаз и звонко и одушевленно кричал — вперед, братцы! вперед! Наша взяла!

Над головами раздалось мерное жужжание нескольких пропеллеров. Эскадрилья аэропланов с черными крестами на крыльях летела навстречу бригаде Саблина. Глухо стали падать и взрывать бурым дымом бомбы, сверху затрещали пулеметы. Саблин приподнял противогаз и крикнул:

— Не робеть! Бегом вперед в окопы! —

Едкий кислый запах заставил его поперхнуться и закрыть маску.

Солдаты пошли вперед.

Но в это время от Павлиновского полка отделилась маленькая группа людей. Над нею был красный флаг с черной

надписью. Иногда то один, то другой из этой группы останавливался и, приподняв противогаз, звонко кричал:

— Назад! Назад! На мост! Спасайся кто может. Цепи остановились. Бомба, брошенная с аэроплана, разорвалась у резервной роты и несколько человек было убито.

Саблин выхватил револьвер и кинулся к бежавшим к нему людям.

Перед ним мельнуло бледное лицо Осетрова, вдруг снявшего маску и крикнувшего:

— Арестовать генерала. Он продан немцам! Он немецкий шпион!

Саблин остановился и прицелился в Осетрова, но в ту же минуту чьи то грубые сильные руки схватили его сзади и толпа с красным флагом окружила его. Он по погонам и по головам узнал Гайдука, Шлоссберга, Икаева и Воронкова. Воронков держал красный флаг, на котором было написано „долой войну!“...

Саблина обступили, подхватили под руки и стремительно повлекли вниз к мосту.

Все бросились за ним. На мосту образовалась давка. Аэропланы бросали бомбы.

— Чего на мост, валяй мимо! Мимо валяй. Лед то, он выдержит, — ревел чей то могучий бас.

Люди сыпались на лед, одни перебежали по нему благополучно на ту сторону, другие проваливались, бились среди льдин, тонули, третьи пробирались в брод и над всею этою толпою, над всем этим хаосом, реяли аэропланы, бросали бомбы и трещали их пулеметы. Аэропланы спускались так низко, что простым глазом было видно летчиков, но никто не стрелял по ним. Все, задыхаясь в масках, толкаясь и ругаясь, бросая раненых, бросая ружья, стремились к мосту, кто на лед.

По мосту в густой толпе солдат вели под руки арестованных генерала Саблина, Давыдова, подполковника Козлова и подпоручика Ермолова. С генерала Саблина погон сорвать не посмели, у Давыдова, Козлова и Ермолова погоны были сорваны.

За мостом снимали противогазы и шли поспешно, не оглядываясь, к лесу, где надеялись укрыться от нападений аэропланов.

Бригада германской пехоты свободно входила в покинутые окопы Лесищенского плац-д'арма. Раздавались короткие команды и приказания германских офицеров, появлялись люди с бочками на спинах и пульверизаторами в руках и выбивали газ из окопов. Все работали дружно и деловито, стаскивая отравленных Русских, разбирая ружья и амуницию. Без всяких потерь, если не считать нескольких убитых и раненых артиллерийским огнем — страшный плац-д'арм, угроза Ковелю, был очищен и немцы готовили дивизии для переброски на западный фронт.

Если бы они хотели они могли бы идти далеко вглубь русской позиции. N-ский армейский корпус в это время почти не существовал.

В штабе корпуса стремительно и молниеносно распоряжался Воронков. Он вызвал делегатов от полков корпуса для суда над генералом Саблиным и подполковником Козловым, он отдал артиллерии приказ прекратить стрельбу и властным тоном разговаривал с Пестрецовым.

Пестрецов не знал, что делать. Послать ли казаков для ареста Воронкова, и тех кто с ним за одно, или пойдти на мировую? Он снесся с фронтом. Из штаба фронта ответили, чтобы он без нужды к репрессиям не прибегал, Саблин сам виноват, зачем не снял вензелей и арестовывал за красные флаги. Надо было принять революцию и идти с народом, а не противиться. При штабе фронта заседал фронтовой съезд делегатов. Пестрецову дали понять, чтобы он уговорил Воронкова отправить Саблина в штаб фронта на съезд. Съезд настроен благожелательно и инцидент как-нибудь разрешится.

Пестрецов так и сделал. Он уговорил Воронкова отправить арестованных генералов и офицеров в штаб фронта и Воронков, боявшийся, чтобы ему не пришлось отвечать, согласился и снарядил прапорщика Гайдука с конвойными

для отправки Саблина, Давыдова, Козлова и Ермолова в штаб.

Корпус понемногу таял. Каждую ночь из каждой роты уходило по 5 по 10 человек. Уходили лучшие, солидные солдаты. „Что ж”, — говорили они, — „теперь добра не жди. Солдат арестовал генерала, егорьевского кавалера, а начальство с этим солдатом заместо того, чтобы разстрелять, разговоры разговаривает. Что же это будет?”

Пантюхов, чудом спасшийся и убежавший за реку рассказал кое кому из своих земляков свои соображения на счет дележа экономии Оболенских и они решили, семь человек, уйти до дома.

Они три дня скрывались лесами, шли опасно, но когда добрались до тыла, то убедились, что скрываться было нечего. Всюду всем заправляли солдаты, везде звучало ласковое слово „товарищ”, дезертирами была полна Россия и слово „дезертир” звучало даже, как будто, гордо и почетно.

Пантюхов с приятелями ехал к Пензе в первом классе и срезал бархатную обивку диванов на подарок жене.

— То то обрадую!

Русская армия перестала существовать.

VII.

В Российском государстве шло демократическое строительство. Все то, — в чем обвиняли Государя Императора те, которые взялись управлять за него, повторялось с еще более грубыми ошибками. Министры сменялись чуть не ежедневно. Верховного Главнокомандующего Николая Николаевича, заменившего в Ставке Государя, отправили на Кавказ, а потом, по настоянию Совета Солдатских и Рабочих депутатов, уволили от службы и разрешили ему переехать в Крым. Его сменил генерал Брусилев, понравившийся толпе своею демократичностью, но и он удержался не долго. Его заменили генералом Корниловым, на которого смотрели, как на человека выдающихся воинских талантов.

Петербург не успокаивался. Полицию послали на фронт, ее заменила милиция из обывателей. Митинги и демонстра-

ции не прекращались. Во все дела управления властно вмешивалась толпа и предъявляла свои требования. В теплый и бледный апрельский вечер вольноопределяющийся Линде роздал солдатам запасного батальона Финляндского полка по новенькой двадцатипятирублевке и вывел их на площадь Марининского дворца, в котором заседало Временное Правительство. К Финляндскому полку, бывшему далеко не в полном составе, присоединился 2-й Балтийский экипаж и еще какие то проходящие солдаты. Они выкинули красные флаги с обычным „долой”, и требовали удаления Милюкова и Временного Правительства, передачи власти Совету и прекращения войны. Временное Правительство пошло на компромиссы и мягкого и податливого князя Львова сменил пылкий и коварный, на все готовый Александр Федорович Керенский. Милюкова удалили.

Петербург бесновался. Дамы общества, вчера верноподанные Его Величества, бегали слушать и смотреть Керенского и засыпали его цветами. Толпа почтительно смотрела, как Madame Керенская на царских лошадях и с царским кучером подъезжала к самым дорогим магазинам, заказывала себе туалеты и покупала драгоценное белье. Газеты, захлебываясь в холопском усердии, помещали громадные фотографии Керенского и моментальные снимки из его жизни во дворце и на фронте. На Керенского молились и видели в нем Российского Наполеона. Мозги бедной, усталой от войны России пошатнулись и было похоже, что Россия сходила сума.

Но природа оставалась все та же, равнодушная, величественная, презрительная к людским волнениям.

В конце апреля стали благоухать по бульварам, скверам и садам тополя и выбросили клейкие почки, березки покрылись сережками и маленьким зеленым пухом и стали набухать ветки сирени. На улицах появились девочки, продающие маленькие букеты фиалок и сладко пахнущие ландыши. Среди шума и грохота ломовых подвод, лязга железа, гула трамваев, пароходных гудков и говора многолюдной толпы, появились гости полей и лесов — ранние цветы печаль-

ного севера, и петербуржца потянуло на дачу. Охая и кряхтя: — ломовая подводка на дачу, стоившая пять целковых, требовала пятьдесят, сто рублей, петербуржцы переселялись на дачу — и устраивались по летнему.

В мае месяце опушилась белыми и лидовыми гроздьями густая сирень и хоть теперь ее безжалостно ломали, она цвела, пышная и ароматная. Млели под лучами солнца задумчивые пруды Царского Села, отражались в них минарет и купол купальни-мечети, Орловская колонна, и зеленые ивы свешивали к ним острые тонкие листья. И ни притоптанная солдатами трава, ни заплыванные шелухой от семечек дорожки не могли испортить очарования густой зелени, голубого неба, красиво размещенных групп деревьев и аллей из могучих лип и меланхоличных лиственниц.

Такою же точною, размеренною жизнью, какою жила природа, жила семья Полежаевых, в которую переехала Таня Саблина. Полежаев был богатым помещиком. На юге России, в привольи Таврических степей, у него было большое имение, дававшее ему возможность жить так, как он хотел. Полежаев очень недолго, всего три года, прослужил в том же полку, где и Саблин, потом женился и сейчас же вышел в отставку, отдав всего себя сначала жене, а потом детям. У него их было трое — Павел, которому шел в это время двадцатый год, Николай, девятнадцати лет и Ольга семнадцати. Вскоре после родов Ольги, жена Полежаева умерла и Полежаев остался один. Он отдал мальчиков в Пажеский корпус, а дочь, когда она выросла, в Смольный институт, а сам уехал в деревню, предоставив дом старой тетке и англичанке, воспитательнице Оли. Оля в институте сошлась и подружилась с Таней Саблиной.

Молодое поколение Русской интеллигенции уже давно подготовлялось к приятию революции. Свободное чтение, легкость суждений о религии, презрение к прошлому, отсутствие патриотизма отличали Русские школы. Дети росли без твердых устоев. Как оранжерейное растение, насильное выгнанное на жирном перегное в душной атмосфере парника, так эти дети, рано познавшие азарт политических споров и

свободу любви, расли бледные и нездоровые, отметили старое старались создать что то такое, чего еще никогда никому не удавалось создавать. Поэзия, проза, живопись, архитектура, скульптура все получало больные образы, кричащие краски, изломанные линии. Красивый, звучный, образный язык Пушкина, Тургенева и Гончарова им казался пресным и скучным. Они искали новых слов — и создавали их, они искали нового размера стихов и новых рифм, они искали новых красок. Многие не выживали в этих поисках и, разочарованные в новом, без веры в старое, уходили сами из жизни.

Революция сняла с них последние сдержки, разрушила последний мостик, соединявший их с старой Россией.

Профессор Мануйлов, в угоду малограмотным, прикрывая свое невежество научными изысканиями, от имени Временного Правительства, объявил о введении в России нового упрощенного правописания; на звучность и красоту Русского языка посягнула рука нового Правительства. Ему ничего не было жаль из того, что связывало Россию с ее прекрасным прошлым. Традиции быта, религия, наконец, родное правописание все было уничтожено для того, чтобы обезличить Россию, и уничтожить в людях национальное чувство. Какой то рок влек Россию к интернационалу...

Но в семье Полежаевых этого не было. Корпус и семья с прочными старыми традициями, лучший институт с вековыми устоями полумонастырской жизни дали возможность Павлику, Нике и Оле вырасти в обожании России, преклонении перед монархом, в глубокой, доходящей до фанатизма вере в Бога, и в дни всеобщего шатания эта молодежь ясно и твердо смотрела в будущее и ни на минуту не теряла веры в милосердие Господа. Они искали в толпе, пронесшей мимо, героев, верили в то, что эти герои будут, готовились сами стать этими героями. Они, друзья Тани Саблиной, обожали ее отца и наметили его в герои, который спасет Государя. Когда будет спасен Государь, тогда будет спасена и Россия: в это они верили глубоко.

Государь отрекся. Это неважно. Оля и Таня, — они особенно чутко все это переживали, знали, при каких обстоятельствах он отрекся. Его заставили отречься, у него силою вынудили это отречение и такое отречение недействительно. Они знали, что Государь жил, как узник в Александровском дворце в Царском Селе и, сами живя в Царском, они мечтали, когда можно будет спасти его. Они знали, что караулы по охране его несут стрелки и Ника, кончивший ускоренный выпуск Пажеского корпуса, вышел не в кавалерию, как хотел, а пехоту и устроился в Царскосельские стрелки. Павлик был на фронте и мечтал сделать тоже самое. В семье Полежаевых создавался маленький заговор для спасения Государя.

Оля и Таня никогда не осуждали Государя. Он был для них не человек, Николай Александрович Романов, с человеческими слабостями и способностью радоваться, или страдать, но эмблема власти, эмблема России и приложить к нему людской масштаб они не могли. Они знали, как много приходилось терпеть Царской семье от грубости караульных и от наглого издевательства бездушных, враждебно настроенных людей, и они страдали за нее.

Царская Россия была для них все. Елка на Рождестве с парафиновыми цветными свечками, с лакомствами и подарками, с ожиданием звезды, до которой нельзя есть, с морозною снежною зимою за окнами... Новый Год с визитерами во фраках и мундирах с эполетами, с балом в институте, великий пост с говением, со страхом итти на исповедь и грехами, записанными на бумажке... Радость причащения, весна с ее Троицыным днем и клейкими белыми березками у изголовья кроватей, лето в имении с безконечною степью, по которой суетливо бегают суслики и бродят громадные стада баранов, возвращение в институт, радостная встреча с подругами, мечтания под липою на берегу Невы, где пахнет сыростью, смолою и каменным углем и где протяжно гудят пароходы.. Длинные всенощные с красивам пением институтского хора и трогательным „величит душа моя Го-

спода”, — радостные обедни, на которых точно душа открывается, когда после тихого „Тело Христово примите”, вдруг радостно и скоро скажет хор — „аллилуиа, аллилуиа”... — Это все была Россия!! Когда священник появлялся последний раз со святыми Дарами и говорил: „всегда, ныне и присно и во веки веков”, слезы туманили глаза Оли и Тани, и, стоя на коленях и нагнув головы, они повторяли, содрогаясь от внутреннего восторга: — „всегда, ныне и присно и во веки веков”!

Что всегда? что теперь и всегда? Что?

И радостно откликалось сердце: Р о с с и я!!!

Те, кто решил сокрушить и уничтожить Россию, знали, по какому месту ее надо ударить. Они уничтожали ее старый быт, они уничтожали ее историю, ее православную веру и Царя.

Но в сердцах Павлика и Ники, Оли и Тани они не могли уничтожить ничего.

И никто из них посягнувших на Россию, не знал сколько таких сердец, как у Павлика и Ники, у Оли и Тани бьет по всей могучей и великой России!...

IX.

Летнее утро встало ясное с голубым небом и радость обещающим солнцем. Но уже поднимались откуда то снизу, вставали из за леса и парков седые туманы, ползли лиловыми тучами, закрывали дали и скупое светило через них солнце. Надо было торопиться гулять, пока солнце светило и отражалось огнем от блестящих прудов, надо было торопиться гулять, пока они учились или спали по казармам. Они — хозяева Царскосельского парка. Когда после обеда выходили они гульбными толпами и наполняли весь парк, становилось страшно ходить даже по людным дорожкам. Они никого не признавали. Про них рассказывали что то ужасное, чего девушки не понимали и чего знать не могли, но о чем смутно догадывались, холодея мертвенным холодом при одной мысли об этом.

Они все могли. Они держали в плену, под арестом самого Государя, чего же больше!

Оля и Таня, обе в белых блузках с открытыми шейками и темных коротких юбках вышли гулять с мисс Проктор, старой англичанкой, и веселой „Квик” шотландской овчаркой, сходявшей сума от запаха лета, от радости солнечного света и возможности носиться взад и вперед по дорожкам.

Таня выше ростом и крепче, чем Оля. У нее такие же золотистые, густые волосы, как были у Веры Константиновны, такие же голубые глаза и нежный овал лица с прекрасною прозрачною золотистою кожей. Черты лица у ней тонкие, губы чуть пухлые, открытые, нос небольшой с розовыми ноздрями. Оля брюнетка. Ее густые волосы не отросли еще после тифа, бывшего год тому назад и завязаны на затылке узлом. Лицо чистое, белое, с тонкими черными бровями, из под которых ясно и честно, прямо в глаза каждому, смотрят глубокие карие глаза, Румянец во всю щеку говорит о ее прекрасном здоровье.

Обе девушки шли свободным, быстрым шагом и песок хрустел под их маленькими башмачками.

Таня несла в руке книжку английского романа в бледно-желтой обложке.

Оне прошли мимо озера, вошли в густую аллею громадных лип, уходящую в даль и сели на скамейке.

— Let us read,*) сказала мисс Проктор.

— Directly, miss Proctor, we would like to chat**) сказала Таня. — Оля, — обратилась она к Полежаевой, — как ты думаешь, ему видны эти большия аллеи? Он может по ним гулять?

Оле не нужно было говорить, о ком так говорила Таня. Их мысли были заняты только Государем и его семьею.

— Мне папа рассказывал, — продолжала Таня, — что он так любил эти аллеи. Видит-ли он их теперь? Он любил

*) Будем читать?

**) Сейчас, мисс, нам хочется немного поболтать.

природу и красоту. Цветы его слабость. А есть у него цветы теперь?

Ника нам все расскажет. Он сегодня в карауле и постарается все разузнать.

— Что ужасно, Оля, что кругом него люди чужие ему, другого воспитания. Этот Коровниченко... Он вовсе не полковник, а адвокат, он дурно воспитан и часто, даже не желая того, он оскорбляет Государя. Делают обыски. С тех пор, как во главе Правительства Керенский, жизнь Государя стала ужасной.

— Они этого, Таня, не понимают. Ника говорил, что солдаты настаивают, чтобы он жил так же как они и питался такою же пищею, как они. Его во всем урезают и в то же время не только солдаты, но и офицеры крадут, что попало из вещей Государя и его семьи. И некому жаловаться!

— Государь никогда не станет жаловаться, сказала Таня.

— Ах, Таня, я часто думаю, как хорошо было бы увезти его отсюда, от этих грубых жестоких людей.

— Его ведь хотели увезти в Англию, но он отказался покинуть Россию. „Народ не предаст меня”, сказал он, „и не сделает мне ничего худого”.

— Как он верит в народ и как свято любит Россию!..

Крик покорно улегся на дорожке у ног девушек. Золотые кружки, как червонцы, рассыпались по песку аллей, на темно синих тенях от густой зелени деревьев. Девушки молчали.

— Я думаю, Таня, — проговорила Оля, мечтательно глядя вдаль. — Я думаю, не может быть, чтобы все Русские люди стали такими скверными. Есть же настоящие честные люди, которые не забыли Бога. Я часто думаю, что где-нибудь, далеко, за Волгой, где растут дремучие леса, есть старообрядческие скиты. Никто про них не знает. Зарылись в чашу лесную старцы и белицы благочестивые, усердием людей старой веры построены у них храмы громадные, обители крепкие и ведет туда только одна никому неизвестная тропинка через болота топкия. Вот куда хотела бы я спря-

тать их. Пусть окружает их благочестие, привет и ласка христианской любви. Там рос бы в истинной вере и учился наследник, там спокойно воспитывались бы великие княжны и Государю было бы хорошо отдохнуть от трудов среди любимой им природы. А, когда настанет время и образумится Русский народ он явился бы снова.

— Но есть ли такие скиты, про которые никто не знает? Ведь если узнает кто-нибудь, то выдадут комиссару и тогда эти люди... убьют Государя...

Губы Тани задрожали. Слезы показались на ее глазах.

— Ты знаешь, солдаты уже грозили убить его. К коменданту дворца являлся какой-то неизвестный, одетый в форму полковника. Он показал коменданту приказ, подписанный Чхеидзе от имени Совета солдатских и рабочих депутатов, с требованием перевести Государя и семью в Петропавловскую крепость. Подумай, какой ужас!

Наступило долгое молчание. В теплом воздухе пахло цветами и мощной зеленью парка. Становилось жарко.

— Какое теплое лето, — сказала Оля. — И как это тоже ужасно! Ты знаешь, императрица не выносит жары, у нея делаются сердечные припадки. Государь просил повесить жалюзи. Керенский ему отказал, а сам живет во дворце, спит на кровати императора Александра III и носит белье Государя.

— Зазнавшийся хам!..

— Мне рассказывали, что солдаты на глазах детей стреляют ручных козочек в парке, пишут всякия гадости на скамейках, на которые садятся великие княжны, и подкладывают императрице все те грязные листки, которые печатают про нее и про Распутина.

— Какая мерзость!

— У наследника была любимая игрушка — маленькое солдатское ружье. Из него и стрелять нельзя. Это была модель, к ней патронов не было. Он как то принес это ружье показать солдату, который приласкал его. Солдат отнял у него ружье и унес.

— Ужас! Какою болью звучат, Оля, твои слова — „солдат приласкал Наследника"... А что же временное правительство?

— Правительство... Таня... недавно Гучков приезжал в сопровождении своих революционных офицеров во дворец. В коридоре один из офицеров, говорят, пьяный, увидел стоящих на лестнице дворцовых служителей и стал кричать на них: „вы, наши враги, мы, ваши враги. Вы здесь все продажные". Лакей ответил ему: — „вы бы, ваше благородие, лучше молчали. Мы Государя не продавали и служим ему, а вы кому продались?" Гучков сделал вид, что не замечает ничего. Да он боялся своих офицеров!

— Оля, надо что-нибудь сделать.

— Таня, я думала об этом. Ты знаешь, Ника тебя безумно любит. Скажи ему.

Таня покраснела.

— Я думаю, — тихо сказала она, — мне и говорить ему не нужно. Он сам знает, что надо делать.

— Ах, только поскорее бы. Не убили бы они его раньше?

— Какой ужас! И подумать, что это мы, Русские девушки, в России, говорим о своем Русском Государе.

— Ужас! Смотри, Таня, вот это идет тоже Русский офицер!

— А красив. Красив, как разбойник. Вот я таким вообразила себе Стеньку Разина.

— И это гвардейский офицер!

— А эта с ним?.. Наверно паршивка какая-нибудь. Как разрядилась! Жара, лето, а на ней высокие сапоги и соболье боа.

— Украли где-нибудь при обыске.

— Идут сюда. Ну, нам надо уходить.

Мисс Проктор заволновалась, увидав подходящую к скамейке пару и стала собирать разложенную ею работу.

— I think girls we had better go, сказала она.*)

*) Я думаю, мисс. нам лучше уйти!

Но не успели девушки подняться, как пара была уже у скамейки и офицер развалился подле Тани. Квик встал и заворчал, подняв шерсть. Оля и Таня быстро пошли от скамейки.

— Буржуйки! — услышали они вслед насмешливый возглас. Спутница офицера приставила золотой лорнет и смотрела на них.

Х.

Эта пара были Осетров и Дженни. Из-за заломленной на затылок смятой фуражки заодно выбивался на белый лоб Осетрова черный чуб. Широкая Русская рубаша защитного цвета была расстегнута и обнажала могучую, воловью шею и белую грудь, на которой висел на тонкой золотой цепочке дорогой кулон с красным, как капля крови, гранатом. Шаравары были заправлены в высокие желтой кожи сапоги. Шашки не было и сбоку висел большой тяжелый Маузер в деревянном чехле.

Осетров действительно был в гвардии. В виду убыли офицеров в гвардейских полках, во время последнего наступления, Осетров, по приказу свыше, был переведен в гвардейский запасный полк, куда правительство подбирало революционных офицеров, не склонных к возвращению „старого режима”.

Дженни в вычурной шляпке, которая до войны была Парижской моделью и принадлежала известной артистке, но теперь была совершенно не модна и не гармонировала с костюмом, в богатом боа из темного соболя, была ужасна. Ни пудра, ни румяна не могли скрыть зеленовато-белого цвета лица и особенно шеи и груди, которых даже солнце не могло тронуть загаром. Она была бела, как труп. И только глаза яркие, живые, ненормально горящие говорили о том, что жизнь еще кипит в ней искусственно возбуждаемой страстью.

Осетров вынул из кармана золотой портсигар с брильянтовым вензелем и, достав толстую папиросу, закурил.

— Что же, Дженька, совсем бросила Шлоссберга? — спросил он, прищуривая ясные наглые глаза и насмешливо глядя на Дженни.

— Ну, его! — сказала Дженни хриплым усталым голосом. — Склизкий какой-то, сопляк совсем. Я мужчин люблю, чтобы на мужчину был похож. К сердцу прижмет, чтобы дух вон.

— Сознайся, твой идеал — матрос Дыбенко.

— А что-ж, и не скрою. Ладный парень. Такого полюбить — отдать все можно. Богатырь волжский. Ну да и ты хоть куда. С тобой ночку проведешь, потом весь день ша-таешься, как хворая.

— То-то!

— А ты меня любишь?

Осетров скосил свои глаза. Презрительная усмешка скользнула по его губам.

— Ты, Дженька, на меня не обижайся. Я так тебе скажу. Я никого не люблю. Я всех ненавижу. Во мне теперь такая ненависть кипит, так мне все уничтожить хочется... Да что уничтожить! Мало! Загадить, заплевать, оскорбить, вот чего мне надоть теперь. Гляжу я на небо. Синее, облака золотые по нему ползут, а я думаю — как бы это доплюнуть до него, кажется так бы все его и заплевал, чтобы и синевы этой не осталось. Да...

— Ты и меня ненавидишь? — спросила Дженни.

— Тебя? Как тебе сказать? Нужна ты мне сейчас. Как болячка нужна. Ведь ишь ты какая! Все превзошла и нет в тебе страха ни к чему. И ночью ты нужна мне. Не укрепился я еще достаточно. Вот, как капитана Сиверсова на Морской убил на глазах его жены и ребенка, с той поры покой по ночам потерял. Все мерещится он мне. Потом, как громили мы дом на Каменно-островском, я штыком полоснул городского, а кровь мне на шею. Ну, ночь настанет — жутко. Неужто, думаю, Бог есть? Муки совести? Так нет, не совесть, а так, точно страх. А с тобой мне не страшно. Всю то ночь ты, Дженька, возишься, да страстью своею мучаешь, ну и забудешь. А днем я так думаю — откопал бы их обоих, да

по всему свету раскидал бы по кускам, чтобы не мучили. Вчера, под утро, заснул я, пьяный, у тебя и вижу сон. Будто приходит ко мне Зорька и говорит: „не ладно вы закопали на Марсовом поле жертвы революции. Близко очень. Ночью они возятся, грызут друг друга”, и так это отчетливо, так ясно. И знаешь посмотреть захотелось, раскопать. Что как грызутся? а? Упокойники-то?

— Что тебе Зорька снится? Забыть не можешь?

Осетров нахмурился.

— Что-ж, Дженька. Не скрою, любил девчонку. Сам бы бросил и ничего. А то меня злоба взяла, что, не спросясь, разлучили нас и знаю кто. Генерал Саблин. Запиртал нивесть куда. Ну, да найду!

— Найдешь, что сделаешь?

— Не знаю. Может, убью.

— Значит — любишь?

— Не знаю. Не любил бы, так Гайдука видеть бы мог, не ревновал бы. А то ревность какая то.

— Да ведь сам предложил.

— Сам. По-товарищески. Думал, очень просто. Все общее и она, полюбовница, тоже пополам. А на поверку вышло — не могу.

— Плохой ты коммунист.

— Погоди. И это явится. Не сразу, не вдруг. У меня такая мысль — что обладание женщиной и убийство все одно. Вот я и думаю, хорошо бы так, взять девушку невинную совсем, которая ничего бы не знала, или хотя девочку махонькую, натешиться над ею, а потом убить. Вот это ощущение!

— Ты садист, Миша.

— Не понимаю я этого. Худое что?

— Нет. Потому ты мне и приятен, что у тебя возможности большие.

— Большие говоришь?.. Так... А как думаешь, Наполеоном я мог бы стать? Я так понимаю. Наш народ не французский. Наш народ смелостью надо взять, озорством. То-

гда он твой, рабом станет. Я так понимаю, есть к примеру у нас чудотворные иконы, ну Казанская, что-ль. И народа уйма при ней. Старики, старухи, женщины, дети, купцы богатые, так мужичье, и все на коленях. „Владычице спаси!” И вот придти и самую что ни на есть гнустную пакость сделать, чтобы самому срамно стало, а потом и посмотреть. Я так думаю: — для народа, я после того святее иконы стану. Потому святее, что сильнее. Или там взять мощи какия-нибудь, Серафима Саровского что-ль, и развернуть и надругаться — вот тогда Наполеоном станешь. Наш народ раб. Ему сила нужна, палка. Царское правительство тряпкой оказалось, вот и сгнуло. Смертной казни испугалось. Нет, я бы так! Вы бунтовать! Да? Пришел бы один, с пулеметом. Становись на колени, подлецы! — Ведь, стали бы! А! И с пулемета их всех уложил бы. Может быть я через то и ненавижу так Русский народ, что уже больно презираю.

— Откуда, Миша, у тебя мысли такие?

— Из головы...

Осетров помолчал немного.

— Ну тоже и не все из головы. Подружился я в совете с Коржиковым солдатом. Вот этот все может. Я так полагаю — вот кто Наполеоном Российским станет, потому что у него ничего святого. А наш народ, как я понимаю, — ему либо явись святым, либо наплюй на все. Середины он не поймет.

Осетров бросил папироску и сказал:

— Ну, пойдем, Дженька, поедим да попьем. И он запел на весь парк:

Эх жил бы, да был-бы

Пил-бы, да ел-бы

Не работал никогда.

Жрал бы, играл бы

Был бы весел навсегда!

XI.

Павлик Полежаев неожиданно приехал с фронта. На распросы о том, что там делается, только рукою махнул.

Вечером вся молодежь — Павлик, Ника, Оля и Таня Саблина собрались вместе.

Ника, вернувшийся из караула, рассказывал о том, что он видел во дворце. Он был смущен.

Они сидели на небольшом стеклянном балконе, убранном пальмами и цветами. Это было любимое место их тайных разговоров, таких, которые не должны были слушать посторонние уши.

Поговорить с Государем, или с кем-либо из его семьи не удалось, — рассказывал Ника. — Это невозможно. Солдаты ни на минуту не оставляют их одних. Они сядут на скамейку — и кто-нибудь из солдат подсаживается к ним, закуривает, заговаривает, или между собою начинают говорить разные гадости и смеяться.

— Какая пытка! — нервно пожимаясь, — сказала Таня.

— Весь мой караул прошел в том, что я сгонял их.

— Как же ты сгонял? — спросил Павлик.

— Ах, трудно было. — „Товарищ”, — говорю, — „оставьте, это нехорошо, что вы делаете. Вы показываете вашу неосознанность”.

— И действовало? — спросил Павлик.

— На иных действовало, на других нет. Все-таки есть и такие, что совесть имеют. Мне Мельников, моего взвода, обещал достать обратно Наследнику его ружьецо. — „Жаль”, — говорит, — „мальчонку, так убивается!”

— Это он про Наследника? — спросила Оля.

— Да... Ах, Оля, они ужасно говорят и поступают. Они не только не отдают чести, но, если Государь сам, по рассеянности, первый приложится к козырьку, они не отвечают, отворачиваются, смеются. Если бы не студенты, которые есть между солдатами, я не знаю до чего бы дошло. У меня при смене большой скандал вышел. Я сменял прапорщика Гайдюка. Это новый офицер, присланный из армии для насаждения

демократических понятий. Хам ужасный. Латыш, — мужик. При завтраке Государя офицеры — заступающий в караул и уходящий — обыкновенно приветствовали Государя и Государь подавал им руку. Так было и теперь. Гайдук и я, мы взяли под козырек. Государь подошел к Гайдуку и ласково протянул ему руку. Гайдук отступил театрально шаг назад и не принял руки Государя. Ах, Оля, нужно было видеть прекрасное лицо Государя при этом. Какая скорбь была на нем! Государь подошел к Гайдуку, взял его за плечи и, глядя своими прекрасными глазами в лицо Гайдука, сказал ему:

— Голубчик, за что же?

Гайдук опять отступил назад и ответил:

— Я из народа. Когда народ протягивал вам руку — вы не приняли ее. Теперь я не подам вам руки!.

И вышел. Я пошел за ним. — „Милостивый государь”, сказал я ему — „вы негодяй и хам!”

— Спасибо, Ника, — прошептала Таня.

— Он остановился и спокойно посмотрел на меня. Ах, господа, я никогда не забуду этого взгляда! Такой он тяжелый. Будто он не видел меня, смотрел на пустое место. — „Меня этим, товарищ, оскорбить нельзя” — сказал он. „Лучше оставьте. Если я плюну в вашу физиономию — вы умрете от оскорбления, а если вы мне плюнете, я только оботрюсь. Советую не состязаться. Силы неравны”. — И ушел к своим солдатам. Хорош гусь!..

Никто ничего не сказал. На балконе стлался сумрак летней петербургской ночи, сильнее пахли гелиотропы и резеда, стоявшие внизу подле больших бледно-розовых гортензий и развалившись под ними лежал мохнатый Квик, поглядывая одним черным прищуренным глазом на Нику.

— Ника, — тихо сказала Таня и голубые глаза ее устремились на молодого человека. — Ника, я здесь одна чужая. Не Полежаева, Ника, я знаю, что вы меня, моего отца и покойного брата очень любите. Давайте, господа, руки! Вот так! Оля давай твою мне и Павлику, Павлик Нике. Ника дай-

те вашу мне: — Неи!*) Да будет свято! Спасем его! Я не знаю, как, но спасем!

Они встали, взволнованные всем происшедшим. Точно клятва связала их свято и ненарушимо.

— Оля, — сказала Таня, — расскажи всем то, что ты говорила утром о старообрядческом ските.

Оля рассказала и опять никто ничего не сказал. Ника смотрел на Таню, не спуская с нее глаз. Таня была его давнишняя любовь. Он полюбил ее тогда, когда на детском спектакле десятилетним маркизом он танцевал менуэт с девятилетней маркизой — с тех пор его сердце свято хранило любовь к маленькой грациозной девушке. Эта любовь крепла в нем и изменялась. Из нежного детского чувства она стала сильной, все преодолевающей, первой любовью.

— У меня есть план, — сказал он. — Я спасу Государя. Но до поры до времени никто не должен про него знать. Павлик, ты мне поможешь.

Павлик нагнул голову.

— Вы нам не скажете? — спросила братьев Оля.

— Сейчас — нет. Он и мне еще не ясен, а потом... От вас у меня секрета нет. Тем более, Оля, что этот план навеял мне твоим рассказом. Я поеду сейчас в Петроград и кое-что подготавливаю.

Таня пошла провожать его.

— Ника! — сказала она. — Да хранит вас Господь. Всем святым заклинаю вас — спасите его!

Ника опустил голову. Лицо его покраснело. Маленькая еще детская ручка обвила его за шею и мягкие чистые уста трепетно прикоснулись к его лбу.

— Спасите Россию, — сказала Таня и побежала в свою комнату.

Ника, открыв дверь, вышел на шоссе и исчез в густой тени развесистых деревьев.

*) Клянусь!

ХII.

Ника был офицером нового поколения. В полк он вышел после революции, тогда, все свободы были объявлены и была опубликована хартия вольностей солдата, приказ № 1. Ника не служил под двуглавым орлом и не был „ваше благородие”. Он был „господин прапорщик”, а чаще „товарищ” или „Николай Николаевич”. Он это сразу воспринял и его это не коробило. Он искренно любил народ, верил в него и потому ему легко досталось то, чего так добивался в молодые годы Саблин, — он сошелся с солдатами. Он воспринял новую товарищескую дисциплину, и его не смущало, что в карауле или на работах всем баталионом, когда приходило время обедать и приезжала походная кухня, ему нужно было становиться с котелком в очередь с солдатами, а не получать первому, или, тем более, есть особую пищу. Это унижение, это уравнивание его с солдатами возвышало его в собственных глазах. Солдаты, особенно молодежь, ему нравились своим грубоватым юмором и в них он видел веселых детей, которых, казалось ему, можно воспитать. Ему скоро удалось отучить солдат грубо и презрительно называть Государя, он разбудил в них чувство жалости к нему и сознания своей вины перед ним. Он достиг бы и большего, если бы был не один в этой работе. Но он был одинок. Царскосельский совет солдатских и рабочих депутатов, или как его сокращенно называли „совдеп”, прислал в полк много своих офицеров, которые снабжали солдат брошюрами и книжками, рисующими Государя отталкивающими чертами, раздавали карикатуры на Царскую Семью и всячески возбуждали против нее солдат. Ника скоро понял, что то, что делают солдаты, исходит не от них, а от того пришлого элемента в офицерской форме, который руководит ими и толкает на грубые выходки. Особенно работал в этом направлении Гайдук.

Ника отметил в эти дни наблюдений над солдатом черту солдатского характера: легкоеверие и отзывчивость ко всяким слухам. Чем нелепее, необычайнее был слух -- тем лег-

че ему верили солдаты. Как то во дворце, где по распоряжению коменданта, были сняты гардины и шторы, великия княжны вечером занимались рукоделием. Одна из них, размечая работу, то нагибалась, то выпрямлялась, заслоняя лампу. Кто-то из солдат заметил это и сказал, что из дворца сигнализируют. Кому, зачем, как могли сигнализировать великия княжны, этим вопросом солдаты не задавались. Они кинулись толпою во дворец и перепуганным княжнам и караульному офицеру стоило большого труда доказать, что никакой сигнализации не было.

Солдаты были подозрительны. Ника не мог понять их — не то им хотелось, чтобы Государя убили, не то, хотелось, чтобы опять все было по старому, но „только, чтобы кончилась вся эта канитель”. Ника скоро увидал, что солдат Временное Правительство никак не удовлетворяло. Оно дало много свобод, но не дало главной свободы — от войны, не отпустило их домой, не дало мира. Если бы Государь, вернувшись на престол, наверно дал бы им мир — они посадили бы его на престол, но про него говорили и писали, что он изменник, что он хотел заключить какой-то с е п а р а т н ы й мир и от этого России была бы гибель. Говорили, что Государь хочет вернуть крепостное право и снова отдать крестьян помещикам — и этому верили, но существующим порядком тоже никак не были довольны и ждали Учредительного Собрания, которое даст настоящую власть и устроит так, что крестьянам и солдатам будет хорошо.

Столичная жизнь с ее развлечениями, кинематографами, женщинами, картами и вином развратила солдат. Унтер-офицеры потеряли свой авторитет и их вытеснили солдаты из петербургской молодежи, хулиганы, карманные воришки, мелкие рабочие, умевшие ловить рыбу в мутной воде, отлично знавшие Петербург со всеми его притонами и значными местами и готовые на всякое озорство. В их разбойничьей удали, в их смелых ухватках Ника находил свою прелесть и сумел своею ловкостью, молодечеством и тем, что за словом в карман не лазил, стать среди них своего рода атаманом. Он соревновал в этом с Гайдуком и часто, не

без внутреннего удовольствия чувствовал свое над ним превосходство.

С этими парнями он часто пел разбойничью песню:

Ах тучки, тучки повисли
И с поля пал туман,
Скажи, о чем задумал,
Скажи, наш Атаман.

Ника чувствовал, что он атаман этих людей и что может придти день и час, когда они пойдут за ним и на хорошее.

Жизнь стала непохожа на жизнь. Точно полный приключений и кровавых сцен бульварный роман разыгрывался перед ним. Заговоры, выборное начало в полках, таинственные „совдепы”, в которые во все трудные минуты бегают солдаты, обилие у солдат каких то темных денег, азартная игра в карты, в которой принимают участие и офицеры, подобные Гайдуку, золотые вещи у солдат, кольца, камни, веселые разряженные девицы, свободно ходящие в казармы, одетые по господски, но с ухватками горничных и портних, наконец, самая марсельеза, то и дело разыгрываемая оркестром, или распеваемая солдатами и гостями — все создавало повышенную обстановку, создавало особое революционное настроение. Ника не сочувствовал революции, он ненавидел ее, видел в ней бунт, а в солдатах взбунтовавшихся рабов, но он был слишком молод, чтобы не мечтать, не увлекаться теми громадными возможностями, которые давала революция в руки людей молодых и предприимчивых.

Ника с детства горячо любил Государя, он был влюблен первую чистою любовью в Таню Саблину и ждал только окончания войны, чтобы сделать предложение и обвенчаться, потому что чувствовал, что отказа не будет. Как все чистые молодые люди, он считал себя недостойным Тани, видел в ней одни совершенства и решил совершить для нее подвиг, который сделал бы его достойным ее.

Этим подвигом будет спасение Государя.

Он решил использовать для этого свое влияние на солдат, их способность к озорству и их лепковерие. План у него был готов давно. Он не знал только одного, куда везти Государя. Первоначально он хотел везти за границу, к союзникам. Но отношение союзников к революции, их заигрывание перед революционными героями, присутствие на похоронах жертв революции и речи, ими произнесенные все показало Нике, что там Государь не найдет спокойного убежища. Он ломал голову, куда отправить Государя. В Абиссинию, к негусу, царю Эфиопии? К королю Сиама, где были принцы Чокрабон и Най-пум, воспитанные в России? в Китае, Японию? Все это было так сложно и трудно во время войны.

Мечты Оли, ее рассказ о старообрядческих скитах, о верных заветам старины Русских людях, ему показались осуществимыми и он решил их выполнить.

Как? Подробности его не занимали. Подробности он выработает с теми, кто ему должен помочь. Главным помощником своим он наметил старого шофера генерала Саблина, Петрова.

К нему и помчался тем же вечером Ника.

ХІІІ.

Петров принадлежал к тому типу привязчивых Русских людей, которые, раз полюбив кого, не изменяют ему в душе никогда. Петров был чисто Русский человек, глубоко верующий, любящий все обряды православной церкви и живший солидно, умеренно, по старине. Он был рабочим на механическом заводе, он был из крестьян, простой человек и это давало ему право свободы слова, которой в эти дни была лишена интеллигенция. Человек в хорошем платье — буржуй, мог только восхищаться перед революцией, преклоняться перед ее вождями, печатать портреты убийц в роде Кирпичникова, рядового Волынского полка, убившего своего ротного командира. Генералам, даже с таким характером как у Корнилова, приходилось награждать в угоду толпе

Кирпичникова и ему подобных, георгиевскими крестами и говорить соответствующие речи: — иначе тюрьма, крепость, может быть, смерть. Тут был не только шкурный вопрос, но и надежда путем угождения толпе направить революцию на иной путь.

Петров, в самой возбужденной толпе, спокойно сжимал свои мозолистые кулаки и говорил вождам — „воришки вы и жулики! Хорош или плох был государь, — он был Государь — а теперешние господа — просто изменники и шантрапа” и самоуверенно расталкивая толпу, уходил.

Ему кричали в спину: — „provokator”! Он останавливался, грозно окидывал толпу смелым взглядом и говорил: — „кто сказал? Выходи! Я тебе, сукину сыну, покажу какой я provokator!”

Никто не выходил.

Настоящий буржуй в эти дни боялся одеться богато, выйдти в дорогой шубе, Петров ходил в прекрасном меховом пальто и знал, что его, шофера Петрова, никто не посмеет тронуть.

После ареста генерала Саблина солдатами Морочненского полка, Петров, сыгравший значительную роль в освобождении Саблина, должен был уехать с фронта. Он, везший всех арестованных с прапорщиком Гайдуком и конвоирами в армейский съезд, вместо съезда подкатил их к помещению штаба фронта, где быстро вызвал дежурного генерала и во мгновение ока роли переменились, Саблин, Козлов и Ермолов были освобождены, а Гайдук и солдаты арестованы. Им грозил полевой суд, но за них вступился местный совдеп и их отпустили на все четыре стороны, окрестив все дело именем неизбежного революционного эксцесса.

Петрову уже небезопасно было оставаться на фронте и Саблин предложил ему с его женою поселиться на его петербургской квартире, заняв комнаты мисс Проктор.

Ника все это знал.

В девятом часу вечера Ника приехал на квартиру Саблина, но Петрова не было. Жена Петрова, благообразная ху-

дошавая женщина в кружевной черной наколке, делавшей ее похожей на испанку, сказала Нике.

— Вы застанете его, коли вам нужно, в главном гараже, в Михайловском манеже.

Ника поехал в манеж.

Двери манежа были растворены настеж и в тускло освещенном пространстве видны были длинные ряды автомобилей. У входа стояли без дела какие то вооруженные молодые люди.

— Вам что нужно, товарищ? — спросили они.

У Ники был вид революционного офицера. Молодые черные усы были подстрижены, фуражка была на затылке, свободный френч, галиффе и башмаки с обмотками придавали ему вид нового офицера и его легко можно было принять за одного из адъютантов Керенского, Гучкова или за офицера автороты.

— Шоффер Петров здесь находится? — спросил Ника.

— Не знаю, товарищ, — говоривший обернулся в манеж и крикнул: — товарищи, шоффер Петров здесь или нет?

Из сумрака манежа отделился человек в кожаной шофферской куртке и подошел к Нике.

— Был здесь, — сказал он. — А вы, кто будете?

— Я от его жены. С улицы Гоголя. Скажите, что Николай Николаевич его просит.

— Хорошо.

Шоффер пошел в манеж и через несколько минут вернулся с Петровым. Петров знал Полежаева, так как возил письма к Тане и разговаривал и спрашивал Нику о всем, что происходит в России.

— А, Николай Николаевич, — сказал он, улыбаясь. — Здравия желаю.

— Здравствуйте, т о в а р и щ, подчеркивая слово товарищ, сказал Ника. Меня прислала за вами ваша жена. Вы свободны?

Петров догадался. Он уже несколько раз говорил Нике, что если бы найдти хорошую машину, деньги, да смелых

людей, то вывезти Государя ничего не стоит.

— Противно, говорил он, — смотреть, как над Его Величеством, жида измываются. — Петров верил, что всю революцию сделали жида, чтобы измываться над Русским народом.

— Свободен, — сказал он.

— Она просила вас со мною приехать к ней. Пойдемте, — сказал Ника.

— Зачем идти? Я вам машину подам. Товарищ, обратился он к сопровождавшему его шофферу, ну-ка, милый, толкни Алешкина, пусть подает Бенц.

Через пять минут Ника с Петровым, отпустив Алешкина с автомобилем, поднимались на квартиру Саблина.

Ника провел Петрова в кабинет Саблина и, не зажигая огня, усадил его против себя за столом.

Лунная июльская ночь стояла над городом и отблеск луны и уличных фонарей проникал туманным полусветом в широкие окна квартиры. Предметы на письменном столе, самый стол, кресла, диван, шкапы с книгами, курительный столик намечались темными силуэтами. Лиц не было видно. Говорили вполголоса.

— Помните, Петров, мы говорили с вами о том, чтобы увезти Государя, спасти его.

— Необходимо надо, Николай Николаевич. Никакой у меня веры нет к этому жиденышу. Убьет он его ни за что. Такой грех, прости Господи! Только куда увезешь то, ваше благородие. К англичанке, или французу, сами понимаете, неподходящее дело. Англичанин Россию ненавидит, — это я доподлинно знаю, а что жид, что француз — одна порода. Кабы с немцем не воевали, я бы немцу больше поверил.

— Нет, Петров. Нам надо спасти и укрыть Государя у Русских людей!

— Ишь, Николай Николаевич, Русские то люди хороши стали. Совсем сума посходили. А то куда-же лучше!

— Есть Петров, и хорошие люди. Мы вот что надумали.

И Ника рассказал про старообрядческие, скиты про старец и белиц, про дремучие Керженские леса, все то, что

осталось у него от чтения романов Печерского и Салиаса. Сладостный романтический бред претворялся в его словах в широкия возможности и он видел осуществленным это переселение.

Крепко задумался над его словами Петров. Барская фантазия столкнулась с здоровым практическим разумом старого рабочего.

— Как же доставим туда? — спросил после долгого раздумья Петров.

— На автомобиле, — задыхаясь от волнения сказал Ника.

— Прикурить позволите? — спросил он.

— Ах, курите, пожалуйста, Петров, — сорвался со стула Ника и подал папиросы и спички. Он чувствовал, что в старой голове Петрова решается участь их плана. А если Петров откажется, то тогда уже никто не поможет.

Петров долго и молча курил. Глаза привыкли к темноте и Ника ясно различал лицо Веры Константиновны на портрете, по распоряжению Саблина, никогда не закрывавшемся кисею. Ника мысленно умолял Петрова: — „ну, решишь, голубчик, ну пойди на это. Ну что тебе стоит!“

— Николай Николаевич, а никто нас здесь не подслушивает? — спросил Петров.

— Нет никого.

— Посмотреть надо. Я, Тимофею, например, ихнему не верю. Свое у него на уме, как бы генерала обокрасть.

Ника посмотрел по комнатам и вернулся.

— Нет, кругом никого нет. Авдотья Марковна самовар в столовой наставляет.

— Это для вас. Мы всегда у себя пьем, сказал Петров.

И опять молчал и курил. Видно тоже волновался. — „Ну, милый! Господи, помоги ему решиться“.

Спасти Государя надо, наконец, выговорил Петров. Это точно. Не может империя быть без императора. А республика? Ну, какая там республика — так жидова одна, да галдеж по митингам... Только на автомобиле невозможно. Вы гово-

рите в Вятской губернии, или даже под Урал самый везти надо? А куда везти, вы сговорились?!

— Нет.

— Вот то то и оно то. И сговориться, Николай Николаевич, нельзя. Вы один задумали — хорошо. Мне сказали — уже хуже стало. А не дай Бог третий узнает, все пропало. Кругом народ подлец стал.

Петров помолчал немного.

— Головами, ваше благородие, играем. Еще и не сделали ничего, только поговорили, а уже голова на карте. Вот оно что, раздучиво сказал он и примолк. Какая то работа медленно шла в его голове.

— Спаси надо, — снова сказал он. Только чисто надо сделать. И чтобы воля его была. Его охота будет — все выйдет хорошо. Видите, автомобилем до места не довезешь. Первее всего бензин надо. Опять карты. Какия там дороги, кто знает? Распрашивать станешь — себя выдашь, засаду поставят и конец. А не дай Бог машина станет. Опять — всех везти никак невозможно. Ну ему — усы, бороду долой — никто не узнает. Наследника тоже укроем. Нужда будет — девочкой нарядим. Самое никак нельзя, княжен тоже. Слишком приметные. Тогда несколько автомобилей надо — целый поезд! Не найдешь. Слишком приметно.

Сердце падало у Ники от слов старого шоффера. Он чувствовал всю правдивость их и понимал, что план был не продуман и сделан сгоряча. Чтобы выполнить его, надо создать обширный заговор, а как его создать, Ника не знал. Он готов был отказаться от всего, попрощаться с Петровым и ехать домой, но Петров думал иначе.

— Надо спасти, — сказал снова Петров. — И вот как. За Павла Николаевича, брата, поручиться вы можете?

— Ну конечно.

— Так вот как, под самым Новгородом в трех верстах от шоссе, в глухой деревушке живет моя мамаша. Древний человек, жития хорошего и не болтливая. В достатке живет, милостями генерала Саблина, я ей не мало помог. В избе пять покоев, а главное глушь Новгородская. Так вот к ней?

До нее за шесть часов докатим. Машину я достану хорошую, Паккарт. Павла Николаевича присылайте завтра без погонюв учиться — он за помощника будет. Вы с бумагой едете, караул только пусть ворота откроет и подержит, пока не выедем. Поняли? Когда Государь на прогулке будет, в чем есть захватим и аминь. А от мамаша, обрившись, в крестьянском платье, пробираться в леса какие вы говорили, — вот это будет настоящее дело.

Ника смотрел восторженными глазами на Петрова. Да, он не ошибся в Русском народе и из недр его он найдет себе помощников в задуманном святом деле.

— А теперь, ваше благородие, позвольте мне от имени генерала Саблина предложить вам откусать нашего чаю, сахару.

XIV.

Медлить было нельзя. По Царскому носились темные слухи о том, что решено отправить Царскую Семью в Сибирь. Об этом открыто говорили солдаты. Стрелки, друзья Ники, полупосвященные в его план, согласились помогать ему.

— Только так, — говорили они, — чтобы нам никак в ответ не попасть, чтобы никакой, значит, вины, или подозрения на нас не было. Чистая случайность. Ежели попадетесь, нас не оговаривать, все одно отопремся.

Ника об этом не думал. Конечно, он все брал на себя. Он не сознавал, на какой важный шаг он решается, и не думал о последствиях. Павлик уже вторую неделю ездил на одной машине с Петровым за его помощника, был запасен бензин и даже устроена в Любани на всякий случай запасная база. Все было готово, кроме главного. Не удалось переговорить с Государем. Но ведь не мог же он не согласиться? Для блага России! Павлик советовал в крайности действовать силою.

Ожидали только дня, когда намеченные люди будут в карауле и ворота будто случайно останутся открытыми.

Наконец и это случилось, но с караулом шел прапорщик Гайдук и это осложняло условия побега. Вечером Ника с соответствующими инструкциями, чемоданом с бельем и продовольствием, длинным серым макинтошем с высоким воротником и полувоенною шапкою приехал на квартиру Саблина и остался там ночевать.

Государь выходил на прогулку в одиннадцать часов утра. К этому времени надо было влететь в парк. Погода хмурилась. По синему небу бродили большие облака, порывистый ветер дул с моря. Спокойно и ровно шел автомобиль, деловито гудя. Небольшой красный флажок развевался впереди, показывая, что сидящие в нем признали революцию. В эти дни столько автомобилей с солдатами и молодыми прапорщиками носилось по городу, что появление Ники не возбуждало ничего подозрения: какой-либо делегат, или член совдепа. Будущее России принадлежало прапорщикам, на их улице был праздник и автомобилями распоряжались они, а не генералы. Автомобиль никого не смутил и тогда, когда втехал в большой парк и взял, не ускоряя хода, направление к Александровскому дворцу.

Ника, стараясь затанить волнение и не вставать с сиденья, весь стал внимание.

Расступились ивы, росшие по дороге, показалась железная решетка, часовые с ружьями, вот и ворота. Они распхнуты на обе половинки. Автомобиль ускорил ход и летел полным махом. На лужайке у дворца, у деревянной стенки сидели три великие княжны и с ними наследник. Княжны в простых шапочках колпачками и в простеньких блузках, Наследник в фуражке и рубашке с солдатскими погонями, и георгиевской медалью и в высоких сапожках только что работали в своем огороде. Сзади них стоял солдат из дворцовой прислуги в фартуке, он им помогал. Государь сидел на скамейке у дворца, великая княжна Ольга Николаевна читала ему вслух книгу. Подле не было никого. Гайдука не было видно. Мельников сдержал свое слово и отвлек Гайдука и солдат караула, выставив какую-то мелкую претензию.

Быстро подлетел автомобиль. Прошло две секунды, но Нике показалось, что прошла целая вечность. Захрипел рычаг тормоза, Ника от неожиданной остановки едва не вылетел. Государь поднялся со скамьи. Наследник побежал к нему. Государь стал очень бледен. Он сильно исхудал за это время. В бороде отчетливо сквозила седина. Он вопросительно смотрел на Нику.

— Ваше Величество, — проговорил Ника, — садитесь скорее с Наследником. Мы приехали спасти вас.

Государь отрицательно покачал головою. **Быть может, он не поверил. Ника перекрестился.** — Ваше Величество, мы Русские люди. Мы глубоко страдаем от вашего ареста и приехали спасти вас и Наследника. Садитесь, Ваше Величество.

Наследник смотрел любопытными глазами на Нику. Государь молчал. Автомобиль тихо шумел, машина работала на холостом ходу.

— Ваше Величество, вы не верите нам, — задыхаясь от волнения сказал Ника. Ей Богу, правда! Мы старые дворяне, верные слуги ваши.

— Я вам верю, — отчетливо сказал Государь, и лицо его стало дергаться едва заметною болезненной дрожью. — Но я исполню долг до конца. Да совершится воля Божия и моего народа надо мною. Русский народ не сделает мне ничего худого, как я ничего худого не желал народу.

Из дворца бежали солдаты караула и впереди их был Гайдук.

— Хватай силою, — крикнул Павлик.

Наследник заплакал и прижался к Государю.

Все тело Ники обмякло. Он не мог прикоснуться к Государю. Прекрасные выпуклые глаза Государя с глубокою скорбью устремились на него.

— Вы не сделаете насилия. От этого будет только хуже, — тихо сказал Государь и пошел к караулу, как бы ища у него защиты.

— Все потеряно, — сказал Павлик.

— Садитесь, — проговорил Петров, — ничего. Удерем.

Павлик втащил Нику в автомобиль и сейчас же заскрипело железо конуса, автомобиль прыгнул, как застоявшийся конь и помчался по мягкому песку. Сзади затрещали выстрелы.

— Это по нам, — сказал Петров. — Господи, Твоя воля.

Автомобиль круто огибал лужайку. Через нее наперерез бежал Гайдук и что-то кричал часовому у ворот. Но было поздно. Мелькнули ворота, автомобиль качнулся на крутом повороте и помчался по шоссе, все ускоряя ход.

Все молчали. Ника не понимал, что случилось. Рядом сидел Павлик. Ветер свистел в ушах. Шоссе казалось ровным, гладким и белым. Не заметны были выбоины и темные следы луж, все сливалось в одну ровную белесоватую ленту. Быстро приближались, точно летели на встречу возы с сеном, лаюющая собака, серые избы деревни, палисадники, трактор с обступившими его крестьянскими телегами, ревел гудок, дети что-то кричали, поддали рессоры на выбоине у моста, покатались по доскам, внизу видна темная вода, и вот далеко впереди легло ровное, как стрела, шоссе и хвойный лес елями и соснами тесно обступил его с обеих сторон. Петров замедлил ход и обернулся. Сзади на многие версты вытянулось шоссе и на нем не было видно ничего.

Ну что, же, господа! Сорвалось. Теперь вам надо скрываться. Солдаты выдадут. Поехали пока что к мамаше, а там посмотрим, как быть.

— А как же вы, Петров?

— Я отверчусь. Меня никто не знает. Разве машину узнали? Так опять я уже ночью буду на месте. Машину на место, а сам спать. Ничего. А вас солдаты знают. Так ладно — к мамаше?

— Хорошо, — сказал Павлик.

Его воля была подавлена, и он сам не знал, что делать.

В темноте автомобиль свернул, перелезши пологую канаву, в лес и остановился.

— Вы, Павел Николаевич, покараултье пока машину, а я отведу Николая Николаевича к нашему дому.

Больше часа шел Ника за Петровым по тесной лесной тропинке. Колючие ели хватали за лицо, под ногами пищала сырая земля. Наконец показалась прогалина, лесное озеро и шесть домов, улицей вытянувшихся вдоль него. Месяц, уже ущербный, всходил над озером и отражался лукаво и таинственно в темной воде. Хрипло залаяли собаки, но нигде не показалось огонька. Все так же темными окнами смотрели избушки.

Петров долго стучал в двери. Наконец раздались шаги и старческий голос спросил — чего надо?

— Это я, мамаша, — сказал Петров. — Постоялец привел.

Дверь открылась. Освещенная маленькой копящей жестяной лампочкой стояла в дверях плотная старуха, кутаясь в серый шерстяной платок. Она добрыми глазами оглядела Нику и проговорила:

— Ну, проходи! Спаси тебя Христос. От солдат, что ли спасаешься?

Ника вошел в темные, пахнувшие курами сени.

XV.

30-го июня в Александровском дворце с утра была свита. Государю было объявлено, что временное правительство, для его личной безопасности, решило отправить его с семьей в Тобольск. Ему гарантировали безопасность и обещали возможно лучше обставить жизнь его и семьи. Большая часть лиц свиты и служащих добровольно решили ехать с Государем и не покидать его нигде. Государь просил отправить его на Юг, ввиду плохого здоровья наследника, но в этом ему было отказано.

Утром во дворец привезли икону Знамения Божией Матери. В зале собралась Царская Семья, свита и служащие, Кругом плотным кольцом стали вооруженные солдаты. Высокий красивый священник с русой седеющей бородою, служил молебен по случаю дня рождения наследника, а после напутственный. Вся семья горячо молилась. Молились и

лица свиты. Никто не знал, что ожидает их дальше. Мягкий голос священника раздавался по залу, клубились синеватые струи кадильного дыма и слышались тихие вздохи лакеев и служителей. Солдаты притихли. Они не стучали, как обыкновенно, прикладами, не кашляли и не сморкались. Солнце заглядывало в окна и сияло на ризе священника, на золотой оправе образа, на налое. Лица Государя и Императрицы были бледны и сосредоточены.

Священник поздравил с новорожденным и пожелал счастливого путешествия.

Следующий день 31-го июня прошел в сборах. Настало время, когда обыкновенно ложились спать, но Царская Семья не расходилась, ожидая поезда. К ней приехал брат Государя Великий Князь Михаил Александрович, но его не допустили до Государя. Солдаты толпились по залам и комнатам. На полу и на стульях валялись их ранцы и мешки с поклажею. Около полуночи раздались чьи то быстрые, решительные шаги и среди солдат шорохом пронесся говор — Керенский!.. Керенский!..

Среднего роста плотный человек, с лицом сальным, бледным и нездоровым, усталый с набухшими веками, бритый, рыжеватый, в суконном френче без погон, шараварах и башмаках с обмотками, прошел в комнату, где был караул и обратился к солдатам с речью. Он говорил сильными короткими фразами. Смысл фраз был льстящий солдатам, тон речи был тон приказания.

Солдаты теснились кругом Керенского, смотрели ему прямо в рот, как будто бы хотели глазами увидеть те круглые звучные слова, которыми он выпаливал в них.

— Товарищи! — говорил Керенский, — вы несли охрану семьи бывшего царя здесь. Вы должны нести охрану и в Тольском, куда переводятся Романовы...

Большинство солдат были молодые, поступившие на службу уже во время войны, но был между ними и один пожилой унтер-офицер стрелок. Он слушал напряженно каждое слово Керенского и ничего не мог понять. Пять лет тому назад, все Царское с ликованием справляло этот день, и он,

стрелок, ходил по городу и смотрел на иллюминацию. Толпы народа днем теснились на улицах, ожидая выезда Новорожденного и когда он проезжал с Императрицей, народ снимал шапки и кругом слышались умиленные голоса:

— Раскрасавец наш! Ангелочек! Херувим небесный.

И он сам смотрел на Наследника и восхищался и боготворил его.

Что же такое произошло за эти годы? Что случилось? Была война. Были победы... А потом?

— Завоевания революции! — слышались резкие властные слова.

„Да где же эти завоевания”, думал старый унтер-офицер, „Когда, почитай, по всему фронту наши отступили, а по всей армии, слышать, бунты идут”.

— Демократия взяла власть в свои руки, она не желает мстить, или сводить счеты с Романовыми...

Ах, непонятно все это было старому унтер-офицеру и тяжело сосало у него от этого под ложечкой.

Керенскому доложили, что великий князь Михаил Александрович ожидает разрешения проститься с Государем.

— Хорошо! В моем присутствии, — кинул Керенский.

Это свидание продолжалось десять минут и прошло почти в молчании. Что могли сказать братья — так много чувствовавшие в эти минуты, когда так нагло смотрел на них маленький рыжий человек, в руках которого была их судьба и судьба всей России.

— Ну, храни Тебя Господь! — сказал Государь, обнимая брата.

Вся семья посидела на увязанных вещах и стульях по Русскому обычаю, потом спустились вниз и долго размещались по автомобилям. В ночном сыром воздухе глухо звучали голоса. Липы шумели, точно прощались с своими владельцами.

Ах! эти липы, столько воспоминаний связано с ними и столько прекрасных дней они видали. Ярких, светлых, золотых дней, века Екатерины и Александра.

На вокзале Государь и его семья сидели в пустом зале на стульях. Кругом толпились солдаты. Уставший за день, разморившийся Наследник спал в неловкой позе на вещах и лицо его горело нездоровым румянцем. Императрица сидела над ним. Поезда все не было. Приходили и уходили люди, шептались о чем то, бегали на телефон и обратно и тревога была на их лицах. Рабочие депо не выпускали паровоза для Царской семьи. Они требовали разрешения Совдепа. Приказ Временного Правительства был им не указ.

Несколько раз Государю говорили, что все готово, он одевал пальто, но сейчас же приходил кто-нибудь и говорил:

— Извиняюсь, господин полковник, еще придется подождать.

— Это мне надоело, наконец, — сказал Государь, и, не снимая пальто, сел в углу зала.

Летняя ночь проходила. Мутный рассвет полз в окна и туман покрывал пути и поля за ними. Гасли сигнальные фонари.

— Пожалуйста, готово, — доложил командированный Керенским прапорщик Ефимов.

Государь вышел на площадку. Но поезда не было. Инженер Макаров, командированный от Временного Правительства, доложил, что поезд стоит на запасном пути и пошел показывать дорогу. Государь шел за ним, ведя под руку Императрицу, спотыкавшуюся о рельсы и стрелки. От бессонной ночи ее большое сердце ослабело и она едва передвигала ногами. Трудно было лезть на высокие ступеньки.

Наконец разместились. Член Государственной Думы Вершинин сказал, что можно ехать.

В шесть часов десять минут утра 1-го августа поезд медленно тронулся и пошел, отвозя в заточение Государя и его семью... Стрелки 2-го и 4-го полков сопровождали их.

XVI.

В середине августа Морочненский пехотный полк, стоявший в двадцати верстах от позиции, получил приказ идти в окопы, на смену Павлиновскому полку. Приказ был подписан командиром корпуса, тем самым генералом, который не умел отличить фокса от мопса. Он вступил в командование корпусом вместо Саблина, который был отозван в Ставку.

В полку, по случаю приказа, был митинг. От того правительства, которое временным Правительством не было признано, но которое в виде „советов солдатских и рабочих депутатов” появилось везде и с которым деятельно сносились учрежденные правительством Керенского и Гучкова всякие фронтовые, армейские, корпусные, дивизионные, полковые и ротные комитеты, вышло указание, что не всякий приказ начальника подлежит исполнению без обсуждения. Приказы разделялись на боевые, которые всякий обязывался революционной дисциплиной беспрекословно исполнить, и не боевые, которые прежде исполнения разрешалось, а иногда и рекомендовалось обсудить, не направлен ли он против завоеваний революции, не является ли он актом, стремящимся все повернуть опять к старому режиму, под офицерскую палку, так как все генералы и старшие начальники поголовно были заподозрены в контрреволюции.

Митинг собрался вечером, накануне выступления, на площади небольшого польско-еврейского местечка подле красного кирпичного костела и большого, разоренного солдатами палата, польского господского дома. Серая толпа солдат, тысячи в полторы, сгрудилась на площади около небольшого возвышения, хранившего остатки красного кумача и лент, построенного в „счастливые” дни мартовской революции по требованию местных революционных властей. Наваливаясь друг другу на плечи, луца непрерывно семечки, перекликаясь друг с другом и прерывая ораторов замечаниями с мест, солдаты слушали то того, то другого офи-

цера, или солдата, выходявшего уговаривать их в необходимости исполнить приказ.

Первым говорил Верцинский. Длинно и желчно он говорил о необходимости победоносно закончить войну в полном согласии с союзниками, о том, что Россия одна жить не может, что ей необходима Западно-европейская промышленность, что для победы союзников нужно, чтобы наш фронт хотя бы продержался до тех пор, пока союзники смогут нанести Германии решительный удар, что Павлиновский полк стоит бессменно второй месяц, солдаты обовшивели и им необходимо дать возможность отдохнуть и оправиться, что Морочненцы уже зажились в осаде и пора им и честь знать, а потому приказ командира корпуса правильный и его необходимо исполнить.

Под гром аплодисментов Верцинский сошел с трибуны и на его место влез молодой прапорщик Долотов. Прапорщик этот приехал в полк месяц назад из Ораниенбаума с пулеметных курсов, отличался большою трусостью и в осаде сошелся и открыто жил с молодою еврейкой.

— Товарищи, — воскликнул он, подлаживаясь и голосом и манерой к тону развязных солдат, мастеров зубоскалить и занимать толпу неожиданными вопросами, на которые сам же тут же и давал ответ. — Товарищи, я вас так прошу к примеру, что этот приказ боевой, или не боевой? Потому, ну ежели боевой, так уже крышка -- расходишь и сполняй без никаких рассуждений... Что, товарищи, гремят там на позиции пушки, слышон пулемет? Наши товарищи изнемогают в неравном бою? Потребовались резервы? -- Ой, товарищи, что-й то не слышно. Тишь, да гладь и ожидание мира. Так вот я вам и говорю, что приказ это не боевой, потому что никакого боя, значит, нет — верно — чтьоль?

— Правильно, правильно, — загудела толпа.

— А потому и поговорить, значит, можно и дозвоительно, к чему ведет этот приказ. Вот господин капитан говорил, чтобы, значит, стоять на позиции до полного окончания, до победы над врагом. Правильно это по вашему?..

— Правильно, — раздалось несколько неуверенных голосов.

— А по мне, товарищи, и совсем даже неправильно. Народ хочет одного. Мира! И объявлено в лозунгах на священных знаменах революции: — „мир без аннексий и контрибуций”. Мир, а не война. А нам все талдычат о войне. Кому война нужна? Не бедному же человеку, который пошел и дома в хате с прогнившей соломенной крышей оставил с голода помирать семью. Война надобна богатым помещикам, да капиталистам, которые на ней наживаются. Вы чего хотите? Мира, или войны?

— Мира!.. Мира! Давно пора кончать эту канитель.

— Повоевали достаточно.

-- Пора и по домам.

— Правильно, товарищи. А ежели мы будем смену делать, да усиливать позицию, что из того выйдет? Там, дома помрут все с голодухи, вас ожидаючи, а вы все будете в окопах гнить. Мое предложение такое: — оставаться здесь, приказа не исполнять. Павлиновскому полку предложить воткнуть штыки в землю и разойдтись. Повоевали и буде! Которые, ежели согласны, прошу поднять руки.

Целый лес рук поднялся над толпою. Темные, грязные, загорелые кулаки нависли над нею и несколько секунд грозно стояли, показывая свое полное согласие с оратором.

Долотов, улыбаясь нехорошей усмешкой, спускался по лесенке трибуны.

— Что, сколько получил, товарищ, — спросил его мрачного вида солдат, стоявший ближе к лестнице, но Долотов, ничего не отвечая, скользнул в толпу и только лицо его побледнело и глаза забегали по сторонам.

На трибуну вошел старый чернобородый капитан. Он был любим солдатами.

— Товарищи, — сказал он, — вы меня знаете. Я из народа и всегда был с народом. Я сочувствовал и во времена монархии революционному движению, я верил в него и за то не мало страдал. Я надел этот красный бант, символ восставшего народа, не для того, чтобы стать изменником своим

боевым товарищам французам и англичанам, а для того, чтобы выполнить свое обещание и довести войну до победного конца. Вынося решение не исполнять приказа и прекратить войну вы показываете, что вы не сознательные солдаты, не свободный народ, а как правильно назвал вас подобных глава нашего правительства, товарищ Керенский, — взбунтовавшиеся рабы!

— Довольно! Буде! — раздались голоса.

— Слыхали!

— Офицер говорит, сейчас слышать куда гнет.

— Революционер какой объявился.

— Погоны ясные, а душа темная!

— Знамо деньги не зря получают. Продажные души!

— Товарищи! — воскликнул, бледнея, капитан. — Вас обманывают! Среди вас провокаторы и шпионы.

— Сам провокатор!

— Товарищи, вам говорили о разорении войною крестьян! Все разорены! Не достаточно вам говорит этот прекрасный господский дом с разбитыми стеклами в окнах, с порванной мебелью. Всех равно разорила война.

— Ишь ты! Кого пожалел! Помещика!

— Ты бедного пожалей! Богатый то в этом нужды не имеет.

— Грабил народ, теперь его потрепали, жалеть нечего. Свое получил. Заслуженное, значит.

— Товарищи!

— Долой его!

— Волоките его оттеля!

— Довольно!

— Долой! Долой его!

Капитан болезненно улыбнулся и сошел с трибуны. На душе у него был мрак. „Что же это?“ — думал он, — „ужели я ошибался, веря в народ, а царское правительство было право, не давая ему свободы. Что же дальше, дальше, что будет?“

Серый солдат, неловко карабкался на трибуну. Оглянув толпу, увидав тысячи глаз, смотревших на него, он на ми-

нута смутился, но сейчас оправился, улыбнулся широкой улыбкой, скинул с себя шапку и крикнул: —

— Привет товарищи, честному народу... Да.. А идтить на позицию надо. По крестьянству, значит, следоват. Они там устали, а мы отдохнули. По справедливости! И пойдём! Не по приказу, значит, а по крестьянству, по справедливости. Пущай отдохнут! Знай наших Морочненских. Всегда товарищи хорошие были. Не подгадим!!

И он, взмахнув фуражкой над головою, сошел с трибуны. Гром аплодисментов и крики — правильно, правильно! — сопровождали его.

— Вот этот так поставил точку! — смеясь говорил поручик солдату, — настоящий окопный дядя.

Толпа расходилась. Близилось время ужина. Летняя сумерки надвигались. Обычно в такие часы то тут, то там завелась бы песня, заверещала бы гармоника, собрался бы кружок слушателей, но теперь после ужина всюду были кучки солдат, слышались тихие речи, вопросы без ответа и хмурились брови и темно становилось на душе.

— Как вы думаете, Казимир Казимирович, — спросил Козлов у Верцинского, — пойдут, или нет?

— Все зависит от погоды, будет погода хорошая, может, и пойдут... — сказал Верцинский.

XVII.

За эти четыре месяца Козлов постарел лет на десять. Арест своими же солдатами, разложение армии, сломили его. Из Райволово он получал редкие, но хорошие письма, и если что беспокоило его, так это только мучительное ревнивое подозрение, которое зародилось в нем по одному пустому случаю. Он шел весною ночью по местечку, занятому его полком. Благоухали развесистые липы, млели под лунным светом пирамидальные тополи, белые хаты казались нарядными, цвели каштаны. С соседнего болота слышался неугомонный хор лягушек. Луна светила с темносинего, усыянного звездами неба. Сердце смягчилось от близости при-

роды, хотелось верить в лучшее будущее, и примириться с печальным настоящим. Кое где горели костры — солдаты пекли краденую картошку. После революции они пели мало, больше толковали, злословили, осуждали и строили планы будущего.

— А помнишь Осетрова, — говорил кто то невидимый из под самого ствола раскидистого дуба, — слышать с командирской женой в Питере путался. И Гайдук тоже. Все бабы, как бабы. А что товарищи, картошка не готова? Я так думаю. Ежели землю делить, то надо поровну и непременно в собственность, потому какое же хозяйство возможно, ежели земля не твоя и сыну твоему не перейдет.

„Может быть это мне послышалось”, — подумал Козлов. — „Разве может Зорька? Милая Зорька... А вот подойди и спросить? На каком основании такие речи?”

Он уже сделал два шага к говорившим, но остановился и пошел прочь. Спросить, значит, поверить, а поверить? — что же тогда останется в жизни, когда все святое отнято и растоптано во прах: — и Царь, и Бог, и Родина... Неужели и семья? Нет, это послышалось. Козлов так уверил себя, что эти страшные слова не были сказаны, но померещились ему, что перестал о них думать... Но забыть не мог. И часто, среди тяжелых дум о России, его мозг, как молния, прорезывала мысль: — „Осетров с командирской женой путался и Гайдук тоже”. Теперь и Осетров и Гайдук были в Совете, но теперь этого быть не могло. Зорьки не было в Петербурге... А ведь было тяжелое время, осенью, когда не было от нее писем. Молчала она. Что тогда было? Спросить ее?.. И так жизнь несладка, и без того ни мечтаний, ни надежд, а тут эта страшная мысль. Он прогонял ее и она уходила, но потом возвращалась снова и мучила, его бессонными ночами.

В эту ночь после митинга Козлов тоже не спал. Он думал о Зорьке, о ее последнем письме и не понимал, как могла она его изменить и так писать. Нет. Она его ждет... Он думал о полке. В полку его ординарцем был унтер офицер Железкин. Тот самый Железкин, который под Новым Корчиным

грудью своею заслонил его, окопал его в землю и которого он спас потом при атаке. С тех пор Железкин не расставался с ним.

— Никогда, ваше высокоблагородие, не забуду, что вы для меня сделали. Детям завещаю благословлять вас. Умирать буду, а вас не оставлю, — часто говорил ему Железкин.

У Железкина было два георгиевских креста и он был произведен в младшие унтер офицеры. Козлов хотел его сделать взводным, но Железкин был совершенно неграмотен и так туп, что, как ни бились с ним, не мог осилить и азбуки. Козлов сказал, что он рад бы произвести его в старшие унтер офицеры, но его стесняет его неграмотность. Железкин прямо в глаза посмотрел своему командиру и сказал:

— Куды ж мне, ваше высокоблагородие взводным быть. Я и так премного вами благодарен. Не чаял никогда и унтер офицером то быть. Не беспокойтесь. Я и так по гроб жизни вам обязан.

На второй месяц после революции Железкин явился как то вечером к своему командиру и заговорил упрямо и настойчиво.

— Ваше высокоблагородие, я к вам с просьбою. Ходатайствуйте о моем производстве в подпрапорщики. В Павлинновском полку многих произвели.

— Что с тобою, Железкин, — сказал Козлов.

— Как я, значит, геройски с вами воевал и всегда защита вам был, то вы бы могли обо мне позаботиться. Нынче это можно и без всякого разговора.

Козлов отказал Железкину. С тех пор, наружно, между ними оставались прежния отношения, но Железкин избегал смотреть в глаза своему командиру и не любил вспоминать про прежние геройские дела и службу в Зарайском полку.

— Так, серость одна тогда была, — сказал он как то Козлову. — Мы, ваше высокоблагородие, несознательные были. Нас в темноте держали. А теперь нам все открыто.

Козлов посмотрел на Железкина. Железкин смотрел мимо Козлова куда то в угол.

— Что же вам открыто? — спросил он солдата.

— Да вот, что в темноте нас держали. Дисциплина эта самая. Наказания.

— Железкин! Разве кто либо когда наказывал солдата без вины. Ты был хорошим солдатом, разве я когда тебя бранил? — воскликнул Козлов.

— Никак нет. А только — могли, что хотели сделать.

— И опять таки неправда. На все был закон и против закона ни я, да и никто ничего не мог сделать.

— Какой уже закон... мрачно проворчал Железкин, — закон то был Царский. Один произвол!

И Железкин вышел из землянки.

Все это вспоминалось теперь Козлову. В ротные комитеты не было избрано ни одного офицера, больше половины членов комитетов были евреи, или самые развращенные солдаты, подвергавшиеся частым наказаниям, бывшие под судом. Председателем полкового комитета был Верцинский, над которым смеялись солдаты, который ни во что не верил и ничего и никого не признавал.

„Что же это такое?“ — думал Козлов, ворочаясь с боку на бок на узкой койке. „Что же будет от этого? Начальству виднее... Но где оно, настоящее то начальство?“

XVIII.

Утро выступления на позицию было серое и туманное. Падала с неба какая то мокрота. Однако полк поднялся, зашумел и с говором и шумом выступил из деревни.

В десяти верстах от места ночлег, на пол пути до позиции протекала река и на ней были мосты, охраняемые казачьими караулами. Здесь должен был быть большой привал. Серую толпою с глухим гомоном надвигались солдаты. Шли уныло, медленным шагом. Ни в одной роте не пели. Старых песен петь не хотели, стыдились их, а новых знали слишком мало.

— Стой! — раздалась команда, когда головная рота подошла к реке. — Стой... повторилась она во всех шестнадцати ротах. И, не дожидаясь разрешения, солдаты стали са-

даться, где попало по сторонам дороги и закуривать папироски.

И только что они сели, как среди них появился матрос. Он был в заломленной на затылок матросской безкорызке с лентами, в рубаше с голою грудью и шеей и в широких, раструбом вниз, шароварах. Он появился с недалекой от места привала станции железной дороги. Молодой, юркий, наглый, он повертелся в одной группе солдат, потом в другой, третьей и вдруг от полка стали отделяться сначала одиночные люди, а потом и целые группы и бежать на мост. Взбежав на мост они снимали с себя патронташи и высыпали патроны в реку. То тут, то там щелкнули винтовки, солдаты стреляли вверх. Это продолжалось несколько секунд, потом словно сумасшествие охватило весь полк. По величественному дубовому лесу, подходившему к реке, затрещала непрерывная бешеная стрельба, солдаты вынимали патронные ящики, хватали пулеметные ленты и бросали все это в реку.

Долой войну! — неслось то тут, то там, среди криков и выстрелов.

Где то вправо сотни голосов дико и грубо заревели на мотив марсельезы:

Мы пожара всемирного пламя,
Молот, сбивший оковы с раба
Коммунизм — наше красное знамя
И священный наш лозунг — борьба:

К ним приставали голоса.

Весь полк расстреливал патроны, отраженные лесным эхом выстрелы казались громче, в самом лесу затрещал один, потом другой пулемет, а марсельеза, хрипящая и дикая, то разгораясь, то утихая неслась по берегу реки и подхлестывала людей. Слова знали немногие, им вторили без слов и временами песня становилась диким и грубым воем.

Против общего злого вампира,
Против шайки попов и господ,
Встаньте все пролетарии мира,
Обездоленный черный парод!

Встаньте рыцари нового строя!
Встаньте дети великой нужды,
Для последнего страшного боя
Трудовые смыкайте ряды!

— Долой войну!.. Долой офицеров!... Арестовать их!

При первых выстрелах Козлов вскочил на лошадь и поскакал к солдатам.

— Вы съума сошли! — крикнул он. — Кто вы такие? — Немцы?.. Немцы? С немцами за одно? Перестать стрелять! Господа офицеры по местам!

Бледные лица были кругом. Глаза были страшны, люди не понимали, что произошло. Из местечка бежали сторонние солдаты и несли красные знамена.

— Хватай командира, — крикнул кто то, и Железкин схватил лошадь Козлова под уздцы. Толпа окружила его. Козлов хотел вынуть револьвер из кобуры, но его движение угадали. Кто-то из солдат, вцепившись обеими руками в кобуру, оторвал ее вместе с револьвером. Пение и стрельба прекратились, все сгрудились в одну кучу, страшно дышащую; кругом были дикие безумные глаза.

Тащи, тащи его! — распоряжался кто-то в толпе.

Грубые руки схватили Козлова за ногу, его сняли с дрожащей, покрывшейся потом лошади и поволокли к лесу. Все время подле него был Железкин. Он не трогал Козлова, и смотрел на него тупо, а лицо его было белое, искривленное ужасом.

— Железкин, — сказал Козлов, — помнишь Новый Корчин?

Железкин отвернулся.

— Братцы, что вы делаете! — воскликнул Козлов со слезами в голосе. — У меня жена, дети.

— К дереву его!.. Вот так. К дубу. Хорошенько крути ему руки.

— Что вы хотите делать со мной!? — воскликнул Козлов. — За что?!

— А мало вы кровушки нашей попили!

— Капитана вяжи! Революционера вчерашнего!

Люди теснились, отдавливали друг другу ноги, спотыкались падали, вставали и шли, толкаясь и тяжело дыша.

— Где веревка? — спросил кто-то деловито и озабоченно.

— Посмотри на фурманке, кажись, там была.

— Что-ж, так порешим, или пытаться будем? — спросил молодой парень без фуражки со всклокоченной лохматой головой.

Щелкнул одиночный выстрел.

— Матрос поручика порешил, — сказал кто-то подле Козлова... — Из револьверта.

— Начинать, что-ль?...

Люди дрожали и не походили на людей. Слова прыгали и срывались с губ произвольно. Никто не понимал ни того, что говорил, ни того, что делал.

— Раздеть надо.

— Так порешим.

— Безпременно надо раздеть. Кителю жалко. Китель невый. Как-же так-то?

С Козлова стянули китель.

— Постой, товарищ, а сапоги?

— Ишь ловкий какой. Ты что-ль возьмешь?

— Сапоги делить будем. По жребью. У него хорошие.

— Тащи говорю.

На ходу, Козлова схватили за ноги и стащили с него сапоги. Он уже не шел, но его несли, приближаясь к лесу.

— Шаравары снимай!

— За чево?

— Чево? Чево? А часы? Деньги?

У большого старого дуба, Козлова, полуобнаженного, босого прикрутили веревками к стволу. Он смотрел широко раскрытыми глазами на солдат. На секунду молнией прошла мысль: — „Осетров с командирской женой путался, да и Гайдук тоже”.

Он поднял глаза к небу. Серые тучи низко нависли. В воздухе парило. Над головою был тесный зеленый переплет ветвей, молодые жолуди красивыми блестящими точками

были рассыпаны среди листвы. Все было так красиво, так очаровательно в Божьем мире, что Козлов понял, до чего мучительно он хотел жить.

Железкин стоял против него и не то с сожалением, не то с недоумением смотрел на него.

— Братцы! Или вы во Христа не верите! За что же! — воскликнул он.

— Судить что-ль будем? — нерешительно сказал он, обращаясь к толпе.

— Войну кто проповедывал, а? До победного конца? А? — раздались голоса.

— Мало кровушки нашей попили!

— Постой!

— Стрелить что-ль?

— Мало его стрелить. Ишь, какой белый.

— погоди, товарищи! Как учили! — воскликнул молодой растрепанный солдат, становясь в полутора шагах от Козлова в боевую стойку с ружьем.

— Прямо коли и назад прикладом — бей! — со смехомскомандовал кто-то из толпы.

Страшная острая боль заставила содрогнуться все тело Козлова. Низ рубахи и подштанники его окрасились темною кровью. Лицо позеленело, штык пробил его живот и воткнулся в дерево, солдат с остервенением повернулся кругом, перевернул винтовку прикладом вперед и с размаха ударил затылком приклада по лицу Козлова. Хряпнули кости. Нос, рот, все слилось в одно сплошное кровавое пятно, страшно глядели из него еще живые, наполовину выскочившие из орбит, глаза. С мучительным стоном Козлов стал опускаться книзу.

— Довольно! — крикнул кто-то.

— Прикончить надо, ишь хрипять.

Несколько выстрелов раздалось по безформенному залитому кровью лицу Козлова и он затих.

— Ай-да, товарищи, в посад! Наши уже там. Гуляют.

Все бросились долой от трупов.

— Бей жидов! — крикнул кто-то из толпы.

Солдаты тащили еврейских женщин, девушек и подростков и волокли их в лес. Солдат тянула невидимая сила туда, где пролита была невинная кровь, где привязанный к дубу склонившись книзу стоял неподвижный и страшный Козлов, где лежали трупы капитана, поручика и шести молодых офицеров с сорванными погонами и с разбитыми выстрелом в упор окровавленными черепами. Там, между мертвых, солдаты копошились толпами по пятнадцать, по двадцать человек, делая свое гнусное дело. Оттуда неслись тяжелые хрипы, стоны, истеричные вскрики, мольбы, женский плач, грубый хохот и жестокие шутки.

Люди пиروвали и тешились над добычей...

Люди делали дело, на которое никогда не решился бы зверь.

— Волоки старуху, товарищ!

— На чужой стороне и старушка Божий дар.

— Умерла что-ль девчонка-то?

— Кончилась.

— А ты мертвую?

— Ничаво. Еще теплая.

Солнце так и не вышло из-за серых туч посмотреть на тот ужас, который творился революционными войсками. Вечер надвигался тоскливый и жуткий. Дождя не было, но парило над землей.

— Что-ж это братцы? Что нам за это буде?

— Да... Натворили.

— На позицию!

— Пусть Верцинский ведет!

— На позиции, товарищи, никто не тронет. Там немец. Ежели кто придет — белый флаг кинем и к нему перемахнем.

— Становись по ротам!

— Ищи Верцинского.

— Не удрал ли?

— Много их сволочей поудирало, как погоны рвать стали.

— Донесут.

— Гляди, кабы погони не было.

Роты запружали мост и шли по дороге к позиции, смятенные и трусливые.

Внизу у моста, на той стороне, над самой рекою, согнувшись сидел Верцинский. Он опустил голову на руки, тупо глядел на несущуюся мимо него темную реку и шептал:

Мы — пожара всемирного пламя,
Молот, сбивший оковы с раба.
Коммунизм — наше красное знамя
И священный наш лозунг — борьба.
....
Наших братьев погибших миллионы,
Матерей обездоленных плач,
Бедняков, искалеченных стоны
Скажут нам, где укрылся палач!...

На том берегу, в дубовой роще было тихо, но Верцинскому казалось, что он все еще слышит стоны замучиваемых офицеров, хрипение умирающего Козлова и плач, истеричный смех и вопли несчастных женщин. Ему казалось, что он различает между деревьев в траве их белые неподвижные тела.

„Что же это? Что же это?“ — шептал он. „Или это не революция, а бунт, Русский бунт, про который сказал Пушкин — Русский бунт, бессмысленный и беспощадный...“

„И это нужно и это неизбежно? И это эксцессы революции? И это начало...“

— Ваше благородие! — услышал он голос над собою. А, ваше благородие.

Перед ним, вытянувшись и держа руку у козырька, стоял тот самый солдат, который убил Козлова.

Верцинский посмотрел на него.

— Полк просит ваше благородие, чтобы вы вели его на позицию.

Верцинский вздохнул, покорно встал и пошел наверх на дорогу, где в темневшем воздухе видны были молчаливые,

стоявший в порядке роты. Он заложил руки глубоко в карманы своих шаровар и опустив голову зашагал впереди полка.

В душе было пусто: ни мыслей, ни чувств.

ХІХ.

В одиннадцатом часу вечера Морочненский полк подошел к позиции. Два батальона должны были остаться на лесной прогалине в землянках, два занимали окопы. Командир Павлиновского полка, молодой офицер генерального штаба, принял Верцинского вместе с председателем полкового комитета, солдатом из интеллигентных евреев, молодым человеком с бледным тонким лицом, большими выпуклыми глазами и толстыми чувственными губами. Он был в шинели без погон и первый протянул руку дощечкой Верцинскому. В землянке горела керосиновая лампа. В ней было тихо, как в могиле и пахло землею, сыростью и холодным табачным дымом.

— Что так поздно, товарищ, — сказал офицер генерального штаба. — Мы слышали бешеную пальбу в тылу и думали не совершили ли на вас нападение германские аэропланы.

Верцинский посмотрел выразительно на председателя комитета.

— Говорите при товарище Зоненфельде. У меня от товарищей солдат тайн и секретов нет. Вместе клялись братски служить под красным знаменем революции, — сказал командир полка.

— Дело в том, — сказал Верцинский, — что сменять то мы вас пришли, но не знаю, примете ли вы нас и передадите ли нам позицию. Мы пришли без патронов, без командира полка и почти без офицеров.

— Где же это все? — спросил командир полка.

— Патроны частью в реке, частью растареляны на воздух, командир полка, полковник Козлов, капитан Пушкин, поручик Звержинецкий, и шесть подпоручиков убиты сол-

датами, около сорока офицеров разбежалось, я даже не знаю хорошенько, кто у нас есть и кого нет.

Это известие не произвело большого впечатления ни на командира полка, ни на Зоненфельда.

— Этого надо было ожидать, — сказал Зоненфельд и в упор посмотрел на Верцинского.

— Да, — сказал и командир полка. — Козлов перетянул полк. Все к старине гнул. Он не понял нового революционного свободного солдата и поплатился. Царство ему небесное. Жалко, конечно, его, но нельзя было гнуть по своему и отрицать солдатскую волю.

— Погодите, еще натворили наши братцы, — сказал желчно Верцинский. — После этого убийства они кинулись в местечко Далин и совершенно его разгромили. Я не знаю, что там было, но насилия женщин продолжались до вечера и трупы их лежат в лесу под мостом.

— Это возмутительно, — воскликнул Зоненфельд. — Почему вы их не остановили?

— Я посмотрел бы на вас, как бы вы их остановили, — сказал Верцинский.

— Вы должны были употребить в дело оружие.

— Я никогда, ни против кого не употреблял оружия, это мое убеждение.

— Плехановская тактика, — насмешливо сказал Зоненфельд.

— Товарищ, я с вами заводить принципиальных споров не буду. У вас две мерки: одна для офицеров, другая для евреев и еврейских женщин. Вы — большевик, Ленинец. Вам кровь — ничто. Мне же, товарищ, всякое убийство противно и противоестественно и поэтому оставим этот разговор.

— Первое — казнь. Может быть жестокая, несправедливая, но казнь, месть народа. Второе — бессмысленное дикое убийство, Русское зверство, — горячо возразил Зоненфельд.

— Я, товарищ, смертной казни не признаю и всегда боролся против нее, — сказал Верцинский усталым голосом.

-- Оставьте, господа, — вмешался командир полка, — теперь не время спорить о принципах. Мы стоим перед голым фактом. Вы, товарищ Верцинский, кажется, юрист по образованию.

— Нет, я филолог и латинист.

— Ну, все равно. Вы должны лучше меня знать, что следует по закону за такое преступление, — сказал командир полка.

— Зачинщикам и главным виновникам смертная казнь, — начал Верцинский, но Зоненфельд перебил его.

-- Теперь, товарищ, смертной казни нигде нет. Это одно из главнейших завоеваний нашей революции. Говорить о смертной казни могут только такие реакционеры, как генерал Корнилов, наш новый главковерх, но помяните мое слово, товарищи солдаты ему этого не простят никогда.

— Оставьте, товарищ, — ласково сказал командир полка. — Нам необходимо выяснить обстановку. Допустим, что и смертная казнь в виду насилия над жителями будет признана необходимой. Нам, капитан, необходимо установить, кто ответствен за все это.

— Я думаю это невозможно сделать. Работала толпа. Из полутора тысяч человек я полагаю не принимало участия не более пятисот.

-- Господин полковник, — сказал Зоненфельд, — я думаю, что это дело правильнее всего передать в армейский съезд и политическому комиссару — он сумеет разобраться его и подойти к нему с революционной, а не обще-юридической точки зрения. Виновные в погроме необходимо должны быть строго наказаны, но, конечно, разстрелять тысячу человек, или даже судить тысячу нельзя. Необходимо выделить зачинщиков и главных участников и комполка это выяснит.

— Я этого вопроса ни разбирать, ни касаться не хочу, — устало сказал Верцинский. — У меня другой вопрос. Солдаты привели меня на позицию и идут в окопы. Но у них нет патронов. У них нет офицеров.

— Я вам помогу. Я передам вам половину своих патронов, да по существу это и неважно, — сказал командир пол-

ка. Войны с немцами у нас нет. Ни мы не стреляем. Каждый день на фронте впереди позиций идет меновая торговля и разговоры. Вчера мои пулемет променяли на бутылку рома и, знаете, прескверного. Я донес в штаб. Наш почтенный Абрам Петрович приказал показать пулемет утерянным в бою. Среди немцев много говорящих по-Русски. Наши болтают о мире. Идиллия, а не фронт. По моим сведениям против нашего полка стоит одна рота, с нами совсем не считаются и не собираются на нас нападать. Да будь у нас патроны, или не будь — солдаты определенно заявили, что драться не будут. Что касается офицеров — то примените в ротах выборное начало, сделайте первый шаг к истинной демократизации армии, о которой так много кричат, но для которой все еще ничего не делают, и уверяю вас, худого не будет. И так до лучших дней. Оставляю вам в наследство лампу и здесь в жестянке небольшой запас керосина. Я пойду распорядиться. Товарищ, идемте, — и командир Павлиновского полка откланялся Верцинскому.

Оставшись один, Верцинский, как был, в шинели и при амуниции, повалился на грязный сеник на топчане, доставшийся ему в наследство от Павлиновского полка и закрыл глаза.

Он очень устал физически и, особенно, морально. Он терялся в мыслях, путался в выводах. Когда он закрыл глаза — призраки обступили его. Он был без предрассудков, но в могильной тишине ему чудились стоны и вопли и, казалось, он слышал шорох одежд и множество рук тянулись к нему и хватали за край матраца и хотели взять его и потребовать от него отчета. „Я то при чем“, мысленно говорил Верцинский, — „оставьте меня“. Он открыл глаза. — „Какой скверный сон“, — думал он. Но он не спал. Это не было сном. „Ужели муки совести“, — думал он. — „У меня, муки совести, ха, ха ха!“ Он хохотал дико и громко над собою, как когда то хохотал над Саблиным и Козловым. „Муки совести, угрызения душевные — но почему, почему? Ведь я то, старый филолог и латинист, не причем в этой проклятой войне, в этом наследии жестокого царизма. Вся вина и вся кровь на

них, на дьявольском царско-полицейском режиме!” “Qui s’excuse — s’accuse!”*). Я не извиняюсь! Никогда, слышите, не извиняюсь”, — почти громко говорил он...

„А как же? Не ты ли, или тебе подобные, сочинили эту кровавую марсельезу и привили ее, как яд французской болезни, здоровому Русскому народу. Ты только сегодня, повторяя машинально слова нескладно петой песни, понял на опыте, чему ты учил. Ты — Русская интеллигенция. Не талдычили ли вы, как дятлы кору о прелестях французской революции и кровавое красное знамя мятежа не окутали ли вы флером красоты и свободы? Не отметились ли вы от кроткого учения Христа и не назвали ли вы христианское учение учением рабов? А что дали вы вместо этого? Мир хижинам, война дворцам?.. Эти маленькие еврейские домики с крошечными двориками, заваленными домашнею рухлядью, где копошатся красивые пучеглазые, в волнистых кудрях дети, так много, много детей, где сидят старики с библейскими бородами в длинных рваных лапсердаках, где сидят то молодые и красивые, то старые и безобразные женщины — это дворцы?

„Казимир Казимирович”, — обратился он сам к себе, — „я вас спрашиваю — „бей жидов!” — вы слышали этот крик, кринули вы, или — я знаю, вы скажете это, — крикнул бывший городской, член союза Русского народа, черносотенец...”

Верцинский застонал и повернулся лицом к стене. Призрак одной девочки его преследовал. Он видел ее, когда бежал на мост из дубового леса. Это была девочка лет двенадцати, с рыжими золотистыми волосами ниже плеч, с громадными черными глазами, опушенными длинными ресницами. Она была сытенькая и упитанная. Четыре солдата несли ее. Алые и пестрые юбки задрались и из под них видны были маленькие ножки в черных чулочках и повыше их нежное розовое тело. Она кричала и стонала и пухлые губы ребенка обнажали мелкие и чистые, как перламутр зубы. Сзади бежали старик и старуха. Они все забыли в своем бешеном горе,

*) Кто оправдывается, тот обвиняет себя.

они ругались и их сухие жилистые кулаки колотили в спины солдат, а цепкие, тонкие, как кости скелета, пальцы цеплялись за рубахи. „Это были люди из дворцов? И кто палачи?”

„Что же, все кувырком? Казимир Казимирович, сорок лет жизни вздор, сорок лет верований ничто? От гимназической скамьи и украдкой читаемых Писарева, Добролюбова и Герцена до Карла Маркса и Плеханова все ерунда? Надо петь — „с нами Царь и с нами Бог, с нами Русский весь народ”. А, Казимир Казимирович? какову загадочку то вам задала эта маленькая еврейская девчечка с пухленькими розовыми ножками?.. Пожалуй в пору было бы городского позвать, или за становым приставом с казаками спсылать?”

Верцинский сел на постель. Все тело его ломило страшной ломотою, лихорадка била его. „Это оттого”, сказал он, „что я не снял эти проклятые побрякушки”, он стащил с себя амуницию, снял шинель, одежду, сапоги и остался в одном белье.

„Веруешь ли ты во что либо?”, — спросил он сам себя. „В Бога, например, веруешь?” И твердо сказал: — „нет не верую, потому что если поверю в Бога, то поверю в будущую жизнь, а поверю в будущую жизнь, стану бояться, стану рабом, свободный человек не может веровать в Бога. Религия это опиум для народа”.

„А как же девчечка-то? был бы опиум — не было бы и девчечки?”

„А что такое она? Что такое старик и старуха с их бешеным горем?.. ну, было и прошло, пройдет неделя и опять считать копейки и рубли и в виде утешения ходить и плакать на могилу. Все вздор. Ну, убили Козлова? Скажите, какое преступление! А то, что послали в окопы на Лесищенский платц-д'арм и там газами задушили шесть тысяч человек это не преступление? Почему Царское правительство, объявляя или принимая войну, право, а рядовой Савкин, размалывая прикладом лицо подполковнику Козлову, не прав? Почему полковник Саблин, ведущий в атаку на батарею, на верную смерть дивизион рабов — герой и его награждают георгиевским крестом, а матрос, двинувший полк свободных солдат на убийство и насилие, на такое же убийство, — ибо

мертвым то все равно, — преступник? Почему Саблин, овладевший Марусей — принц... Да... так, говорил Коржиков, она называла его, — а солдат, овладевший девчонкой — зверь и насильник? Результат и того и другого все равно — смерть”.

„Вот в смерть я верю, а в Бога... нет”.

„И что такое Бог? Бог безсилен. Все то что делается теперь, начиная с войны противно Богу, а Бог не может остановить этого, Бог, не покарал никого, а вот те таинственные семьдесят, которые правят всем миром те создали и войну, и революцию, и убийство Козлова, и „бей жидов”, и девчонка их дело”.

„Они сказали: — вместо тихого песнопения и очарования религии — девчонка с розовыми ножками и садизм... А что? Не глупо придумано. Ха .. ха.... ха!.. Вот они то боги и если кому веровать и кланяться, так им... Ха. ха... ха!... Им, семидесяти таинственным!..”

Верцинский повалился на койку, натянул на голову шинель и старался заснуть. Но все казалось ему, что призраки наполняли землянку, все слышались полузадушенные стоны, крики и вопли и он ту же натягивал на голову шинель. Наконец ему показалось, что он забылся на одну минуту и сейчас же почувствовал, что землянка полна народом, что его трогают, тащут с него шинель. Он в испуге сбросил с лица шинель и открыл глаза. И точно землянка была полна людьми.

В узкие стекла окна и в раскрытую дверь входил ясный солнечный рассвет. В сизом воздухе землянки, наполняя ее всю и покрывая лестницу толпились солдаты. Они были бледны, от них пахло потом и прелым запахом проморившегося всю ночь без сна человека. Они совали какие то записки Верцинскому и говорили:

— Господин капитан — вот вам списки зачинщиков по ротам. Больше все вторая рота виновата, а мы, ей Богу, не причем. Мы, вот те Христос, освободить желали, а чтобы такое с евреями, мы даже убежали. И вот сапоги его принес-ли, носите, господин капитан. Потому сапоги добрые и мы,

чтобы ежели что взять, да ни Боже мой. Сейчас ребят отправляем, похоронять чтобы, значит, жертвы революции этой самой. За батюшкой думаем послать. Под присягу пойдем: — ни сном, ни духом не виноваты. Ей Богу! Как перед Истинным. Одна вторая рота. Да вот еще матрос. Кто его знает, откуда взялся!...

Верцинский смотрел на них и дикая улыбка сумасшедшего кривила его рот со сбритыми усами.

— Пошлите все в штаб дивизии. Я ничего не знаю, — сказал он.

— Слушаем, господин капитан, — послушно сказали солдаты и стали выходить из землянки. Косые лучи праздничного, веселого летнего солнца ворвались в нее и с ними вместе вошел веселый писк ликующих лесных птиц.

Верцинский повалился на койку и заснул крепким сном без сновидений...

XX.

В штабе корпуса дело об убийстве командира полка и офицеров и о погроме посада Далин решили передать не судебному следователю по особо важным делам, а в армейский съезд и командировать для выемки виновных комиссара армии с полком казаков и пулеметами. Это дело было не единичным и исключительным. Подобные эксцессы уже были в разных местах, и практика показала, что посылка следователя ни к чему не приводила. От военного министра Керенского были преподаны для таких случаев указания и рекомендовалось действовать с полной осторожностью, дабы напрасно не раздражать солдат.

Армейским комиссаром был прапорщик Кноп. Революционная волна сделала его сначала делегатом полка в совет солдатских и рабочих депутатов, потом он попал в исполнительный комитет этого совета, так называемый **исполком**, после апрельского переворота, в котором Кноп играл видную роль, руководя солдатами, он был послан комиссаром в армию. Солдаты его считали своим — он был членом

совдепа и исполкома — значит за ним были большие заслуги перед народом и революцией.

Попав на фронт, Кноп увидал совсем не то, что ожидал. Он попал как раз к июльскому наступлению на Тарнополь и к прорыву, подготовленному Керенским и руководимому Корниловым. Он видел восемьдесят офицеров, которые кинулись вперед с красными флагами и все полегли под выстрелами своих солдат, стрелявших им в спину. Он видел взбунтовавшийся, руководимый Дзевалтовским Гренадерский полк, он видел бегство сотни тысяч людей, убийства, насилия и грабежи, равных которым не знала мировая история.

Кноп открыто стал на сторону начальства. В просторном докладе он доказывал, что революция пошла по ложному пути и что надо восстановить авторитет старших начальников, надо вернуть дисциплину, хотя бы ценою смертной казни. Параллельно с этим он считал необходимым увеличить власть и влияние политических комиссаров. Тот самый Кноп, маленький смутьян, боровшийся против внутреннего порядка в запасном батальоне и против капитана Савельева, певший куплеты на вечере графини Палтовой, стал теперь равным командующему армией. В его распоряжении были автомобили, если при нем не было адъютанов, то за то подле него всегда вертелись услужливые члены местного Совдепа и армейского комитета, всегда готовые подслужиться своему. Корпусные командиры, начальники дивизий и командиры полков — одни игнорировали его, другие заискивали перед ним ища у него помощи и надеясь через него восстановить разрушавшиеся полки. Было отчего закружиться и более крепкой голове, чем у Кнопа. Кноп стал важен. Он оделся в Петербурге у лучшего портного, сшил себе элегантный френч, рейтузы и копировал в речах и манерах своего кумира Керенского.

Когда в штабе армии стало известно о кровавой расправе в Морочненском полку, Кноп явился на заседание местного совдепа, сделал огненный доклад, заручился поддержкой совдепа и обещанием утвердить все его постановления. По

телеграфу было сообщено в штаб корпуса, что он едет, и лучшая машина армейского гаража дана в его распоряжение.

Корпус, которым командовал старичек, не умевший отличить фокса от мопса, первый раз принимал у себя комиссара и встречать его решили, как самого командующего армией. Почетного караула не выставляли, но всем командам штаба было приказано выйти на улицу и не строем, но группами встречать комиссара.

— Да смотрите, говорил командир корпуса, — чтобы у всех были красные банты, а то знаете, наша солдатня, она совсем несознательная. Тогда генерал Саблин запрещал, иной и теперь побоится.

— Если господин комиссар вздумают поздороваться, спрашивал заменивший Давыдова исправлявший должность начальника штаба подполковник Стржалковский, — как отвечать прикажете?

— Гм..., задумался командир корпуса. — Как думаете господа?.. Я думаю надо что либо демократическое. Товарищ комиссар? Хорошо будет?

— Я думаю, удобно ли будет — „товарищ”, — сказал командир комендантской роты, старый капитан, переведенный из уездной полиции. Все таки комиссар. Начальство в некотором роде. И потом к слову — товарищ, не подойдет — здравия желаю.

— Вы, Иван Антонович, совсем еще старорежимный человек, — сказал Стржалковский — никаких „здравия желаю”. „Здравствуйте, товарищ комиссар”.

— Я думаю, сказал командир корпуса: — „здравствуйте, господин комиссар”, будет лучше. Он говорят, совсем молодой человек и ему это польстит.

— Репетировать прикажете? спросил Иван Антонович, — чтобы, значит, в голос отвечали.

— Нет. Да вы знаете, пожалуй, даже и лучше не в голос, — картиннее и демократичнее. А, впрочем, Бог даст, и не поздоровется, сказал командир корпуса.

Коммиссара ожидали к десяти часам утра. К этому времени прибыл казачий полк. Казаки ухарски, с песнями про-

ехали через деревню и у них был такой вид, что никак нельзя было угадать, на чью сторону они станут. Командир казачьего полка, пожилой полковник в красивой черкеске, украшенной серебром и в богатом оружии заехал в штаб. Там был приготовлен чай для комиссара и, хотя всем хотелось пить, никто не начинал в ожидании Кюпа.

— Ну, как ваши? — спросил командир корпуса у казачьего полковника.

— Кажется настроение хорошее. Утром офицеры с ними беседовали, возмущались поступком солдат, говорили, что такие безобразия и погромы недопустимы в свободной армии. Что нам делать нужно?

— Надо потребовать, чтобы выдали зачинщиков, их считают двадцать человек, арестовать их и доставить в штаб, сказал командир корпуса.

— Сопротивления не встретите, — сказал Стржалковский. — Они образумились и покаялись. Все зачинщики ими указаны. Это все заварила вторая рота. В ней и произведете чистку. С такими молодцами, как ваши, ничего не страшно. Вы как то съумели вид сохранить и лошади у вас в порядке. А наши — совсем расползлись. Шинель оденет — хлястика сзади нет, рубахи стирать перестали, биваки загажены. Как еще болезней до сего времени нет, удивляться надо. А лошадей в ординарческой и пулеметной командах кормить и чистит отказались. Офицеры ходят и сами корм раздают. Скажешь им что, — норовят вдвое ответить.

— Нет, у нас еще, слава Богу, до этого не дошло. Даже честь отдавать офицерам сами постановили.

— Да, сознательный народ, казаки. Не то что наши, вздохнул сидевший в углу полковой командир.

— Едут, — распахивая дверь большой избы, где сидел корпусный командир, — сказал молодой прапорщик и лицо его сияло счастьем.

— Я думаю, вставая, сказал командир корпуса, нам его встречать-то, пожалуй, и неприлично. Мальчишка совсем, прапорщик. Говорят, ему двадцать три года всего.

— Конечно, сказал Стржалковский, но все двинулись к дверям за Иваном Антоновичем, который, оправляя амуницию, выбежал на крыльцо.

По улице по обеим ее сторонам, в тени развесистых яблонь и груш, под тополями толпились солдаты.

— Комиссар... комиссар... шорохом неслось по рядам.

— А молодой совсем.

— На жида похож.

— Они почитай все жиды.

— Пропала Россия, жиды стали править ею!

— На Керенского похож.

— Сказывали прапорщик, а погоны солдатские.

— Демократичности больше. Он партийный человек.

— Да, вот она новая народная власть. Этот за генератов не потянет.

Автомобиль, управляемый двумя молодыми интеллигентными юношами, лихо подкатил к калитке у садика и Кноп, небрежно, изученным и скопированным у старых генералов движением, скинул с себя шинель и направился ко входу. Дежурный офицер встретил его с рапортом.

XXI.

— Здравствуйте, генерал, — протягивая большую, чисто вымытую с отшлифованными ногтями руку, сказал Кноп. — Я думаю сейчас и поедем. Люди собраны?

— Люди на биваке. Батальоны, которые стояли на позиции, отказались смениться. 806-й полк стоит пока при резерве. Они раскаялись. Зачинщики все переписаны и я не сомневаюсь, что их выдадут.

Кноп, усаженный в голове стола, небрежно развалился, жевал приготовленные для него бутерброды с сыром и ветчиной и пил чай.

— Вы, — сказал он покровительственно командиру корпуса, — не ездите. Слишком много чести для этих мерзавцев. Мы поедем вдвоем с начальником дивизии.

— Я бы полагал, господ..., — командир корпуса поперхнулся, не зная, как титуловать Кнопа, — что мне бы хорошо поехать. Люди меня очень любят. У них обваливались землянки, я им леса готового выхлопотал, так, намедни, депутация являлась благодарить. Меня, знаете, и зовут даже — „наш дедушка”. Русский солдат, знаете, отходчивый человек. Патриархальности в нем много.

— Нет, вы останетесь, — сказал Кноп, кладя свою руку на руку командира корпуса. Нас и так довольно. Казаки готовы?

— Бивак оцеплен лавою и пулеметы установлены, — сказал мрачно командир казачьего полка, с нескрываемою ненавистью и презрением глядя на Кнопа.

— Ну, так едем, — сказал вставая, Кноп.

Его автомобиль окружили конные казаки и сопровождаемый ими он покатил по дороге в лес.

Был жаркий августовский день. По небу разбежались волнистые бело-розовые барашки и небо было высоким и чистым. Стройные, красно-желтые сосны окружали дорогу, под ними доцветал розовый вереск, и к терпкому запаху смолы, моха, хвои и можжевельника примешивался местами тошный запах гниющего конского трупа и человеческих отбросов. Дорога шла то песками, то сбегала на узкую, бревенчатую гать, лес по обеим сторонам становился ниже, могучие мачтовые деревья сменялись маленькими кривыми соснами и кустами можжевельника и голубики. Кочковатое болото озерком протягивалось вправо и влево, и снова поднимались пески.

Показались проволочные заграждения и осыпавшиеся, давно не отремонтированные окопы тыловой позиции, проехали лесом еще с версту, сильнее стал запах человеческого бивака, пахнуло дымом и щами, и автомобиль выбрался на большую лесную прогалину, по которой были разбросаны низкие землянки. На прогалине выстраивались два батальона. Люди были без оружия. Кругом, в лесу толпились вне строя солдаты, это был 806-й полк, собравшийся посмотреть на экзекуцию. Конные казаки с обнаженными шашками стоя-

ли кое-где вдоль опушки леса. Сотня резерва, тоже на конях, сгясла против батальонов.

Раздалась команда „смир-рна!“ и батальоны затихли. Мертвая тишина наступила на лесной прогалине. Кноп вышел из автомобиля. Машина, фырча и скрипя, отъехала и затихла.

Вся обстановка залитой солнцем лесной прогалины, где неподвижно стояло около тысячи человек, глядя на Кнопа, и куда выходили из леса и приближались, чтобы услышать комиссара, еще две тысячи, казаки на лошадях и сознание, что всего в версте идет позиция, а там и неприятель, все это взвинчивало и вдохновляло Кнопа. Небрежным шагом, неловко ступая по мху и вереску, запрокинув высоко голову, он приближался, сопровождаемый небольшою свитою и казаками, к первому батальону.

Полком командовал помощник Козлова, подполковник Щучкин, бывший в обозе, избежавший благополучно расправы и теперь явившийся встретить начальство. Это был пятидесятилетний худой человек, исправный фронтовик, на сухом лице которого были написаны исполнительность и почтение. Он то ел глазами начальника дивизии, то грозно окидывал старыми, сверкающими изпод морщин серыми глазами солдатские ряды и готов был ежеминутно кинуться и поправить, оборвать и подтянуть солдата. На Кнопа он не смотрел. Он старался не замечать его и был преисполнен к нему величайшего презрения.

Кноп остановился в пяти шагах от батальона и стиснув кулаки прокричал:

— Мм-ерр-завцы! Вы что же думали, что свобода дана вам затем, чтоб убивать, чтоб насилия и погромы делать!?. А?. . Мы создаем не какой-нибудь английский, или немецкий строй, а демократическую республику в полном смысле этого слова. Вы самые свободные солдаты в мире! Вы должны доказать миру, что та система, на которой строится сейчас армия — лучшая система. Вы должны доказать монархам, что не кулак, а советы есть лучшая сила армии!

— Докажем! — глухо прокатилось по толпе.

— Наша армия при монархе совершала подвиги, неужели при республике она окажется стадом баранов, негодяев и насильников?

— Нет, никогда, — крикнуло из толпы два, три голоса.

— Так как-же вы употребили данную вам свободу? Вы перебили честных слуг республики, вы унизились до погрома... Вы!.. Вы... Вы не свободные граждане солдаты, а взбунтовавшиеся рабы!.. И как с рабами с вами будет поступлено. Я член исполнительного комитета Петроградского Совета солдатских и рабочих депутатов и я требую, — взвизгнул Кноп, — я требую, чтобы вы немедленно выдали мне тех негодяев, которые подстрекали вас бунтовать на позиции.

Кноп замолчал. В батальоне была тишина. Лица солдат были бледны, глаза мрачно горели. Никто не шелохнулся, ни один голос не раздался из батальона.

— Зачинщики выданы? — спросил у Щучкина начальник дивизии.

— Выданы-с, ваше превосходительство, — кидаясь вперед, сказал подполковник.

— Вызовите их, — сказал Кноп.

Щучкин не шелохнулся, точно это его и не касалось.

— Вызывайте их, полковник, — сказал начальник дивизии.

Щучкин вышел вперед Кнопа и громко и отчетливо стал на память выкликать фамилии. Из рядов второй роты, медленно и нехотя, стали выдвигаться солдаты и выстраиваться шеренгой впереди батальона. Они были зеленовато бледны и тяжело дышали. Это все были молодые люди, не солдатского вида, большинство не крестьяне, а горожане.

Их набралось восемнадцать человек.

— И кроме этих, — сказал Щучкин, — еще двое: Кротов и Лунчаков на позиции. За ними послано.

— Арестовать этих негодяев! — грозно крикнул Кноп.

— Товарищи! Что это! — крикнул один из вызванных.

— Не выдадим! — раздалась голоса в батальоне, сотни стиснутых кулаков поднялись над головами, но никто не тронулся с места.

- - Казаки! — сказал начальник дивизии.

Конная сотня надвинулась к батальону, руки опустились и снова стало тихо.

— Ведите их, --- сказал Кноп казачьему офицеру.

Офицер мрачно посмотрел на него, окружил казаками вызванных перед строй людей и повел их с площадки. Такая тишина стояла в лесу, что слышно было, как шуршали по вереску шаги уходящих солдат. Кноп плавал в блаженстве. Ему казалось, что он большой, большой, выше всех, а кругом него маленькие ничтожные люди. Он чувствовал себя, как Гулливер в стране лиллипутов.

Он вышел перед фронт батальонов и заговорил снова. Отрывистыми, короткими фразами, ясно и твердо чеканя слова так, как говорил Керенский, пересыпая свою речь пышными революционными лозунгами и отрывками из речей своего кумира, Кноп говорил о завоеванной Русским народом свободе, о великих завоеваниях революции, об уничтоженном гнете царизма, о необходимости революционной дисциплины, которая должна быть выше и больше, чем прежняя дисциплина и о том, что долг каждого гражданина солдата всеми мерами стремиться к победному окончанию войны в полном согласии с союзниками. Он говорил хорошо. Солдаты его слушали, тяжело вздыхая и пот струился по их лицам. Большинство не понимало того, что он говорит, но слушало крикливый голос с ясно заметным иностранным акцентом.

— Так поняли меня, товарищи? — закончил Кноп свою речь.

— Поняли, поняли, — раздались голоса.

— Правильно я говорю?

— Правильно!.. Правильно!..

Ну, вот видите, генерал, — самодовольно сказал Кноп, — нужно только уметь с ними поговорить. Это славный Русский народ.

— Да вам легко в солдатском платье, — сказал начальник дивизии, — а выйдет к ним офицер, или, не дай Бог, генерал, — слова сказать не дадут.

— Пройдет и это, — снисходительно сказал Кноп. — Распустите батальоны, я с ними потолкую отдельно.

— Распустите людей, — сказал Щучкину начальник дивизии.

— Не надо бы, ваше превосходительство, — сказал Щучкин, тревожно глядя на людей.

— Ничего, ничего, распустите. Я знаю, что делаю, — сказал Кноп.

Он ходил по биваку и ног под собою не чувствовал. В эти мгновения он, как никогда верил в силу своего слова, и в свое умение владеть массами.

— Разойтись, — скомандовал Щучкин.

Два серых квадрата батальонных коллонн распались на группы и вся прогалина покрылась кучками людей. Одни окружили казаков и заговаривали с ними, другие толпою ходили сзади Кнопа. Он остановился около большой сосны и, стоя на корнях ее, сверху вниз смотрел на серую толпу солдат, теснившуюся против. Он казался сам себе проповедником новой морали, новым Христом, окруженным народом, который жаждет живого слова.

— Товарищи, — обратился он к толпе. — Когда вы бунтовали против проклятого царского правительства и убивали тех генералов и офицеров, которые не хотели идти с народом за одно — это было понятно. Но теперь, когда самое великое благо человека, свобода, завоевана вами, теперь вы должны точно и без разговора и митингов исполнять приказания своих начальников. ...Если Русский народ, в особенности Русская армия не найдут в себе мужества, не найдут стальной брони дисциплины, то мы погибнем и нас будет презирать весь мир, будут презирать, те идеи социализма во имя которых мы совершили революцию. Возьмите наших непримиримых товарищей, крайних социалистов, думали ли они три месяца назад, что они сегодня получают право говорить так свободно? Я приветствую тех, кто не останавливается ни перед чем для достижения своей идеи. Каждая честная цель — священна. Но к вам одна просьба истерзанной,

истекающей кровью России, одна просьба. Подождите хоть два месяца.

— Через два месяца, значит, и мир, спросил кто-то из толпы.

Кноп скривился в презрительную усмешку.

— А вы, — сказал он, — что-же не хотите умирать за свободу?

— Кто хочет?... Это известно ... Поди-ка сам попробуй... ропотом пронеслось по толпе.

Вся фигура Кнопа выражала нескрываемое презрение.

— Когда мы, кучка революционеров, — продолжал он, бросились на борьбу со сложным механизмом старого режима, мы никогда не оглядывались назад, мы шли на борьбу без оглядки и если надо было умирали. Если вам дорога свобода и революция, и вам понадобится идти, и если даже вы пойдете одни, — идите и, если нужно умереть — умрите. Я зову вас на борьбу за свободу! Не на пир, а на смерть я зову вас. Мои товарищи социалисты революционеры умирали один за другим в борьбе с самодержавием, Мы, деятели революции, имеем право на смерть!

— Мы идем за тобой, товарищ, — раздался чей то одинокий голос.

— Так вот, товарищи, вы обязаны исполнять все, что вам прикажут, — и это уже мы, комиссары, поставленные от народа, будем следить за тем чтобы приказания не были в ущерб революции.

— А позвольте вас спросить, товарищ, — сплевывая слюну от семечек, обратился к нему маленький несуразый солдат с плоским, желтым, изрытым оспою лицом и маленькими серыми равнодушными глазами. У него были длинные, как у обезьяны, руки с большими узловатыми кулаками и кривые короткие по туловищу ноги. Лицо расплывалось в идиотскую улыбку, и тогда видны были редкие дурные зубы, между которыми лежали подсолнухи.

— Говори, говори, Шатров, — одобрительно заговорили кругом солдаты. — Этот скажет, правду истинную скажет.

— Какое, товарищ, мы можем иметь доверие к начальникам, когда генерал Саблин газами сколько народа передущил и ему ничего.

— Правильно!.. Верное слово... Правда истинная.

— Позвольте, товарищи, — спросил Кноп, — да когда же это было?

— А вот, об весну. Зараз после революции, как свободы вышли, он, значит, и порешил с народом прикончить. Газы и пустил.

— Наверное, товарищи, газы пустили немцы, — сказал Кноп.

— Это, конечно, немцы. Ну только генерал Саблин, сорок тысяч за это дело от них получил.

— Вы путаете, товарищи. Это не могло так быть.

— Конечно, когда солдат говорит, так всегда скажут зря... Потому, мол, без образования. А правда то, товарищ, где сидит? Правда в окопном солдате! Да, в стратотерпце великом, вшами заеденном.

В других группах говорили о том, что приезжий комиссар вовсе и не комиссар, а немецкий шпион, присланный мутить солдат.

— Он и по Русски то говорит не то как жид, не то, как колонист, — говорили солдаты.

— Совсем даже не демократическая речь его была, — говорил казак, обращаясь к солдатам. — Мерзавцы, да мерзавцы, этого мы и при старом режиме достаточно наслухались.

Офицеры казачьего полка доложили о таких речах своему командиру, тот собрал полк в резервную колонну и пошел к Кнопу.

— Я бы вам, господин, — сказал он, — посоветовал уезжать. Дело свое сделали, зачинщиков взяли и, слава Богу. А эти разговоры к добру не приведут.

Кноп презрительно сморщился.

— Ах, — сказал он, — вы ничего не понимаете в солдатской душе. Необходимо рассеять все эти потемки, необходимо разубедить солдата, что все это не так.

— Слава Богу, — проворчал под нос командир полка, — тридцать лет с этим народом вожусь и знаю его насквозь.

Он приказал шоферам подавать автомобиль.

В это время к Кнопу подошел бледный взволнованный офицер и сказал, глядя на него, но обращаясь к начальнику дивизии.

— Ваше превосходительство, батальоны, занимавшие позицию, сошли с нее и в боевом порядке, цепями, наступают на нас. Они открыли редкий огонь. Я приказал казачьим пулеметчикам стрелять по ним. Они отказались.

— Как! сошли с позиции, — гневно воскликнул Кноп. — Это преступление. Я покажу этим мерзавцам, как обнажать фронт. Где позиция, полковник! Проводите меня.

— Не ездите лучше! — воскликнул командир казачьего полка.

— Нет, я поеду! — упрямо сказал Кноп. — Это мой долг заставить этих негодяев образумиться...

Он сел в автомобиль с начальником дивизии.

Машина тронулась, и сейчас же раздался чей то пронзительный, покрывающий все шумы голос:

— В р у ж ь е!

XXII.

Из землянок выбегали вооруженные солдаты. Они плотным кольцом окружили лесную прогалину и загоразивали все выходы. Как будто, призывая к бунту, затрещал установленный на противоаэропланном колесе пулемет и сейчас же бешеная стрельба трех с лишним тысяч винтовок, отраженная и усиленная лесным эхом раздалась кругом. Стреляли вверх. Казачий полк всей массой, как был в резервной колонне, сорвался со своего места, и, увлекая офицеров, поскакал к дороге между проволочными заграждениями резервной позиции. Дорога была узкая, ошалевшие казаки бросались прямо на проволоку и лошади падали, запутавшись между кольями и над ними свистали и выли пули, сбивая ветки и усиливая панику.

Но не все стреляли вверх. Часть стреляла по автомобилю, на котором сидел Кноп с начальником дивизии и по группе верховых, где был командир казачьего полка со своим адъютантом. Ординарцы казаки покинули их. Автомобиль, поворачивавший к дороге на позицию, был остановлен шоферами, выскочившими из него и побежавшими за землянки, за ними выскочили и Кноп с начальником дивизии. Начальник дивизии ухватился за стремя командира казачьего полка и побежал рядом с ним за казаками. Кноп бросился в землянку. Бывшие подле нее солдаты вскочили в землянку раньше Кнопа и приперли дверь изнутри, Кноп остался на узком крыльце, врытом в землю. Он был бледен, в глазах был бессмысленный, звериный ужас. Тот самый солдат с обезьяньими руками и плоским широким лицом, который задавал ему вопросы, ударил его прикладом по темени и Кноп упал ничком возле двери. Несколько выстрелов в затылок прикончили его. Все это солдаты делали молча, серьезно, и деловито. Кноп остался лежать на крыльце.

Командующему полком Щучкину удалось вскочить в землянку и он спрятался было в темном углу у нар. Сейчас же за ним ворвались солдаты.

— Вот он! — крикнул высокий молодцеватый солдат с георгиевским крестом на груди. — Волоки его, товарищи, наружу.

Землянка наполнилась людьми. Подполковник, старый, седой, с потрепанной бородой, одетый в китель с погонами, при шашке и револьвере, опустился на колени.

— Братцы, — воскликнул он, старчески всхлипывая. — Братцы! пощадите. Я ничем не виноват. Я всегда с вами.

— Волоки, говорят, наружу! — раздался грозный приказ у дверей.

Это распоряжался тот самый солдат, который только что убил Кнопа.

Грубые руки схватили Щучкина и поволокли к выходу.

— Братцы, — молил он, — во имя Христа покадите меня.

— Ишь кого вспомнил!.. Христа! — проговорил мальчишка солдат с бледным идиотским лицом. — А он был Христос то не твоему? А?

— Распят его товарищи, как Христа, тогда узнает, — предложил другой молодой солдат.

— Гвоздей таких нет, — сказал кто то из толкавших Щучкина.

— Он и впрямь на Христа похож. Только борода седая. Старый Христос.

— Распят его. Вот тут у стенки.

В лесу была построена из свежих сосновых стволов небольшая часовня. Раньше подле нее совершались очередным священником богослужения. Солдаты, еще до революции стоявшие здесь, украсили ее резьбою и внутри висели написанные кем то из офицеров образа. К ней подвели бледного Щучкина.

— Братцы — молил он, не душегубы же вы, а солдаты. Вместе кровь проливали.

— Что же распинать что ль будем, — улыбаясь, спросил высокий солдат, прижимая Щучкина рукою к стене. — Тут важно.

— Говорят тебе гвоздей таких больших нет.

— Чего? Гвоздей?.., протянул солдат убивший Кнопа, — а штыки не гвозди? Вытягивай ему руки. Поднимай его!

В раздвинутую ладонь с размаха всадили штык и сняли его с винтовки. Пальцы инстинктивно сжались и ухватились за штык.

— О-ох! воскликнул Щучкин. — Ужели крестную муку приму!

Лицо его стало белым, но в глазах вместо ужаса появился странный восторг. Он уже не чувствовал боли. Он смотрел вдаль и старый рот из под седеющих сивых усов бормотал:

— Живый в помощи Вышнего, в крове Бога небесного водворится!

Другой штык пронзил его левую руку и он полуповис на стенке, поддерживаемый здоровым бородатым солдатом из запасных, смотревшим на него серьезными, важными, задумчивыми, кроткими глазами. Так смотрел он всегда на быков и баранов, которых приводили убивать.

Третий штык пронзил грудь Щучкина по середине и по пав между бревен ушел по самую трубку.

— Един от воин копием ребра ему прободу и абие изыде кровь и вода, — хрипло, но ясно выговорил Щучкин.

— Да замолчишь ли ты, старый пес! — крикнул гнево солдат, убивший Кюпа.

Щучкин приподнял упавшую было на грудь голову, посмотрел прямо в глаза говорившему и прошептал: — аминь! аминь! аминь!

Что то такое было в потухающем взгляде старого подполковника, что солдат, уже бледный, стал еще бледнее, схватил винтовку и в упор выстрелил в висок Щучкину. Ноги Щучкина беспомощно дернулись и он затих. Солдаты, распинавшие его, вдруг почувствовали ужас и разбежались от места казни.

Стрельба затихла. Патроны были на исходе. Оживление и яростный подъем сменялись апатией, люди, дошедшие только что до крайних пределов озверения и дерзновения, чувствовали, как липкий страх заползает в душу и сердце останавливается в мучительных перебоях. Не заходя в землянки, они шли нестройными толпами в окопы, там, перед лицом неприятеля, надеясь найти спокойствие и оправдание.

Немецкие часовые стояли открыто и смотрели на странные события, происходившая на Русской стороне.

Звездная теплая ночь спускалась над биваком. Казачья лошадь с перебитой ногой, запутавшаяся в проволоке, то вскакивала на три ноги, то снова падала и жалобно ржала, будто звала на помощь своего хозяина. На пороге землянки, ничком, в нарядном френче, лежал Кюп, заглохший автомобиль с криво вывернутыми передними колесами стоял неподалеку. У часовни висел распятый Щучкин с разбитой головой. Луна серебристым светом отражалась в его седых волосах и издали казалось, что над его головою сияет, венец.

Бивак был пуст.

Только Верцинский, лежал в командирской землянке, закрывшись с головой шинелью и стараясь ничего не слышать и ни о чем не думать.

XXIII.

Событие на биваке, бешеная стрельба отразились далеко кругом. Казаки, конвоировавшие арестованных и уже отошедшие на восемь верст, разбежались, а за ними разбежались и арестанты. Казаки, прискакавшие с позиции, в таких страшных красках рисовали то, что там произошло, что штабные команды решили немедленно арестовать командира корпуса и послать сообщение о происшествии в штаб армии и в местный совет.

Поздно ночью из штаба армии к штабу корпуса прибыло две броневые машины. Офицеры, прибывшие с ними освободили командира корпуса, но сообщили ему, что команды машин не надежны и рассчитывать на них нельзя. Под утро явились командир казачьего полка с начальником дивизии, проплутавшие по лесам целую ночь. Командир полка собрал казаков, но те в категорической форме заявили ему, что против солдат и трудового народа они не пойдут. Казаки собрались в сотни и отправились на место своего ночлега, где выставили сторожевое охранение. Они опасались мести со стороны солдат Морочненского полка. Полки всего корпуса волновались. Повсюду стало известно об убийстве комиссара и командовавшего полком и о том, что сила осталась на стороне солдат и ни начальство, ни комиссары ничего не могли поделать.

Часов в одиннадцать утра к притихшему штабу, возле которого грозно стояли два броневика, подкатили власти на трех больших машинах. Это были члены местного совдепа. Ими руководил Коржиков, присланный из Петроградского совета солдатских и рабочих депутатов. С ним было семь человек. Два еврея — один Гоммель — солдат студент, другой — Зильберфант часовых дел мастер, рабочий, солдаты Лосев и Било, оба молодые, кончившие четырех классное училище, солдат Ломов тупой упрямый человек из крестьян, Павлуцкий — молодой парикмахерский подмастерье и Лихачев — аптекерский ученик. Одному Ломову было за тридцать лет, все остальные были моложе двадцати одного го-

да. С важными, преисполненными серьезности лицами они расселись за столом, вынули тетрадки и приступили к допросу командира корпуса, его начальника штаба и офицеров, свидетелей убийства Кнопа, бежавших от полка.

Коржиков сидел в голове стола и умными злыми глазами смотрел на всех, ничего не говоря. Допрос снимал Гоммель. Он был приторно ласков, часто называл офицеров и генерала по чинам, но не прибавляя слово „господин”, — а прямо — „генерал”, „поручик”, „капитан”. Этим он показывал, что хотя он и солдат, но, как член совдепа он власть и даже что то в роде начальства.

— Я полагаю, товарищ Виктор, — сказал он Коржикову, что нам здесь больше допрашивать нечего. Картина ясна. Полное бездействие власти. Офицеры вместо того, чтобы остановить солдат от насилия и прекратить эксцессы, трусливо бежали. Не поедем ли на место действия? Мне кажется нам необходимо вывести полки с позиции, чтобы перебраться их и выделить несознательные элементы.

Коржиков кивнул головой.

— А вам, господа, — сказал он, обращаясь к офицерам, понуро стоявшим в большой комнате штабной избы, — я предлагаю немедленно отправиться к своим частям и стать поближе к солдатам. Я считаю, что во всем этом тяжелом деле вы главные виновники.

Поручик, кадровый офицер, с бледным исхудалым лицом и горящими глазами, выдвинулся вперед и твердо сказал:

— Вы не правы! Мы делали, что могли. Доказательством тому замученные и убитые наши товарищи. Надо вернуть дисциплину, заставить уважать...

— Но вы еще не убиты? — с иронией сказал он. Значит, вы не исполнили свой долг до конца.

— Ах, так! — сказал поручик.

— З а с т а в и т ь уважать нельзя. Вы должны приобрести это уважение.

— Надо знать, что сделали с солдатом...

— Я с вами не разговаривать приехал, — сказал вставая Коржиков. — Я указываю вам ваше место. Едемте, товарищи.

Коржиков в сопровождении других членов совдепа вышел из избы.

В лесу у резервных землянок было пусто. Раненая лошадь, притихшая было на проволоках, увидев автомобили и людей, снова шарахнулась и звонко заливисто заржала. Машины остановились около Кноповского автомобиля и члены совдепа сошли и сейчас же увидели убитого Кнопа.

Ломов, Лосев и Било спустились, чтобы вынести его, остальные оставались наверху. Коржиков равнодушно смотрел на лицо убитого. Он вспомнил совместную службу в запасном гвардейском полку, волнение Кнопа во время революции, его страстные речи на митингах и в совете, его святую веру в правильность и непогрешимость революции и его поворот от народа к власти, которая должна принадлежать лучшим людям, интеллигенции.

— Достукался, — сказал он.

— Чаво? — спросил, оборачивая к нему свое глупое лицо, Ломов.

— Ничего, — ответил Коржиков и подумал — „вот так, как Ломов, дать власть! Эти разделают!“

Коржиков отошел от столпившихся в почтительном благоговении над телом убитого товарища члена совдепа и, заложив руки за спину, пошел бродить по биваку.

„Диктатура пролетариата“, — думал Коржиков. — „Да, Ленин прав, — диктатура пролетариата, потому что это обозначает нашу диктатуру над пролетариатом, потому что пролетариат пойдет, как раб, за тем, кто поразит его воображение. Как это все умно придумано и в какой строгой последовательности ведется работа“.

Вдруг странный, дикий, так неподходящий к пустынно-му месту, совершенно брошенному людьми, звук поразил Коржикова.

— Ха, ха, ха!.. смеялся кто-то грубо и злобно... Ха... ха... ха!

Коржиков пошел на звуки этого смеха. Ели и сосны расступились, образовав небольшую прогалину. На прогалине стояла бревенчатая часовня. Видны были старые дряхлые

из елей и листьев омелы, висевшие на ней и иконы Спасителя и Божией матери, двух ангелов и Николая Чудотворца, в особых нишах.

— Ха... ха... ха! — неслоь из-за часовни. Коржиков зашел за нее. Странного вида человек в широкой, без клапана сзади, солдатской шинели, со смятыми, золотыми когда то, капитанскими погонами, без фуражки, со включенными редкими желтыми волосами, пробитыми сединою, с бритым сухим морщинистым лицом, смотрел на заднюю стенку часовни и дико, как сумасшедший, хохотал.

На задней стороне часовни, с руками раскинутыми на крест, прибитыми штыками, с грудью пригвожденной штыком к стене, с разбитой головой, опущенной на грудь, висел труп распятого офицера.

— Товарищ! — задыхаясь от смеха говорил Коржикову странный человек, — а, товарищ! Ведь придумали же! А? Солдатики то наши! Народ богоносец! Как Христа распяли командира своего... Щучкина, а? Подика в Царствии небесном теперь... А? Святая Русь! С попами, с чудотворными иконами, с мощами — а... Распинает, как Христа! Понимаете, товарищ, силу сей аллегии. Царя не стало и Бога не стало. Аминь. Крышка. Христа то кто распял? Жиды? Ну и Щучкина... Не жиды же? Нет. Православное христоролюбивое воинство. Ловко. Это на шестой месяц революции! И заметьте себе, безкровной! Что же дальше то будет. Полюбуйтесь, товарищ, на сие падение. Ведь уже пропасть такая, что глубже и падать некуда. А что ежели *per aspera ad astra*.*) От таких то пропастей, до каких же звезд мы прыгнем! Вот она Русская революция! Подполковника Мишу Щучкина, как Христа распяли! Миша! святым будешь! Канонизируют тебя попы то, коли останется их хоть немного на развод. А!? Святителю отче Михаиле, моли Бога о нас... Ха... ха... ха... Какова аллегория то?

— Вы мне нравиться, — сказал Коржиков, остро взглядываясь в лицо Верцинского. — Как ваша фамилия?

*) — Через пропасти к звездам.

— Моя то! Позвольте представиться, — прикладывая к непокрытой голове руку и потешно вытягиваясь проговорил человек в шинели.

— Верцинский, Казимир Казимиров сын, капитан и латинист. Приват-доцент и революционер, Плехановец.

XXIV.

После ареста солдатами и освобождения в штабе фронта Саблин поехал в Петербург с твердым намерением добиться отставки. В Петербурге он нашел тревожно выжидательное отношение к революции. Вся надежда была на Керенского. В него верили, к нему подыгрывались, думали, что он сможет быть там мостом между Временным Правительством, составленным из буржуазии и Советом солдатских и рабочих депутатов, где неистовствовал Чхеидзе.

Отставка Саблина была отклонена. Только что вышел приказ военного министра Керенского, воспрещавший старшим начальникам даже проситься в отставку. Напрасно Саблин доказывал, что он не может вернуться в корпус, в котором сидят оскорбившие его солдаты — „и не возвращайтесь” — сказали ему в штабе. „Мы вам дадим другой корпус, другое назначение. Это так понятно. Армия переболеет и выздоровеет”. Ему приводили в пример французскую революционную армию, которая тоже началась с санкюлотов, а преобразилась в Наполеоновских чудо-богатырей, покоривших всю Европу. Саблина льстили. „Нам”, говорили ему, „Мюраты нужны”. — „Где же Наполеон?” — спрашивал он. Одни говорили: „Явится и Наполеон, погодите”, другие таинственно молчали и подмигивали на висящий повсюду портрет Керенского, то в профиль, то *en face**) большинство безнадежно махало руками. Как то слишком быстро штабы изменили свою физиономию и потеряли торжественность. Их наполнила улица.

Там, где была тишина, где сидели важные генералы, чтобы дойти до которых нужно было проходить через

*) С лица.

опросы адъютантов, писарей и курьеров, где были совсем недоступные постороннему глазу комнаты с надписями „оперативный отдел”, „управление генерал-квартирмейстера”, в которых висели громадные карты фронта, разрисованные акварельными красками и где с точностью до одного человека были показаны все наши части и части противника, где хранились все секреты и где работали офицеры генерального штаба с важными замкнутыми лицами, теперь свободно ходили какие-то молодые люди во френчах, или рубашках с солдатскими погонами, то тупые озабоченные солдаты-русаки, то юркие еврейчики, спрашивали офицеров генерального штаба и те отрывались от работы и с кистью в руках и разведенной краской на блюдечке, перед разложенными секретными ведомостями, что-то толковали этим молодым солдатам. Все это были делегаты от фронта и от Петроградского гарнизона, которые старались проникнуть во все тайны наших действий для доклада посланным их частям. „В демократической армии нет тайн”, был лозунг по военному министерству и председатель какого-нибудь полкового или дивизионного комитета с двумя, тремя делегатами, по предъявлении мандата, грязного клочка бумаги, на котором удостоверялось, что они действительно посланы в штаб за справками, имел право требовать отчета от всех управлений. Настоящая работа остановилась. Она стала фактически невозможной. Некогда было заниматься, все время уходило на удовлетворение вопросов делегатов и комитетов, по сто раз приходилось доказывать, что тот, или иной приказ начальника на фронте вызван необходимостью и боевою обстановкой, а не является актом, направленным против революции. И только что начальник отделения, окончив разъяснения и пожав десяток грубых, грязных и потных рук, принимался в спертом воздухе кабинета за срочную работу, как дверь распахивалась, молодой прапорщик-адъютант торжественно заявлял: — „делегаты от N-ской дивизии, северо-западного фронта” и партия солдат, чающих объяснений, вваливалась в кабинет и начиналась новая беседа. Весь день проходил в сказке про белого бычка. „Была революция и дана народу

свобода?” — „Была”. — „Должен приказ номер первый исполняться на фронте?” — „Должен”. — „Так... А нас начальник дивизии выгнал окопы рыть и заставил по колено в грязи лопатами ворочать. Имел он на это право?” — „Конечно, имел”. — „Да ведь была революция?” — „Была”... И так далее продолжалось часами. Просидев часа два в комнате и не получив желаемого ответа, делегаты заявляли иногда между собою, иногда вслух — „ну, товарищи, нам здесь нечего делать, здесь еще старым режимом пахнет” — и шли в другое место искать таких людей, которые сказали бы им, что после революции наступило такое блаженное время, когда можно ничего не делать. Такое место они находили. Это был совет солдатских и рабочих депутатов. Там к делегатам выходил солдат, или прапорщик и начиналась волнующая душу беседа на ту тему, что, конечно, приказ начальника рыть окопы есть приказ правильный постольку, поскольку вообще правильно продолжать войну. Россия не нуждается ни в каких завоеваниях и стремление рабоче-солдатского правительства заключить мир без аннексий и контрибуций, но это можно сделать постольку, поскольку мы не связаны договорами с нашими союзниками, в полном согласии с которыми мы и должны продолжать войну. Но договоры с союзниками обязательны для нас лишь постольку, поскольку вообще обязательны какие бы то ни было договоры Царского правительства. Временное правительство их признало, но Временное правительство не есть правительство, избранное народом, а настоящим правительством являются советы. Добейтесь, товарищи, перехода всей власти в наши руки — советов рабочих и солдатских депутатов, только мы сможем предложить не на словах, а на деле демократический мир всем народам.

Такая туманная философия очень нравилась солдатам. Тех же, кто хотел категорического, определенного ответа, на все недоуменные вопросы, мучившие их в окопах, отсылали в партию большевиков. Там они получали такие ясные, определенные ответы, там открывались перед ними такие широкие возможности, что делегаты ехали на фронт, повторяя слова учителей и заучивая их имена, как имена апостолов.

Одни старые генералы ушли, другие приспособились. Появились в штабах очень молодые полковники и подполковники генерального штаба, сияющие, довольные, точно покрытые лаком, украшенные алыми бантами и очень занятые. Они сидели по несколько минут в штабе, небрежно выслушивали генералов и кадровых офицеров, а потом с какими то солдатами садились в автомобили и мчались в совет, на митинг, в казармы. Они организовывали союзы офицеров, выступали с демократическими речами, предавали проклятию прошлое, отменялись от вековой славы Русского оружия, заслуженной под двуглавым орлом. Они с лихорадочною поспешностью печатали жиденькия брошюры, под фирмою „Офицер-революционер“, говорившая о политических партиях и их задачах, об углублении революции, об ошибках прошлого. Они изо всех сил насаждали политику в армии и с таким же тупым упорством, с каким прапорщик Икаев говорил, что он и за человека не считает того, кто „ежели не партийный“ — они доказывали, что каждый офицер должен открыть свое лицо и сказать, как он верует. И тем, кто не соглашался с их программой, недвусмысленно намекали, что им грозит месть народа: — Варфоломеевская ночь.

Это были тоже в бунтовщ и е ся ра бы со всеми чертами, присущими рабам. Наглые, жадные к деньгам и к окладам, циничные, готовые предать друг друга, подхалимы перед теми, кто мог захватить власть в свои руки, готовые идти за любым вождем, который поманит их подачками наград и повышений, эти люди быстро и незаметно вытеснили серьезных, деловых офицеров и повели штабы и учреждения по пути соглашательства с толпою.

Их цель была заплевать и вырвать вон все старое, все традиции Русской Армии. Керенский потребовал, чтобы знамена и штандарты Русской Армии были доставлены в Петропавловскую крепость для замены и переделки. С них предполагалось сорвать святыя эмблемы: — икону — изображающую веру православную, двуглавого орла — Родину и вензель государев — Царя. К чести полков — большинство не

исполнило этого приказа и не дало тогда знамен своих на поругание. Маршевые батальоны выступали под своими алыми знаменами. Были они разного качества, разной величины и с разными часто диаметрально противоположными лозунгами.

Саблин видел, как по Загородному проспекту, под добрый старый марш „Под двуглавым орлом” шел на Николаевский вокзал для отправки на фронт батальон гвардейского полка. Над ним реяло большое шолковое красное знамя, на котором было вышито белыми шелками: — „война до победного конца в полном согласии с союзниками” и на другой стороне — „да здравствует Временное Правительство”... Батальоны шли бодрым шагом, офицеры шли в общих рядах с солдатами.

— Вот молодцы, так молодцы! — восхищался ими извожик, вставая на козлы своей пролетки. — Эти покажут...

Через полтора месяца Саблин узнал, как „эти показали”. Они, перебив офицеров, бежали с фронта и грабили и неистовствовали в тылу. Видал он тоже большую часть, шедшую не то на вокзал, не то на демонстрацию. Большие красного кумача знамена реяли над нею и на них черными буквами значилось: „долой Временное Правительство”, „да здравствует совет солдатских и рабочих депутатов”, „Мир хижинам, война дворцам”.

Эти шли, сопровождаемые громадной толпою женщин и пели марсельезу. Потом, оборвав ее, запели на мотив „Ухаря купца”.

Режь ананасы, рябчика жуй,
Настал твой последний денечек, буржуй!

И так нелепы были эти слова в устах солдат, что Саблин невольно остановился.

Кругом толпа возмущалась.

— Это все Ленина работа, — говорили в толпе. Ишь немецкого шпиона приняли и во дворце держат. Что-ж это за порядок? И позволяют. Какое это в самом деле правительство!

По всему городу висели красные флаги.

Были провозглашены свободы слова и печати и старый „Русский Инвалид“, детище Поливанова, газета с вековыми традициями и с историческим названием, возникшая в 1813 году с благотворительною целью помощи Русским инвалидам великой отечественной войны, переименовала свое название на „Армию и Флот свободной России“ и стала узко партийным органом партии социалистов-революционеров.

Те самые гвардейские полки, которые выставляли почетные караулы коронованным особам и перед всем миром являли мощь и красоту Русской армии, теперь выставляли почетные караулы возвращавшимся из ссылки преступникам. Они брали на караул перед „бабушкой русской революции“ Брешко-Брешковской, глупой старухой, которая предприняла поездку по фронту и, раскатывая с генералом Брусиковым на автомобиле, подмигивала и кивала седою головою солдатам, говоря им речи, которые слышал только первый десяток. Женщина ворвалась в Армию и внесла в нее разврат и разложение. Как то вдруг по всем штабам и управлениям появились барышни с пишущими машинками и треском Ремингтонов наполнили раньше тихие и строгие кабинеты и канцелярии.

— Что они пишут? Почему их так много? — спросил знакомого штабного офицера Саблин.

— А Бог их знает, — отвечал тот, разводя руками. — Там, где раньше сидел один полуграмотный писарь и справлялся с работою, там теперь работает десяток барышень и никогда ничего не добьешься.

Керенский приступил к формированию женских батальонов, и любители клубнички *en grand**) потянулись туда, прикрываясь красивыми лозунгами общего равноправия.

Саблин смотрел на все это и уже не возмущался тому, что так зря сдали Лесищенский плац-д'арм, что его арестовали и оскорбляли солдаты, что вместо наступления была одна ерунда и позор для армии. Все это так и должно было

*) В большом количестве.

быть, потому что все принципы военной науки были опрокинуты. Гучков, а потом Керенский, упрямо доказывали, что дважды два пять, а Брусилковы, Клембовские, Рузские и другие, многие, многие, с покорностью рабов соглашались с ними и старательно решали задачи с неверною таблицей умножения.

Саблину теперь часто вспоминались давние вечера у Вари Мартовой и его зеленые споры с зеленой молодежью. Молодежь достигла своего. Ни отдания чести, ни святости знамени, ни отчетливости караульной службы, ни учений, ни воспитания — всюду свобода. Армии уничтожены и вместо них стала толпа. „Ну что же”, — думал Саблин, — им остается довершить начатое и опрокинуть войну. Только в их ли власти это будет? Не окажется ли, что война есть явление иного порядка, управляемое не людьми, а Высшим Разумом, подчиненное воле Господа Бога”.

Саблин видел, что революция Русская уже идет никем не управляемая, или, может быть, управляемая теми неведомыми семидесятью, о которых ему так туманно говорил Верцинский.

Приглядевшись ко всему, что происходило, Саблин понял, что никакой отставки быть не могло, как не было и службы. Люди оставались на местах, люди занимали те, или иные командные должности, но работать, служить они не могли, им мешали и сверху и снизу. И уйти они тоже не могли, потому что некуда было уйти, не было путей отступления. — Вся Россия кипела котлом, вся Россия обратилась в сумасшедший дом и каждый здравомыслящий человек говорил себе: — я останусь, чтобы противодействовать этому сумасшедшему потоку, но он был, как пловец, бросившийся в пучину Иматры. Волны подхватывали его и разбивали о камни. Но и выбраться на берег было нельзя. Можно было сделать только одно: — уехать за границу. Но на такой шаг Саблин не решался. Это казалось ему дезертирством.

XXV.

Саблин вспомнил, что еще 18-го марта, то есть за три дня до газовой атаки и его ареста солдатами Павлиновского полка, он получил из Петербурга бумагу, где от него требовали откровенного мнения, в какой мере революция расшатала армию.

Саблин тогда составил доклад, в котором ответил с безпощадною правдивостью, что революция и приказ № 1 не только расшатали, но уничтожили армию. Революция, отметая царя уничтожила лучшие идеалы Армии: Родину и ее представительство. Революция, отменив молитву посягнула на веру, смысл умирать пропал — и теперь надо или выдвинуть новые животные идеалы грабежа и насилия и вести войну во имя добычи и наслаждений, как ведут ее дикари и варвары, или вернуть старое, или кончить войну. Саблин знал, что еще Гучковым была образована при Военном Министерстве комиссия под председательством генерала Поливанова, которая должна была пересмотреть весь тот материал, который поступил с фронта от строевых начальников и выработать новые уставы с новыми принципами. Но новых уставов не было. Было отменено старое и на месте отмененного оставалась пустота. Солдаты отказывались признавать уставы гарнизонной и внутренней службы и дисциплинарный, отказывались считаться с воинским уставом о наказаниях, так как они были изданы при Царском Правительстве. Необходимо было вместо них издать какие то новые революционные, уставы и законы, но кн. Львова и Гучкова сменил всеведущий Керенский, а этого сделано не было.

Саблин справлялся в Петербурге об этой комиссии, но никто не мог дать ему определенного ответа. Вместо Поливанова ему называли генерала Потапова. Саблин решил обратиться к первоисточнику и отправился к Поливанову.

Поливанова он нашел на той же квартире и в той же скромной обстановке, как и перед революцией. Он еще более постарел и осунулся. Глаза его уже не блестели, как тот раз в ожидании революции.

— Да, сказал он на вопрос Саблина относительно работы комиссии, — такая комиссия была. Она была очень хорошо составлена. В нее были привлечены лучшие строевые силы и мы наметили правильный план создания армии на началах железной дисциплины.

Сказав это генерал Поливанов откинулся в кресло, лицо его передернулось болезненной гримасой и он искоса посмотрел на Саблина. Но в маленьких узких глазах его не было прежнего задорного лукавства.

— Что же случилось?

— А вот что. Нас охватила общая болезнь всех деятелей теперешнего времени. Нас охватила болтовня. Мы начали было деловые совещания, но к нам стали являться с запросами, советами, требованиями делегации с фронта и от совета солдатских и рабочих депутатов, они часами говорили митинговые речи и не давали возможности работать. Я заявил, что я не могу работать, если улица будет мне мешать. Слово улица представителями совета было принято, как оскорбление, совет потребовал моего удаления... И меня удалили....

Наступила длинная пауза. Поливанов искоса смотрел на Саблина, Саблин прямо смотрел на Поливанова.

— Выходит, сказал Саблин, — что бороться с самодержавным императором и добиваться от него правильных решений на пользу Родины, бороться против интриг императрицы было легче. Императрица долгие годы не могла добиться вашего удаления и, когда добилась, вы попали в Государственный совет, а республиканские власти безотказно и без разговора сдали и вас, и ваше дело в угоду улицы.

Поливанов молчал.

— Ваше высокопревосходительство, что же будет дальше? — спросил Саблин.

— Что дальше? — сказал Поливанов. — Вы спрашиваете, что дальше. Надо работать с ними, с рабочими и солдатами, а не идти против них.

— Но с ними работать невозможно. Работа с ними означает немедленный сепаратный мир без анексий и контрибу-

ций, разрушение Российского государства, возвращение в первобытные времена, полное уничтожение культуры и городов. О! Я слишком хорошо знаю их. Это не только позор России, но и гибель ее.

— Да, если мы не будем с ними работать, если предоставим их самим себе, но представьте, что мы съумеем взять власть в свои руки и заставим подчиниться нам это баранье стадо.

— Если только оно уже не подчинено комунибудь другому. А если оно работает не стихийно, а управляется со стороны?

— Кем? — спросил Поливанов и в узких глазах его показалась тревога.

— Теми, которых никто не знает, которых никто никогда не видал, но которые стремятся подчинить весь мир себе. Консорциумом германских и американских банков, которые решили обратить Россию в пустыню, чтобы путем концессий и колонизации выжимать из нее доходы. Я не знаю кем, но знаю одно, что в кажущейся хаотической обстановке теперешнего бунта есть и известная последовательность: — это уничтожение религии и я бы сказал — Русского духа, в чем бы он ни проявлялся.

— Вы говорите серьезно и я серьезно вам и отвечу, скрипучим голосом сказал Поливанов. — Вы подразумеваете, конечно, масонов. В такое могущество масонских лож я не верю. Поверить в это, это значило бы поверить в Антихриста и второе пришествие, это значило бы ожидать кончины мира.

-- А если это так и есть, — нервно перебил Поливанова Саблин.

— Это не так. Да, тут есть работа интернационала. Нам он кажется таинственным, потому что у нас самое слово это было запрещено, но мы знаем, что в всемирном братстве народов нет и не может быть ничего худого.

— Такое братство может быть осуществлено только во Христе и через Христа, а теперь идет борьба против Христа. Я смотрю на весь этот переворот иначе — я считаю, что то, что делается в России — это борьба доброго начала со

злым. Россия оставалась последним местом, где хранилось благочестие и истинная вера и злое начало, скажу прямо, диавол ополчился на нее.

— Оставьте, Александр Николаевич, — сказал Поливанов. — Россия с ее сектанством, с ее Распутиными, Варнавами, Илиодорами, великосветскими и народными кликушами и изуверами так далека от Христа, как ни одно государство. Почитайте Розанова — более опошлить веру Христианскую, чем сделал это сей православный, трудно. В России вера Христова поругивалась отовсюду и диавол мог только радоваться. Он пришел на готовое.

— Мне трудно спорить с вами, ваше высокопревосходительство, но, может быть, вы позволите задать вам два вопроса.

— Пожалуйста.

— Что думаете делать вы?

— Сейчас ничего. Сидеть и ждать.

— Что посоветуете вы мне делать?

— Тоже ничего. Я слыхал, что вам дали N-ский кавалерийский корпус. Поезжайте и ничего не делайте. Предоставьте демократии работать самой. Они скоро убедятся, что у них ничего не выходит и придут сами просить вас помочь. А силою вы ничего не достигнете.

— А, если поздно будет?

— Россия так могущественна, что поздно не будет никогда.

— А я боюсь, что она сгорит, как горит в жаркий летний день громадное село. В несколько часов остаются только печи и трубы, да обуглившиеся деревья.

Поливанов пожал плечами и ничего не сказал. Саблин встал и стал прощаться.

XXVI.

Саблин поехал к Обленисиму. Этот визит давно лежал на его совести. Обленисимова он застал за укладкой вещей. Квартира его в особняке на Сергиевской была почти пустая. Той ценной мебели, буль и маркетери, которую Облениси-

мов собирал всю жизнь не было. Комнаты стояли грязные и опустошенные. Обленисимов в кабинете был занят укладкой двух порыжелых чемоданов.

— А, Саша, — завопил он, раскрывая объятия, — здравствуй! Какими судьбами в наш бедлам?

— Бедлам? — сказал Саблин, — давно ли вы, дядюшка, раскатывали на автомобилях и говорили речи толпе, поздравляя с самой великой и безкровной революцией.

Дядюшка хитро посмотрел на племянника и рассмеялся, широким громким хохотом потрясая стены пустого кабинета.

— Давно-ли? Видишь? И бороду обрил и усы остриг. Из Русского барина актером стал. Осёл я был, Саша, Патентованный осёл. Нет, милый друг, в эту самую матушку Русь ты меня теперь и калачем не заманишь. Ну ее в болото! Помнишь мою бобровую шубу, Ау! Краса и гордость революции, — матросы, взяли. Да... Ездили, ездили они со мною на грузовике по городу, говорил я речи, это было в те дни, когда мы верили, что к небу тянемся, а как подъехали к дому так и говорят: — „ну, товарищ, снимай шубу”. — „Как?” — говорю я, — почему?” — „А потому”, — говорят, — „что пожевал, да и за щеку, поносил и довольно”. — И сняли. Я думал, — шутят. Отнимать стал. Винтовками пригрозили и скверными словами обложили. Вот тебе и революция! Я потом узнал, что они со мною еще милостиво поступили. Ах-лестышева помнишь, старика. Из клуба, с заседания партии, шел ночью. Солдаты остановили. До гола хотели раздеть. Насилу умолил хоть белье оставить. Так в одном белье два квартала и шел. Простудился бедняга, слег, до сих пор не может поправиться. Подумай, в марте месяце, по Морской в одних чулках. Ужасно. Жаловаться поехал. В комиссариате уйма народа. Комиссар, интеллигентный еврей, выслушал, сочувствует, а кругом милицейские смеются. Да.. Натворили.

— А ведь вы были рады, дядюшка?

— И не говори. Стыдно вспомнить. Что мы потеряли! Ах, что мы потеряли! Стою я вчера на Сенной в хлебной очереди. Ты Саша, этого не знаешь. Ты старорежимный генерал. Твой Тимофей тебя ругает, а боится, Авдотья Мар-

ковна о тебе, как родная печется, Петров у тебя на посылах. А я революционный вождь, так полную чашу пью этой самой революции. И в очередях стою и чуть что полов сам не мою. Домом правит швейцар и подлец оказался первостепенный. Ну, да дом больше не мой.

— Как не ваш?

— Продад, Саша! Ау — никакой собственности: Ты слышал: — собственность есть кража. Это я, понимаешь, я — тогда на автомобиле в уголу толпе изрекал, в тот самый день, когда шубу мою социализнули. Да. Продад. Все по форме и деньги в Шведском банке, самыми настоящими кронами и с королевской короной на бумажке, так то оно под королем вернее. Если бы было время, я бы какого-нибудь неограниченного монарха отыскал и туда бы деньги поместил. Да. О чем, бишь, я. Да, так стою в очереди. А старушка сзади меня в платке и так себе, паршивая совсем старушенка, заговорила о том, что при царе было лучше. А милицейский, — я его знаю, сын дворника нашего, реального шесть классов одолеть не мог, в милицию теперь поступил и говорит: — „да ведь царь то у нас был дурачек!“ А старушка, как взъелась на него, да как крикнет: — „верное твое слово, фараон несчастный, царь то был дурачек, да ситный стоил пятачек, а теперь поди, укуси ка этого самого ситного“. Вот тебе и старушка! Милицейский хотел ее в комиссариат тащить, по просту в участок — вся очередь за нее. Бунт был. Как кричали! И все за царя. При нем, мол, лучше было!

— Куда же вы, дядюшка,

— Заграницу, Саша. Все обратил в деньги. Спасское мое в Швейцарском банке в франках лежит. Дом в шведских кронах, движимое, до коллекций фарфора включительно, через одного доброго человека на испанские пезеты устроил. Теперь везу с собой маленькую коллекцию миниатюр, мне по знакомству передали из одного дворца... Ты не думай... Я сохраню, сохраню... А в Россию только тогда пожалую, когда верный человек ко мне приедет и скажет, что в России все по старому. Да и того допрашивать буду: — „Жандармы стоят?“ „Стой“. — „Ваше превосход-

дительство говорят?" — „Говорят”. Да такие, как, помнишь, у тебя вахмистр был Иван Карпович. Где он?

— Убит.

— Царство ему небесное. Этот не поддался бы. А помнишь Бондырев, ты его ко мне курьером устроил. Он где?

— Убит.

— Гм... Гм... Нехорошо, Саша. Все лучшие люди. А Ротбек, твой приятель? Такой милый, непосредственный, он бы не допустил.

— Убит.

— А Карпов? Ты как то рассказывал, влюблен в великую княжну Татьяну Николаевну? Он где?

— Убит.

— Ах, Саша! Что же это? Все честные и чистые Русские люди. Что же это?

— Война.

— Да, война... война... Прости Господи.

— Вы когда же и куда едете, дядя?

— После завтра, Саша. В Финляндию, оттуда в Швецию, поживу в Стокгольме, а там видно будет. Война — то похоже на смарку пойдет, так посмотрю, не то в Париж, не то в Берлин.

— Что же там делать будете?

— Как что? Все наши туда едут. Что делать!?. С п а с а т ь Р о с с и ю! — торжественно воскликнул Обленисимов.

— Из заграницы? От чужих людей спасти Россию. Губить ее, дядя, не нужно было — с глубокой горечью проговорил Саблин.

— Ну уж молчи! Молчи!.. А ты куда? Ты что надумал? Ужели здесь останешься?

— Останусь. Это мой долг. Я завтра еду в Перекалье.

— Это еще где?

— В глуши Пинских болот.

— Ты герой, Саша! Герой! Храни тебя Господь. Дай я перекрещу тебя.

Обленисимов облобызал Саблина, его глаза были полны слез.

С чувством горького недоумения выходил Саблин из особняка Обленисимова. Швейцар, уже без ливреи, в пиджаке, надев очки, читал газету. Он не шевельнулся, когда Саблин подошел к вешалке.

— Пальто подай! не видишь! — сердито крикнул Саблин.

Швейцар бросился подавать пальто и проводил Саблина низкими поклонами.

„Все они такие”, — гадливо пожимаясь, думал Саблин, — „ждут окрика и повинуются ему. Взбунтовавшиеся рабы!.. Только кто то теперь крикнет и что? Рабы! Slaves — esclaves!*) Странно, на всех языках и корень один и тот-же... Господи, что же это такое!”

И опустив голову Саблин шел и все поеживался от какого то неприятного чувства.

XXVII.

С середины мая Саблин поселился в помещичьем доме в Перекальи, где стал штаб его корпуса. Штаб был небольшой. Начальник штаба, генерал Заболоцкий, объявил себя сторонником революции и республиканцем, организовывал комитеты из штабных команд и целыми днями беседовал с ними на политические темы. Он создавал для телеграфистов, мотоциклистов и конвойного эскадрона народный университет и собирался развивать жмурую толпу грызущих семечки солдат. Штаб офицер Гарпищенко был озабочен украинизацией корпуса и вел тайные переговоры о создании особых украинских полков, на что свыше было полное сочувствие. Адъютант Своевольский, сангвиник лет тридцати, с шайкой удалцов мотоциклетной команды, пользуясь свободами, совращал девиц соседнего села и Саблин его почти никогда не видал. Старший врач Беневоленский, толстый, спокойный человек, с лицом скопца, открыто сказал, что он никакой революции не признает, что Государь не имел никакого права отречься, что раз он миропомазан, то благодать Божия

*) Славяне — рабы.

остается на нем, но подавленный общеою ненавистью к „царскому режиму” Беневоленский молчал и пил по пяти самоваров чая в день. Ординарцы, — один, славный юноша из кадет, смотрел на Саблина глазами преданной собаки и все, казалось, ожидал, когда он ему прикажет совершить подвиг и умереть, другой, убежденный демократ, ходил неуклюжими шагами и говорил грубым голосом. Первый при встрече неизменно становился во фронт, второй старался не замечать Саблина и вовсе не отдавал ему чести.

Ознакомившись с полками и с полковыми командирами, Саблин убедился, что заниматься чем бы то ни было, нельзя. Люди отказывались даже чистить лошадей и с трудом соглашались кормить их. Офицеры были поставлены на товарищескую ногу и не имели никакого влияния на людей. Солдаты требовали, чтобы офицеры ходили с ними к кухне и выстраивались с котелками в очередь для получения пищи. Только эскадронным командирам разрешалось обедать у себя. Солдаты жили в одних хатах с офицерами и ни на минуту не оставляли их одних. Им было внушено, что офицеры кавалерии самые опасные враги революции и за офицерами следили во всю. Вместо прежнего войскового уклада жизни солдатами явочным порядком был проведен свой уклад, который сводился к тому, чтобы ничего не делать. Полковые хозяйственные суммы, достигавшие значительных цифр составлявшие основу благополучия полков, были расхищены солдатами и поделены между собою. Части жили по инерции. Были случаи, пока еще единичные, продажи казенных лошадей каким то еврейчикам, которые, говорят, ухитрились переправлять их немцам. Корпус стоял в тылу, ничего не делал и быстро разлагался. Саблин с грустью убедился, что ничего сделать нельзя. Он донес по команде о состоянии корпуса и получил указание действовать через комитеты. А комитеты всецело поддерживали этот новый строй ничего неделанья, долгого сна, пьянства и картежной игры. Во многих полках были устроены солдатами аппараты для приготовления водки самогонки.

Саблин поехал с докладом в штаб армии. Армией командовал Репнин. Саблин нашел старого Репнина в маленьком домике, окруженном целым рядом казачьих постов. Он не дослушал Саблина.

— Милый друг, сказал он ему. Благодарю Бога, что ты живешь и можешь жить, как хочешь. Я сижу и ожидаю каждый день, что меня арестуют свои же солдаты. Вся надежда на казаков, но и они надежны лишь „постольку — поскольку”. Живи и жди!

— Чего ждать?

— Чуда.

Да, только чудо могло изменить этот новый порядок службы под красными знаменами!

Саблин замкнулся в своей комнате. Единственным увлечением его была верховая езда, но и та была отравлена.

Счастья больше на военной службе не было. Вопреки уверению гр. Л. Н. Толстого, что „ежели бы мог человек найти состояние, в котором бы он, будучи праздным, чувствовал себя полезным и исполняющим свой долг, он бы нашел одну сторону первобытного блаженства. И таким состоянием обязательной и безупречной праздности пользуется целое сословие — сословие военное. В этой то обязательной и безупречной праздности состояла и будет состоять главная привлекательность военной службы”*), вопреки этому уверению Толстого, именно теперь, когда Саблин и все окружающие его были безусловно праздны, они не были счастливы.

Саблин уже знал, что счастье не в праздности, а в творчестве, и он нашел это счастье и на военной службе. Готовил ли он караул во Дворец, занимался ли, уча эскадрон в ожидании смотра, учил ли новобранцев — он творил и он был счастлив. Его радовало, когда неуклюжие, серые и слабые физически люди под влиянием занятий гимнастикой, на полуфунтовой порции мяса, на каше, щах и хлебе до отвала, становились сильными, ловкими и смелыми. Он чувствовал,

*) Гр. Л. Н. Толстой „Война и мир”. Роман. Том. II. часть IV. Глава I.

что это он их создал такими. Саблина радовало, когда из равнодушных полусонных парней, не понимавших даже слова России, образовывались люди, обожавшие Государя, любившие Россию и гордые полковым мундиром. Слышал ли он в толпе похвалы своему полку, bravому виду людей — Саблин был счастлив: — это он сделал людей такими. Потрясался ли воздух от могучего взлета лихой солдатской песни, свистал в ней молодецким посвистом свистальщик, бил бубен, звенел треугольник: — это он, Саблин, научил их этим хорошим песням — и он был счастлив. Праздности не было. Даже в самое безпутное время до японской войны, время веселое и беспечное, Саблин был занят так, как редкий рабочий бывает занят. Бывало в три, в четыре часа утра он вернется с вечера или бала, после ужина со многими бокалами вина, — а в шесть часов мутно горят в манеже круглые электрические фонари и надо быть на езде. Там пьяный Ротбек крепится и не может сдержать улыбки на своих пухлых щеках, там Гриценко звонко ругается, там вахмистр говорит что то солидным басом. С езды — на пеший строй, с пешего строя на гимнастику, на словесность, на занятия с разведчиками — только поспевай. Военная жизнь часто была безпутная, наружно безцельная, но бездельной она не была никогда.

Счастье военной службы состояло в творчестве с одной стороны, с другой же в постоянном общении с природой, людьми и лошадьми — почему и служба в кавалерии давали более счастья и удовлетворения нежели служба в пехоте. Для любителя верховой езды, спорта и лошадей удовольствие службы в кавалерии увеличивалось возможностью иметь и отлично содержать лошадей. Наконец, во время войны прибавлялось ко всему этому ни с чем не сравнимое счастье победы и славы, которое заставляло все забывать: и гибель друзей и боль ран и близость самой смерти.

В Перекальи Саблин понял, что после революции нежественными руками штатских людей, взявшихся вести военное дело, все это было уничтожено. На фронте было ясно что война кончена. Можно было говорить какие угодно

пышные речи о проливах и о продолжении войны в полном согласии с союзниками в Петербурге, — эти речи не находили никакого отклика на позиции, где прочно была усвоена мысль: — „мир без аннексий и контрибуций”. Таким образом не только нельзя было рассчитывать вкусить снова величайшего счастья победы и славы, но надлежало готовиться к страшному позору поражений, к ужасу бегства, насилия солдатами и плена.

Не осталось возможности и творить что бы то ни было. Достаточно было, чтобы что-нибудь исходило от генерала, командира корпуса, или начальника дивизии, чтобы это отметалось солдатами с полным пренебрежением. Многие генералы в эти дни пошли по пути угождения и заискивания перед солдатами, чтобы вернуть их доверие — Саблин не мог пойти по этому пути и работать во вред службе.

Власти, блеска военной службы, пышности титулов, красоты обрядов, выноса знамен, отдания чести, общей молитвы, дружного пения, общих спортивных игр не стало. Все стало серо, скучно, линияло и некрасиво. Вместо любви и веры друг в друга встала взаимная ненависть и недоверие. Офицеры, за редким исключением, ненавидели и боялись своих солдат, солдаты ненавидели офицеров и следили за ними, шпионя через вестовых, подслуивая и поглядывая за всеми поступками офицеров.

Оставались одни животные — лошади, на которых не могла, казалось бы, отразиться своим смертоносным влиянием революция. Их добрый характер, их ласка, их любовь к природе и своему хозяину должны были остаться неизменными. Но революция задела и их.

У Саблина были две чудные кобылы. Прелестный гунтер Леда, служившая ему уже восьмой год, носившая его в атаку и разделившая с ним всю славу его воинских подвигов. Часто Саблин, едзя на ней, думая о ней, забывал, что Леда животное. Она была членом семьи, другом, понимающим все изгибы душевных переживаний Саблина. Саблин холил ее и ласкал. В тяжелые дни походной жизни он лучше

отказывал себе в прочной крыше, но Леду помещал всегда хорошо.

Другая лошадь, чистокровная кобыла Диана, была та самая, на которой был убит его сын. С нею тоже было связано не мало трогательных и славных воспоминаний. Нервная, чуткая Диана признавала только своего хозяина. Его она не кусала, не грозила ударить, для остальных она казалась злой и неприятной лошастью.

Они обе всегда были так чисто содержаны, что всякое прикосновение к их тонкой, блестящей, шелковистой шерсти вызывало удовольствие и радость.

Для ухода за ними у Саблина было два вестовых — Заикин и Ферапонтов. Заикин служил с Саблиным еще в нашем полку и ходил с ним в атаку на батарею, он был очевидцем всех подвигов Саблина и обожал его. Ферапонтов был взят из того гусарского полка, который Саблин получил после своего ранения. Он тоже любил своего генерала. Все их время проходило в заботе о данных на их попечение лошадях.

Теперь, в Перекальи, если Саблин входил на конюшню, когда Заикин и Ферапонтов были одни, они вставали перед ним, называли его „ваше превосходительство“, доставали хлеб и сахар для лошадей и вместе с Саблиным любовались ими и осыпали их ласковыми именами. Но часто у них бывали гости. Какие-то пехотные солдаты, солдаты штабных команд. Они о чем то шептались. При входе Саблина, Заикин и Ферапонтов делали вид, что не замечают своего генерала и не вставали. Если Саблин подзывал их, они отвечали хмуро и недовольно, грубо кричали на лошадей и норовили их толкнуть. Им было совестно при других быть вежливыми и ласковыми к Саблину, которого они любили и которому были многим обязаны.

Лошади уже не были так тщательно вычищены. Иногда Саблин находил на их теле маленькие ранки.

— Это что такое? — спрашивал он.

— Так, очеребалась, должно быть, обо что то, — отвечал вестовой.

Но раньше этого не было. Раньше и Заикин и Ферапонтов тщательно удаляли из сарая, где ставили лошадей, все то, о что лошади могли поранить себя.

На поездке — Саблин почти всегда ездил один — он мысленно беседовал с лошадьми и ему казалось, что также тихо, молчаливо лошади отвечали на его мысли. И ему казалось, что лошади жаловались ему на перемену к ним отношения вестовых, жаловались на то, что не видят больше полков в сборе и не скачут все вместе в победные атаки. Саблин изливал им свое горе и они понимали его.

Утром Саблин ездил нервную Диану, вечером, перед закатом, спокойную, понимающую его с полу слова Леду. Как ни старался Саблин выбирать такие места для прогулок, где бы не было солдат, он часто встречал группы по пять, по шесть человек. Солдаты ехали на худых, нечищенных, заброшенных лошадях, ехали на гулянье, куда-либо в деревню, играть в карты, пить самогонку. Иногда они отдавали честь Саблину, иногда кланялись ему, иногда отворачивались. Всеми силами они старались придать себе не солдатский вид.

Саблин видел солдат в огородах, копающих картофель, под осень во фруктовых садах, в лесах с винтовками, охотящихся на коз и зайцев, всюду они расторяжались чужим добром, как своим, везде их проклинали крестьяне. Саблин ничего не мог сделать. В одном месте в деревне он разогнал солдат, тащивших сопротивляющуюся девушку, и пригрозил им судом. Но, когда он отъехал на полверсты, из деревни раздалось три выстрела и три пули просвистало подле Саблина. Что мог сделать Саблин против солдат, которые могли стрелять по нему и оставаться безнаказанными?

Прогулки были отравлены.

Серо, скучно и уныло тянулось время Саблина в ожидании чего то, что должно было случиться. Что? Саблин не знал. Учредительное Собрание? Он в него не верил. При запуганности интеллигенции и обывателя, при страхе перед обнаглевшей солдатней, — что могло сделать и как могло собраться Учредительное Собрание?

Саблин, как и все в эти дни, ждал чуда, или, проводя аналогию с французской революцией, ждал Наполеона.

XXVIII.

Во второй половине августа к Саблину приехал из Петербурга его бывший шофер Петров и привез ему большой пакет от Тани. Когда Саблин посмотрел на толстый конверт, надписанный рукою, так похожую на почерк покойной Веры Константиновны, его сердце дрогнуло от недоброго предчувствия. Он отослал Петрова и, оставшись один, распечатал пакет. И опять, как тогда, выпали листки с номерами страниц, покрытые крупными торопливыми буквами. С притихшим сердцем подобрал эти листки Саблин и стал читать. Какой еще удар маленькими слабыми, детскими рученками наносила ему Таня — последнее дорогое существо, оставшееся ему в этой жизни?

— „Папа”, — писала ему Таня, — „милый, дорогой, славный мой папа! Папа, гордость моя! Честный папа — у меня потребность написать тебе, потому что тебя я люблю и уважаю беспредельно и знаю, что ты поймешь меня и не осудишь, и только похвалишь”.

„Ты знаешь, папа, из моего предыдущего письма, что Ника и Павлик Полежаевы сделали попытку освободить его и эта попытка им не удалась. Они до поры до времени принуждены скрываться и находятся в очень надежном месте. Петров тебе все подробно расскажет.

„31-го июля их увезли в Тобольск. С ними поехали Нагорный, Жильяр, Гибс, доктор Боткин, гоф лектриса Шнейдер, Гендрикова, князь Долгорукий, Деревенько с сыном Колей, Клавдия Михайловна Битнер и кое-кто из прислуги.

„Сестра Валентина получила оттуда письмо от Ольги Николаевны и представь, как трогательно! Она, зная, как у нас тяжело со съестными припасами, послала сестре Валентине полендвицу, ветчину и еще что-то. Сестра Валентина

„плакала, читая мне ее письмо. Святая женщина сестра Валентина, святые, святые они все, а мы все негодные, проклятушие, что не могли их отстоять. Ах, какие мы нехорошие, папа! Нам всем, женщинам Русским, следовало соединиться и идти требовать у Временного Правительства их освобождения. Мы не сделали этого. Ах, папа! какие мы подлые!

„Доехали они благополучно. Со станции Тюмень ехали на пароходе „Русь”, а лица свиты на пароходе „Кормилец”. Папа — пойми, „Русь” отвозила своего Царя в заточение и ссылку! Я плакала и негодовала, читая это. В Тобольск они прибыли 6-го августа в 4 часа дня. Дом был не готов и они до 13 августа жили на пароходе.

„13-го августа А. Ф. в экипаже с Татьяной Николаевной, остальные пешком прошли в свой дом. Дом этот раньше был домом Тобольского губернатора. Он каменный, двухэтажный. По иронии судьбы он находится на „лице свободы”. Устроились они в этом доме хорошо, но, конечно, не так, как нужно и не так, как они привыкли. Свита живет рядом, в доме Корнилова.

„Они устроили свой день так, чтобы все время быть занятыми. Государь с Ольгой Николаевной пьет чай в своем кабинете, А. Ф. пьет кофе в постели, остальные в столовой. До 11-ти Государь пишет в кабинете, после 11-ти идет заниматься физическим трудом, к которому привык и который любит. Он пилит дрова и строит площадку над оранжереей и лестницу. У детей до 11-ти часов идут уроки. В час дня завтрак, после завтрака до 4-х все гуляют по саду. В 5 часов чай. После чая занимаются играми, а потом уроками. В 8 часов вечера обед, после обеда чаще всего они собираются все вместе и Государь читает вслух. В 11 часов пьют чай в гостиной, а потом идут спать. Как видишь, они старались устроить свою жизнь так, как она была в Царском Селе. А. Ф. чувствует себя очень плохо. У нее болит сердце. Она целыми днями у себя и занимается рисованием, или рукодельем. Обед им готовит повар. За завтраком и обедом подают суп, мясо, рыбу и кофе.

„Государь преподает Наследнику историю, А. Ф. всем детям богословие и немецкий язык. Русский язык преподает К. М. Битнер, Жильяр французский язык, Гибс английский.

„Жизнь идет ровно и спокойно. Жители относятся хорошо и, если увидят кого-либо в окне, то кланяются, а иные осеняют себя крестным знамением.

„Ах, папа, что же это сделалось с Русскими людьми, ведь не хотят же они, чтобы их Царь жил в ссылке, как преступник, а вот молчат, и покорились... Кому? Кому? кому, папа!

„Они ходят в церковь Благовещения к ранней обедне.

„Папа, все это хорошо, когда пишешь, но когда поймешь, душою поймешь, что это такое, то ведь иного слова не придумаешь, как тихий ужас. Они живут в ожидании чего то страшного, что должно совершиться. Ах, папа, прочитав это письмо, я стала сама не своя. Я пошла к Рите Дурново. Ты ее знаешь. У ней над постелью всегда была надпись — „до издыхания предана моему Государю”. Мы плакали вместе и мы решили ехать туда, чтобы быть подле, чтобы спасти в нужную минуту и увезти. Я еду сейчас, Рита, у которой большие связи, остается пока здесь, чтобы проповедывать спасение Государя и организовать помощь.

„Папа, ты поймешь и не осудишь. Я продала все мои брильянты, меха и платья, я продала все, что имела, я оделась в платье простой крестьянки, которое купила в Перелесине у той девушки, которая носит Полежаевым молоко, я три дня изучала ее манеры и завтра утром я еду, чтобы быть ближе к ним. У меня ее паспорт. Я — папа, теперь Татьяна Шагина, крестьянка Царскосельского уезда, деревни Перелесино... Папа — сестра Валентина говорит, что это **подвиг. Нет, папа, это мой долг.** О, только бы помочь им! Хотя бы подойти когда-нибудь на ранней обедне и шепнуть им: — мы не забыли вас! мы думаем о вас, мы — Россия!..” Папа — рассеять их безнадежные думы, уничтожить этот тихий ужас размеренного существования. Папа! благослови меня и помолись за меня. Это мой долг. Крепко,

„крепко целую тебя и знаю, что ты, мой благородный, мой честный папа поступил бы на моем месте точно так же. Твоя маленькая Таня..”

„Великая моя Таня”, — подумал Саблин. „Так вот как кровь Саблиных платит своей императрице за то страшное оскорбление, которое ей нанесено. Призрак Веры не оставил Тани, бледная рука безвременной скончавшейся ее матери не поманила ее в мой запертый кабинет, не вскрыла ящик и не дала прочесть те самые записки, которые положат со мною в гроб”.

„Да разве хотела мстить императрице моя Вера? Она и в могилу унесла трогательное преклонение перед святыми для нее именами Богом помазанных царя и царицы”.

„Великая моя Таня! Да хранит тебя Господь в твоём подвиге. Но что сделаешь ты, сама слабая и сама неопытная?”

„А я? Что мне осталось? Ждать случая?”

„Нет”, — громко ответил сам себе Саблин, вставая, — „готовить этот случай. Бороться и победить!”

XXIX.

Несколько дней спустя Саблин взял отпуск на две недели и поехал в Петербург. Он хотел присмотреться и продумать, что надо делать. Московское государственное совещание взвинтило его нервы и возбудило в нём надежды. Саблин знал из газет, как принимали общество и народ верховного главнокомандующего Лавра Георгиевича Корнилова, как он проезжал сквозь многотысячную толпу, окруженный декоративным экзотическим конвоем Текинского полка, как с автомобиля он говорил притихшей толпе громовую речь о необходимости порядка и дисциплины. Саблин читал серьезную, нескладно сказанную речь первого выборного Донского Атамана Алексея Максимовича Кадедина, говорившего о том же от имени всего Донского казачества, там же выступал начальник штаба верховного главнокомандующего Михаил Васильевич Алексеев и все говорили, не таясь, не

скрывая ни от народа, ни от врага, который через своих агентов слушал их, об одном: о том, что армия погибла и нужны чрезвычайные меры, чтобы вернуть ту мощь и силу, которую она имела под двуглавым орлом. На этом совещании коротко, едко, остроумно, с ухватками демагога, сказал сильную речь казак-социалист Павел Михайлович Агеев, еще более поднявший патриотическое настроение совещания. В громадном зале Большого Московского театра сидели представители всех фронтов, сидели в грязных рубахах те самые, кто продавал пулеметы за бутылку немецкого рома, кто запрещал своей артиллерии стрелять, кто брался во время войны с врагом. Иногда они пытались кричать с мест: „неправда!“ — но их никто не поддерживал и шла речь за речью, как страшный обвинительный акт, как слово прокурора над краснознаменной армией. Бледно и устало говорил Керенский и слово его уже не было словом защиты, но продолжением того же обвинения. Московское совещание не дало никаких постановлений. Оно поговорило и разъехалось, ничего не сделав. Но зародились в обществе надежды, что спаситель России, Наполеон Русской революции явился и таким называли Корнилова.

Все в нем манило воображение Русского обывателя. Даже то, что он не был чисто Русским, что он был полукиргизом влекло к нему. Тоже Корсиканец своего рода. *Ex oriente lux!**) Сын простого казака, он отлично учился в корпусе, блестяще кончил академию, путешествовал по Памирам, во время войны был взят австрийцами в плен и легендарно, фантастично бежал из плена — это как-то походило на Арколе, Египет и чуму, которые предшествовали Наполеону. Он был любим Петербургским гарнизонам — толпою непокорных хулиганов — все это создавало над Корниловым ореол вождя и имя его было на устах всего Русского общества и всей армии.

Но только говорили о нем разное.

*) — Свет с востока.

Офицеры и старые боевые солдаты, окуренные порохом побед, обвеянные славою знамен, с любовью говорили о своем „верховном” и ждали восстановления старой дисциплины, старого внутреннего порядка в армии — возрождения самой Армии.

Молодые солдаты, не знавшие муштры, не испытывавшие упоения победами, молодые офицеры, видевшие в новых порядках широкие возможности удовлетворить своим честолюбивым стремлениям, говорили, пока осторожно и шопотом, что речь Корнилова означает поворот к старому режиму, к офицерской палке, к гнету помещиков и капиталистов, к возвращению проклятого царизма.

Саблин хотел лично проверить слухи, лично узнать, есть ли надежда на то, что армию будут лечить, потому что после того правильного диагноза, который был постановлен на Московском совещании неизбежным следствием должно быть лечение болезни. Было у Саблина и личное дело, которое он сам себе навязал и исполнить которое ставил вопросом чести. Это обеспечение и устройство вдовы Козлова и его дочери. Он знал, что она уже бедствовала, что даже той маленькой пенсии, которую выслужил ее муж, она не могла добиться у нового правительства и ее уже гнали из санатории. Саблин решил положить на ее имя значительную сумму денег и обеспечатить ее при помощи Мацнева.

К нему то и направился Саблин по приезде в Петербург, с именем Корнилова на устах и с верою в то, что должна же быть перемена, должен же быть просвет в несчастных злоключениях России.

— Ты думаешь, что Корнилов будет Русским Наполеоном, — сказал выслушав его внимательно и серьезно, Мацнев. — Боюсь, что ты ошибаешься. Не на тех нотах и не тем инструментом играет он, как нужно играть, чтобы овладеть умами Русского народа. Русский народ имел своих Наполеонов — это Стенька Разин, Кондрашка Булавин и Емелька Пугачев и к ним я бы прибавил еще теперешнюю компанию — буду называть по современному — Михаил Владимирович Родзянко, Александр Иванович Гучков и Александр Федоро-

вич Керенский. Поднимать знамя бунта все равно против кого, — против царя Алексея Михайловича, царя Петра Алексеевича, императрицы Екатерины Алексеевны, императора Николая Александровича, или псевдонимной компании временного правительства и совета солдатских и рабочих депутатов, — а именно в этом то последнем и зарыта собака, так надо за это что-нибудь, дорогой мой, и дать. Русский народ за *honneur et patrie**) умирать устал и его поднять можно только иными лозунгами и история показала, какими. Лихой атаман Стенька дарил вольности казачьи, бусы — корабли поволжские, царство персидское, Астрахань, княжну персидскую, дарил вкусную лихую жизнь, есть ради чего и помирать. Кондрашка на офицерской палке сыграл. „Вас, де, мол, казаков вольных в регулярство писать будут, бороды брить и волосы стричь вам станут, земли ваши отберут, помещиков воевод посадят, старую веру уничтожат” — ну и пошло, писать по хорошему. Емелька и того чище придумал. Землю и волю объявил. Золотую грамоту о разделе помещичьей земли с собою возил, крепостным рабам волю даровал, на престоле церковном сидел и кровью упивался, за таким мододцом стоило идти — хоть один день — да за то какой — мой! Ненышние бунтовщики против царя — Михаил Владимирович, Александр Иванович и Александр Федорович — будут их называть все-таки по современному, тоже охулки на руку не положили: — свободу народу даровали. Бей офицеров, грабь мирных жителей, насилуй женщин и ничего тебе за это не будет, это тоже не дурно пущено. Ну да, растерялись, энергию то к грабежу возбудили, разбойничьи инстинкты разбудили, а направить то их по настоящему и не смогли. Что же, Лавр Георгиевич, я его знаю по Петербургу, хороший, честный генерал, да ведь он опять-таки на бунт идет, на бунт против тех, кто поднял бунт, ну а лозунги то у него какие? Что он даст? Отдание чести и власть начальникам, а взбунтовавшимся то рабам что? Смертную казнь? „Я за то тебя, детинушка, пожалую, среди

*) Честь и родину.

поля хоромами высокими, что двумя ли столбами с перекладиной”. Так, ведь, для того то, чтобы иметь право такими хоромами жаловать, надо Богом венчанным царем быть, надо, как Петр, самому головы непокорным стрельцам рубить, надо плоты виселицами уставить, да по Дону спустить, да всем этим лично управиться, либо надо Суворова иметь, который бы, как борзая собака за волком, за Пугачем гонял, да в клетке его вез. Лавру то Георгиевичу с чего начать бы пришлось. Кто царя свергал, Михаил Владимирович! Кто приказ подписывал — Александр Иванович. Кто армию развратил и господина Ленина, немецкого шпиона, принимал? — Александр Федорович! — Бей их!... Да, и вот кровью то их упившись, может, и можно было бы повернуть по своему. Так, мол, поступлю со всяким, который, когда я говорю, дыхание не затаит и руку под козырек не возьмет. А что же он: — „я революционер, мол, я с народом”, ну, коли с народом, — так втыкай штыки в землю, лобызайся с немцем и иди грабить помещика. Нет, Саша, уж ежели ты Наполеона ищешь, так приходи ко мне в семь часов вечера, я тебе покажу Наполеона настоящего, который понимает толк ловли рыбы в мутной воде и знает, что надо делать. Ты вот меня тогда, когда на Распутина мы шли в Понсон де Террайльщине упрекал и Пинкертоном называл, ну а теперь я опять попрошу: приходи ка ты ко мне в штатском, да грязном. У дворника платье возьми, потому что, ежели явишься туда генералом, так, может, и живой не уйдешь. А послушать интересно.

— Куда же ты меня поведешь?

— Туда, где было изящество разврата. Где были ванны из оникса и ночные вазы из Севрского фарфора, где был культ женщины, где блистала современная Фрина, красивая уже тем, что умела обожествить каждый уголок своего тела и из каждого естественного акта сделать священное таинство, которая цинизм довела до красоты и так пропиталась фимиамом, что и сама сделалась неземною. Туда где обнажение тела не было оголением но сверкающей наготой божества.

— Интересно.

— Было, — да. Очень. При всем своем равнодушии к женской красоте и женщинам я понимал ее и тех, кто был при ней. Теперь ты увидишь нечто другое. Придешь?

— Приду.

XXX.

Ясное августовское небо темнело. Последние багряные лучи заходящего солнца горели на стеклах окон, точно пожар занимался в домах. Нева темнела под высоким Троицким мостом и яркою синевою вспыхивал за нею купол белой мечети. Тенистые липы Александровского парка, чуть тронутые желтизною, с каждой минутой теряли краски и очертания, сливаясь в густую массу, сквозь которую кое где просвечивало алое небо. На востоке уже загорелась вечерняя звезда и небо оттуда заливалось фиолетом, постепенно поднимавшимся кверху. Священная тайна совершалась и темная ночь сменяла день.

Разом вспыхнули фонари по всему Каменноостровскому проспекту и как будто яснее стал гул трамваев, щелканье копыт по торцу и частые гудки моторов. Толпа стремилась в оба конца к островам и с островов, она расплывалась по Троицкой площади, заполняла ее, толпилась у ветхого крылечка Троицкой церкви, той самой, где Сенат Российский нарек императора Петра именем Великого и „отца отечества“.

Осенний холодок тянул от пустынной Невы. Пахло сыростью, прелым листом, конским навозом, пахло керосином, пахло осенью шумного города.

В цветниках вдоль проспекта, против памятника великому матросу, положившему жизнь свою за честь Андреевского флага и за славу России, цвели пестрые астры и лиловые гелиотропы и вдоль зеленого газона мохнатым узором переплеталась голубая лобеллия с коричневыми и желтыми листочками декоративных травок.

Против мраморного особняка Кшесинской с балконом в помпейском стиле, стоял густою стеною народ. Люди ввали-

лись на газоны, на цветники, топтали их своими сапогами, мяли порыжевшие темные кусты сирени и голубые молоденькие американские елки.

Матросы, в открытых синих и белых матросках, из которых упрямо выдавались чисто вымытые, нетронутые загаром шеи с широкою обнаженною грудью, в цепочках с камнями, с татуированными руками с изображением якорей, змей и драконов, солдаты в серых рубашках и таких же штанах, в башмаках с обмотками, в фуражках, заломленных на затылок, с клоками подвитых волос, спускавшихся на лоб, казаки в изящных френчах и синих галиффе с таким широким алым лампасом, что издали они казались красными, молодые офицеры, одетые также, как и солдаты и обнимавшие за шею солдат, стояли в перемежку с пестро, крикливо одетыми женщинами, молодыми, красивыми, со смелыми жадными лицами.

Среди преобладающей серой массы солдат и офицеров видны были темные поношенные пиджаки рабочих и молодых людей интеллигентского вида, легкое пальто любопытствующего интеллигента, поднявшегося на цыпочки и жадно с полуоткрытым ртом глядящего поверх голов толпы, барышни, подростки, гимназисты, студенты, священник в рясе, купец, солидный господин. В эту толпу протискались в девятом часу вечера Мацнев, одетый каким то апашем в широкополой шляпе, стареньком пиджаке и пледе, накинутом на плечи, и Саблин в шофферской куртке Петрова, и в шофферской шапке, с независимым видом знающего себе цену „товарища”.

Впереди над толпою вспыхнуло и погасло красное пламя, точно пробовали красные лампочки электричества, или зажгли бенгальский огонь.

— Значит опять анархисты будут свою лекцию показывать, сказал солдат, стоявший впереди Саблина.

— Не анархисты, а коммунисты, это различать надо, — поправил его сосед.

— Ленин будет говорить, сам Ленин, — сказал широкоплечий красавец, матрос гвардейского экипажа, стоявший в первом ряду.

Мацнев, увлекая за собою за руку Саблина, протискался к нему и спросил у него.

— Скажите, товарищ, кто же будет этот Ленин?

— Ленин, Вы разве не слыхали? Даже и в газетах писано. Ленин немецкий шпион. Он приехал из Германии в запломбированном вагоне для того, чтобы помогать немцам. Читал я, что он семьдесят миллионов получил на это дело от немцев.

— И что же? Позволяют ему?

Матрос покосился на Мацнева.

— А почему нет? Теперь свобода. Каждый может. А ты рассуждай и своим умом доходи, что правильно, и что нет. Никаких тайных договоров царской дипломатии.

— Но все таки, товарищ, идет война, и приезжает из вражеской земли человек, получивший деньги. Ведь раньше за шпионство и предательство вешали.

— Так это, вмешался в разговор молодой солдат в рубашке без погон, лущивший семечки — при старом режиме так было, когда, значит, насилие всякое и смертная там казнь, а нонче, свобода. Сказывают: он правильно говорит про все и про войну правильно. А что шпион он, или нет, так это доказать надо. Может нарочно обманывают людей, потому что он из народа и за народные права стоит. А вы кто такой будете?

Мацнев ничего не ответил.

Красные лампочки вспыхнули на балконе дома Кшесинской и осветили балкон, затянутый красным кумачем. Громадные красные фалги тихо реяли подле. Ночь уже спустилась на землю, закат догорел, было темно и в этой темноте кровавой нишей горел балкон дома Кшесинской.

На балкон, из внутренних дверей, вышла группа оживленно болтающей молодежи. Одетые, кто в пиджак, кто в солдатскую рубаху они все имели на груди громадные красные банты с лентами до самого пояса. Они имели вид лю-

дей только что хорошо пообедавших и выпивших. Среди них выделялся худощавый человек с типичным еврейским лицом, с неровными приподнятыми бровями, с усами и маленькою Мефистофельскою бородкой, в пенсне. Он выдвинулся несколько вперед и гордо стал, скрестив руки на груди.

— Троцкий!.. Троцкий!.., пронеслось по толпе.

И почитай все жида, — сказал кто то простодушно.

— Жида те же люди, — ответили из толпы.

— Поумней многих Русских будут.

В группе, стоявшей на балконе, произошло почтительное движение и через нее вперед к самой балюстраде балкона вышел небольшой, нескладно сложенный человек.

— Ленин! Вот он Ленин! — раздалось в толпе.

— Я тебе, Дженька, прямо говорю, — услышал Саблин сзади себя негромкий голос, — Русского человека огоршить надо. Помнишь, я насчет Казанской иконы и Серафима Саровского говорил. Так вот и Ленин. На те мол, из Германии приехал, все знают, что я шпион и деньги за это получил, а вот видите говорю с вами и учу вас. Наглость без меры. Это Русский народ любит, за таким обязательно пойдет.

XXXI.

У Ленина были коротенькие ножки и длинное туловище с ясно обозначенным круглым животом. Он был одет в простую тройку с красными бантами, от красного освещения казавшуюся красной. Большая голова с маленьким некрасивым лицом сидела на короткой шее. Через всю голову шла самая обыкновенная лысина. Маленькие косые глаза, над которыми подымались тонкия брови, смотрели весело. Неправильный плоский нос, ошипанные усы и крошечная борода клинушком под длинным плотоядным ртом — все было типичным лицом интеллигента, какогонибудь бухгалтера, учителя, банковского чиновника. Ничего в нем не было от народа, ничего Русского и тем более ничего Наполеоновского. В лице Ленина Саблин подметил черты ненормальности, временами чисто идиотская, безмысленная улыбка кривила

его полные одутловатые, опухшие щеки. Это был урод в полном смысле слова, продукт вырождения, умственной не по разуму работы, сытой, спокойной, неподвижной жизни философа.

Он пододвинулся к самой балюстраде, обтянутой красным, оперся на нее руками и долго молча смотрел на толпу.

— Вся власть советам! — сказал он, наконец и начал говорить. Говорил он нескладно, с некрасивой дикцией, короткими фразами, часто повторяясь и у Саблина создавалось впечатление как будто этот маленький человек с упорством идиота огромным молотом вколачивал в мозги слушавших его людей свои дерзкие, преступно-простые мысли.

— Вся власть советам, — повторил Ленин, — потому что это подлинная народная власть. Власть неимущим, власть бедным, власть пролетариату. Капиталисты веками гнали народ, пили народную кровь. То, что принадлежит им — не их, а взято ими у других. Тот, кто имеет — тот украл. Собственность кража. Правда наступит на земле тогда, когда ни у кого ничего не будет, но все будет у всех, а потому тот, кто берет, делает правильно, потому что берет награбленное. Грабь награбленное, а потом разберемся — вот в чем углубление революции.

Толпа слушала, затаив дыхание. Солдат, луцивший рядом с Саблиным семечки, так и застыл с невыплюнутой шелухой и не сводил глаз с лица Ленина.

— Нам надо, — продолжал Ленин, — сбросить старое белье, название социал демократов и вместо прогнившей социал-демократии создать новую социалистическую организацию коммунистов... Одно из двух, — или буржуазия, или советы — тип государства, который выдвинут революцией, или реформистская демократия при капиталистическом министерстве, или захват власти целиком, на который наша партия готова... Наша программа? — Опубликуйте прибыли господ капиталистов, арестуйте пятьдесят, или сто крупнейших миллионеров. Без этого все фразы о мире без аннексий и контрибуций пустейшие слова, измена и лакейство!.. Объявите, что мы считаем всех капиталистов разбойниками. То-

гда трудящиеся вам поверили-бы. Мы уже готовы на это... Ставка в Могилеве — центр контр-революции. Мятежники генералы, не желающие подчиниться воле Русского народа ведут открытую контр агитацию среди солдат. Надо объявить вне закона тех мятежных генералов, которые дерзают святотатственно поднять свою жалкую руку. Не только всякий офицер, всякий солдат не должны им повиноваться, но всякий офицер, всякий солдат, всякий гражданин имеют право и обязанность убить их раньше, чем они поднимут свою руку.

— Муки совести... — а те, кто учит вас этим мукам разве имеет совесть? Попы вас обманывают, говоря вам о Боге. Правительство для того, чтобы держать народ в рабском состоянии, капиталисты для того, чтобы эксплуатировать народ, придумали религию. Религия — опиум для народа. Проснитесь и поймите, что храмы ваши раззолоченные неуютные здания. Долой попов! Они заставляют вас думать о небесном для того, чтобы вы забыли земное и терпеливо переносили свое иго. Для чего вы воюете? Я вас спрашиваю: — для чего? Разве немецкий рабочий не так же страдает от капиталистов фабрикантов, разве крестьянин не в кабале у барона-помещика? Их гонит на войну кровавый император. Воткните штыки в землю и через головы своих начальников протяните руки мира трудящемуся германскому, народу. Помогите ему свергнуть Вильгельма так же, как вы свергли Николая кровавого. Мир, свободу и хлеб несут вам советы и партия большевиков! Мы — большевики потому, что мы даем больше всего народу. Мы гонимы, потому что мы проповедуем правду.

На лице идиота то появлялась, то исчезала змеиная сатанинская улыбка.

— А не антихрист это товарищи? — прошептал пожилой рабочий. — Ишь о Боге нехорошо как говорит.

— Господи! Твоя воля! Шпион, немецкий шпион и какое проповедует!

— Не мешайте, товарищ. О земле говорит.

— Земля ваша. Берите и владейте ею. А, если кто мешает вам, боритесь с ним. Вы народ, ваша воля, ваша власть.

Возьмите себе такое правительство, чтобы помогало вам, а не мешало, — неслось с красной трибуны.

— Это потакать, значит, погромам, — удивленно сказал прилично одетый человек.

Красное освещение то вспыхивало сильнее, то ослабевало, и кровавые тени прыгали по лицу Ленина и вспыхивали на его лысине.

— В руки народа должна перейти вся прибыль, доходы и имущество крупнейших банковых, финансовых, торговых и промышленных магнатов капиталистического хозяйства. И это будет тогда, когда вся государственная власть перейдет в руки советов солдатских и рабочих депутатов. Кто не идет с советами, тот изменник и его просто надо уничтожить. Проще смотрите на это дело. Вам говорят: не нужно смертной казни и мы против смертной казни, но мы уберем с дороги всякого, кто станет нам по пути. Мы не пацифисты и воля народа священна для нас и кто не понимает этого — тому нечего жить. И мы уберем с пути трудящихся всех генералов, мечтающих о продолжении войны, всех помещиков, тоскующих о земле и рабском труде батраков, всех эксплуататоров. Земля народу, фабрики рабочим, капитал государству и мир всему изстрадавшемуся человечеству.

Внезапно погасли красные лампочки. Балкон дома Кшесинской погрузился в темноту и было видно, как темные тени поднялись там и стали уходить в дверь.

— Товарищи! — раздался искренно возмущенный голос у решетки. Кто то, взобравшийся на цоколь, кричал чуть не со слезами. — Товарищи, как же это так! Немецкий шпион и прочее, открыто проповедует. Ему на веревке висеть. Можно сказать предатель Российского государства и жидова кругом его! Как же это, товарищи!

— Довольно! Буде!

— Погромщик!

— Долой! Долой его!

— И вот так, — выходя с Саблиным из толпы сказал Мацнев, — по несколько раз в день. Эта толпа разойдется, вспыхнут снова огни, привлекая новую толпу и, когда она

соберется, выходит этот маленький человек с лицом идиота и долбит свое, как дятел.

— А правительство?

— Правительство сначала засадило в крепость всю эту теплую компанию, прибывшую к нам в запломбированном вагоне и хотело назначить следствие, но потом, по приказу Керенского, освободило их.

— Керенский! О чем же он думал?

— Партийные работники. Ведь по существу они одной партии, — а там большевики, меньшевики это уже подробность. Партийность теперь все. Партия выше государства.

— Кто же в конце концов этот Ленин?

— Пойдем ко мне и я тебе расскажу то, что говорят про него.

XXXII.

Мацнев жил с женою в конце Пушкинской улицы. У него было двое детей — мальчик четырнадцати лет и девочка шести и оба не от него, он это знал лучше чем кто либо. Обыкновенно муж и жена находились на своих половинах и бывало так, что они по неделям не видались друг с другом. Но со времени войны они как то сблизились, сошлись на общих интересах войны, а со времени революции они стали друзьями. Много способствовало этому и то, что Маноцков был убит в 1915 году во главе своего полка и Варваре Дмитриевне приходилось скрывать свое неутешное горе. Тут Мацнев отнесся к ней с истинно христианским участием и утешил ее умною и дружеской беседой. Варвара Дмитриевна была моложавая и красивая. Она была умная и образованная женщина. Когда она была в полку, ее боялись и когда нужно было услышать честный и разумный совет, с нею советовались.

Варвара Дмитриевна искренно обрадовалась Саблину.

— Варя, чайку нам дашь? — сказал Мацнев и Саблин с удивлением услышал и это „ты” и это уменьшительное имя.

Они уселись в столовой.

— Так вот, Саша, Ленин этот самый является до некоторой степени загадкой.

— Прости, Иван Сергеевич, перебила его Варвара Дмитриевна, вы будете говорить о политике?

— Да.

— Я осмотрю комнаты. Не подслушивают ли. Мавра у меня служит двадцать лет, я ее девчонкой взяла и сама воспитала, а теперь так и трется у дверей, все норовит подслушать и передать в комиссариат. Павел — тоже сам не свой. Ливрею надевать отказался — это, говорит, — мундир раба.

— Да, Саша, народ с ума посходил. Да и как не сойти, когда слышал, какую философией его пичкают и какую звериную, погромную религию ему проповедают. Так вот о Ленине. Говорят о нем многое. Начну сначала. Владимир Ильич Ульянов, литературный и революционный псевдоним Н. Ленин, родился в Симбирске 10-го апреля 1870 года. Он происходит из потомственных дворян. Отец его, когда то богатый помещик, занимал довольно видное место инспектора народных училищ. Старший брат Ленина, Александр, в 1887 году был обвинен в организации покушения на императора Александра III и приговорен к смертной казни. Прокурор на мольбы матери о помиловании сказал, что помилование будет наверно, если только Ульянов признает свою вину. Было составлено прошение и надо было, чтобы осужденный подписал его. Он отказался. Приближался день казни. Накануне мать с младшим сыном Владимиром, которому было тогда шестнадцать лет, отправилась в Шлиссельбургскую крепость, где помещался сын, присужденный к смерти. Целую ночь в присутствии жандарма и на глазах у Владимира она простояла на коленях на холодном полу, не спуская глаз с сына и протягивала ему перо и бумагу. Сын остался непреклонным. На рассвете его казнили. Этот случай произвел страшное впечатление на мальчика и сделал его почти душевно-больным. Замкнутый, угрюмый, одинокий среди товарищей, типичный „первый ученик“, всегда выставляющий свою руку над головами товарищей, любитель „пятерок“, ревниво обе-

регающий свою собственность, никогда не подсказывающий товарищам и не позволяющий списывать — он замкнулся в себе еще более. Он был от природы скуп и расчетлив. Никто из товарищей не любил его. Он был жесток и равнодушен к слезам и страданиям людей. По окончании гимназии Ленин поступил на юридический факультет Казанского университета, откуда был исключен за участие в кружках. Ленин переехал в Петербург, где сдал государственные экзамены. В Петербурге, в „союзе освобождения труда” началась его нелегальная работа. В конце девяностых годов Ленин был арестован и отправлен в ссылку. Из ссылки он бежал за границу, в Швейцарию, и в 1901 г. вместе с Плехановым вошел в редакцию газеты „Искра”. Писать, или проповедывать, кроме жидкой и плохо составленной брошюры о земельной собственности, да пошло-революционных газеток „Вперед” и „Искра” он ничего не писал — проповедывать... Но ты слышал сам, как он говорит: — камни ворочает, он не оратор, да и наружность у него отталкивающая, он просто жил в Швейцарии, пользуясь репутацией убежденного марксиста, полупомешанного, человека, ненавидящего Россию и способного на любую гнусность, потому что он даже и не понимает и не признает, что такое гнусность. Вот тебе наглядный пример: в 1898 году в России основалась социал-демократическая партия. В 1903 году, на Лондонском съезде, она раскололась на партии меньшевиков и большевиков и во главе большевиков стал Ленин. В 1905 году Ленин приехал в Петербург и, здесь, для разрушения меньшевиков, Плехановцев, которых он возненавидел, он сошелся с агентами охранной полиции — Малиновским, большевистским депутатом в Государственной Думе и Черномазовым — редактором выходившей тогда в Петербурге газеты „Правда” и стал работать через департамент полиции.

— Милая личность, — сказал Саблин.

— Да, Саша, человек, у которого *ni foi — ni loi**) и в этом вся его сила. Война с Германией застала его в галиций-

*) Ни веры, ни закона.

ской деревне. Он был арестован австрийскими властями, но вскоре отпущен и переехал в Швейцарию. Здесь он принял участие в Циммервальдской и Кинтальской конференциях и выработал резолюцию о том, что для рабочих всего мира поражение выгоднее победы. Он стал работать для этого поражения. В 1914 году германский генеральный штаб в поисках шпионов и предателей обратил внимание на достойного Владимира Ильича. Владимир Ильич тогда не признавал отечества, поэтому германское императорское правительство могло, по его мнению, не быть его врагом. Он носился в это время с мечтами о мировой революции и ему были нужны деньги. Много денег. Его взгляды оказались удобными для германского штаба и он получил крупную сумму в 70 миллионов марок, за которую и обязался разложить Русскую армию и склонить Россию к сепаратному миру. Итак, сумасшедший, политический преступник, маниак, утопист, шпион и предатель, о котором в распоряжении сыскной полиции были самые точные неопровержимые данные, прибывает с определеенною целью уничтожить и опозорить Россию за немецкия деньги. Об этом знает Керенский и вся его теплая компания, об этом знает верховное командование, знают союзники... Что они делают — ты сам видел.

— Шут гороховый, — сказал Саблин.

— Конечно, шут гороховый. Но этот шут с необыкновенным упорством ведет свое дело. В начале лета, некий блестящий донец предает своего командира в руки солдат, которые его чуть не разорвали. Следствие. Донец получил на это деньги из дворца Кшесинской. Все наши следствия о бунтах в войсках приводят к одному месту: — дворцу Кшесинской. Дворец Кшесинской обивают красным кумачем, ввинчивают красные лампочки, там ежедневно по несколько раз появляется этот шут и говорит свои страшные речи. Скажи мне, Саша, кто виноват? Германский генеральный штаб, который, изнемогая в борьбе с врагом, решил пустить такие удушливые газы, которые бы задурманили мозг Русского народа?

— Нет, — сказал Саблин.

— Я знал, что ты скажешь „нет”. Я знал, что ты справедлив. На войне все средства позволены. И это уже наше дело парализовать работу неприятеля. Что же, Ленин виноват, в том, что он разрушает армию? Но, ведь, знают, кто он такой, его формуляр имеется от юных дней, знают, и откуда он приехал, и для чего, и с какими деньгами. Нет, и Ленин не виноват,— а виновато правительство и народ. Да и народ я откину. Виноват во всем Керенский и те, кто с ним. Но, слушай дальше. Уже кажется и так физиономия Ленина достаточно хороша и определена, но Русскому обществу этого мало. Особенно высшему, интеллигенции. Ему нужно оправдать свою гнусность тем, что с Лениным нельзя бороться, потому что за ним стоят какие то страшные силы: всемирный еврейский кагал, всемогущее масонство, демоны, бафомет, страшная сила бога тьмы, побеждающего истинного Бога. На ухо шепчут: Ленин не Ульянов, сын Саратовского дворянина. Русский не может быть предателем до такой степени, на такое дело пойти может только еврей. И вот творится легенда. В конце 70-х, или начале восьмидесятых годов, через Симбирск, в Сибирь, шла партия каторжан. В числе их был еврей Хаим Гольдман и с ним его сын, маленький, слабенький еврейчик. Он свалился на улицах Симбирска и его подобрала жена Ульянова, крестила его и, не смотря на протесты мужа, усыновила. Итак, Ленин еврей.

— Какая ерунда! — воскликнул Саблин, — мы же видали его. В нем ничего еврейского, скорее что то монгольское в его косых глазах. И почему, Иван Сергеевич, на гнусность против Родины не способен Русский человек?! Разве не Русский дворянин, и князь, Крапоткин, положил краеугольный камень той анархии, той тюрьмы для Русского народа, здание которой выводит теперь Ленин. Родзянко и Алексеев, разве не Русские люди, а не они ли толкнули монархию и, повалив, разбежались!

— Верно, верно, Саша, но тогда, нет таинственности, тогда не о чем шептать друг другу на ухо и передавать тайны, только мне одному известные. Да, видишь ли, и этого мало нашим кумушкам. Оказывается подлинный Ленин, уже

не знаю который, Ульянов ли, или Гольдман, ну, словом, тот, который писал в „Искре” и редактировал „Вперед” и был вождем партии большевиков умер в Берлине в 1912 году и партией социал-демократов был заменен похожим на него еверем Циберлейном. Так еще вкуснее выходит. Одна фамилия чего стоит!

— Все это хорошо для бульварного романа.

— Не только, Саша, для романа, это хорошо и для будущего историка. Как теперь Соловьевы, Костомаровы, Ключевские носятся с разными Лжедмитриями, так в будущем придется повозиться с Лениным. Мы то теперь все знаем, а лет через триста разберись-ка, где правда.

— А по твоему, где правда?

— По моему... Мы ведь своими глазами видели. Ленин есть Ленин и больше ничего, ни жида, ни дьявола, ни масона тут нет.

— Когда я командовал N-ским армейским корпусом, — пуская клубы папиросного дыма, сказал Саблин, — одной из рот командовал капитан Верцинский. Пренеприятная личность, — социал-демократ, меньшевик, Плехановец. Он мне все тумана напускал с масонами. Что ты, философ, зарывшийся в книги, об этом думаешь?

Мацнев не сразу ответил.

— Видишь ли. Русское общество любит таинственность. Ему дай Пугачева, а сзади поставь императора Петра Феодоровича, скончавшегося и погребенного. Ему дай Наполеона и при нем звериное число 666 и легенды Апокалипсиса. Так и тут, — что Ленин, Вильгельм — это неинтересно. Нет, вот, если Ленин, масон высокого посвящения, если тут, и треугольник, и циркуль, и змий, и тьма веков, доходящая до Адонирама и бычья голова Бафомета, ну тогда — полное оправдание и нашей растерянности, и нашей покорности и трусости. Сила, мол, солому ломит. А масоны сила.

— Ты не веришь в масонов?

— Как не верить в то, что есть. Масонские ложи были и теперь есть, в них не верить нельзя, но во всемогущество

масонов я не верю. Хотя, конечно, есть какие то странности и, хотелось бы, чтобы их не было.

Мацнев замолчал и задумчиво помешивал чай в граненом хрустальном стакане. Варвара Дмитриевна тихо сидела за самоваром и смотрела на опущенную портьеру двери, Саблин ждал, что скажет дальше Мацнев.

— В 1905 году, некто Нилус выпустил книгу под названием „Сионские протоколы”. Мне, как бывшему правоведа, сразу стало заметно, что это ловкая имитация. Сионских мудрецов, конечно, никаких не было. Не было и их протоколов и вся книга не протоколы действительно бывшего заседания, но компиляция различных ученых трудов, имеющих прикосновение к масонству. Книга, по своему провидению, поразительная. Мало ли таких книг выходило и выходит, но вот, что любопытно. Она мало обратила внимание публики, но за то теперешнее правительство, во главе которого стоит Керенский, усиленно ею заинтересовалось. Она вышла на днях, не знаю, каким уже изданием. Иду я, 5-го июля, по Литейному. Большевики бунтуют. Трупы казаков и казачьих лошадей еще не убраны. Вдруг вижу большой наряд милиции у книжного магазина и вся лавка наизнанку вывернута.

— В чем дело, товарищи, спрашиваю.

А бравый милицкий, видать, каким то чудом из бывших городских, рапортует мне:

Распоряжение господина Керенского, чтобы книгу Нилуса „Сионские протоколы” изъять из обращения. Вредная, сказывают, книга.

„Вот тебе, и свобода печати”, — подумал я. — „Вот тебе и завоевания революции. Совсем это, как при проклятом Царизме делается. Да и книга видно хороша, что в такое тревожное время ее отыскивать надо”.

Мацнев допил чай и, увидав, что Саблин отказался от него, сказал:

— Пройдем в кабинет, я покажу тебе целую литературу по вопросу о масонстве. Согласись, милый друг, не было бы масонства, не стали бы писать о нем толстые томы.

XXXIII.

Мацнев достал из книжного шкафа несколько книг, бросил их перед собою на стол, уселся в кресло против севшего спиною к окну Саблина и заговорил:

— Если хочешь, Саша, мы стоим перед тайной, открыть которую не можем. Ты слышал слова Ленина — „Бога нет. Религия — опиум для народа“. Да так-ли? Бога нет, а чорт есть? Дьявол существует, а существует дьявол — значит и Бог есть. Есть темное, есть и светлое. Если брошена тень, то есть источник света, который эту тень бросил. Мы изобрели беспроволочный телеграф, удушливые газы, мы заставили электричество работать на себя, мы додумались Бог весть до каких откровений, а мы проглядели то, что параллельно с кротким учением Христа, которое мы забросили и забыли, существует учение ему противоположное.

— Смотри Саша. Эта книга давно у меня. Я купил ее в 1907 году в Париже, тогда, когда мы и не думали, ни о войне с Германией, ни о революции, ни тем более о Ленине. Это сочинение Jean Bidegain — *“Masques et Visages Maconniques”, documents inedits*, издана в 1906 году, librairie Antisemite, 45, Rue Vivienne, Paris*). У нас за один заголовок назвали бы книгу погромной. На обложке древняя маска и алый угол ленты с крестами и фригийским колпаком, папский наперстный крест. Эпиграфом стоит: — *“En premier lieu, arrachez a la Franc-Maconnerie le masque dont elle se couvre, et faites-la voir telle qu'elle est” Leon XIII**)*. Она начинается историческими — примерами, вероломства масонов. А вот на странице 10 я уже читаю и выводы: —

— „Мы должны отметить в течение почти двух веков во всех странах и во все времена, крайнее противоречие между словами франк-масонов и между делами их, между принципами, которые они проповедают публично и между собы-

*) Жан Бидегэн. „Лицо и маска масонства“, неизданные документы. Антисемитская книготорговля, 45, улица Вивьеннь, Париж.

**) Прежде всего сорвите маску с франк-масонов, которою они прикрываются и посмотрите на них, как они есть. Лев XIII.

тиями, которые они готовят терпеливою оккультною работою...

— „Внимательное изучение франк-масонства и его деятельности, приводит нас к тому, что нельзя судить о масонах по тем маскам, которыми им хочется прикрыть свое истинное лицо, ни по их публичным речам, но с самого их появления у них существует свой секретный план, который не знает большинство их учеников, но который проводится ими последовательно, широкими штрихами. Средством проведения этого плана в жизнь является уничтожение интеллигентных сил и средств, традиций и веры, который составляют скелет и основу всякого отечества”.

— „В частности во Франции”, — ведь это пишет француз, — „работа масонов заключается в трех видах быстро и точно ведомой борьбы: борьбы против католической церкви; борьбы против всякого правительства, обладающего сильным авторитетом; разрушения основ всякого общества: — семьи, собственности, идеи Родины”... И вот, Саша, не веришь, а невольно задумаешься. Разве не то же у нас? Разрушение веры, низвержение царской власти и устранение всякого авторитетного правительства. Поверь мне, при такой работе Наполеону не появиться и, разве это не есть точное и систематическое проведение в жизнь учения таинственной еврейской каббалы: — и лучшего изгоев убей!..

— Значит, сказал Саблин, масонство и еврейство одно и то же.

— Видишь-ли. Великий провидец Русский Ф. М. Достоевский в „Дневнике писателя” в 1877 году обмолвился: „жид и его кагал все равно, что заговор против Русских”. Шмаков, С. Нилус, А. Селянинов, Лютостанский в книгах, ставших теперь библиографическою редкостью доказывают, что существует тайное интернациональное правительство и правительство это еврей.

— Да, на это мне намекал и Верцинский.

— Это тайное правительство яко бы образовало орден вольных каменьщиков, франк-масонов, под христианской маской помощи ближнему. Это общество должно помочь

евреям разрушить государственность и в первую очередь империи.

— „Теперь”, — пишет Бидеген, — „франк-масоны набирают своих слуг среди карьеристов всякого рода, между медиками, адвокатами и в простом народе. Они не гнушаются, — напротив, они привлекают к своим работам алкоголиков, дегенератов и полусумасшедших идиотов, словом людей всегда способных и готовых, когда то потребуется, возобновить все ужасы террора”...

— Саша, повторяю, я это не выдумал, я это читаю по старой, потрепанной книге. У нас был Государь. Пускай ничтожный слабовольный, не очень умный, но он был честный. Он горячо и свято любил Родину и слово Россия было священно для него. Он был глубоко верующий человек. Распутин — это частность — это уклон в сторону мистики, да и Распутин не от масонов ли, то есть от дьявола? Английское и французское золото устраивают его свержение. Характерная подробность: — народные толпы и солдаты идут 28-го февраля к Таврическому Дворцу и там Родзянко им говорит, что Государь отрекся от Престола. Государь подписал акт отречения 2-го марта. Что сие? Провидение, уверенность в своих действиях? Свергли Государя, неугодного масонам. На его место надо поставить карьериста, сумасшедшего, идиота, словом лицо, которое стало бы слепым орудием в руках масонов. Но самоизбирается Временное Правительство из благодушных Русских интеллигентов и болтунов и во главе благонамереннейший, патриотично настроенный князь Львов. Удержись такое правительство: — пожалуй и вся работа масонов стала бы ни к чему. И сейчас же появляется в том же Таврическом дворце неизвестно кем избранный и откуда взявшийся совет солдатских и рабочих депутатов. Весь президиум состоит из псевдонимов и псевдонимы прикрывают евреев. Под ними серое послушное стадо. 20-го апреля вольноопределяющийся Линде выводит на площадь Мариинского дворца Финляндский полк. Несут флаг с надписями — „долей временное правительство”, „да, здравствует совет солдатских и рабочих депутатов”. Следствие

показывает, что солдаты за эту демонстрацию получили по двадцати пяти рублей и сами не понимали чего они требовали, они действовали, как статисты — результатом: соглашение с Советом. Линде назначают комиссаром на югозападный фронт — это за бунт-то! а Керенского сажают вместо Львова. Теперь Россия находится в руках соответствующих людей — во главе ее карьерист, дегенерат, кокаинист Керенский, а под ним выявляет свое сатанинское лицо Ленин. Как хочешь, Саша, но не странно ли, что все это предсказано, написано десять лет тому назад и напечатано. Следующая очередная задача — свалить императора Вильгельма. Поживем — увидим.

— Ты так рассказываешь, что приходится невольно верить, но как то не хочется верить. Судьбы народов, наций и государств в руках не коронованного еврейского патриарха — властелина мира, которого знают только семь посвященных, а их знает только маленький кружок опять таки никому неизвестных людей. Да что же это такое? Ведь это сказка.

— Да, Саша, сказка, которой веришь потому, что перед этой сказкой пасуют, казалось бы, государственные люди. Куда девался мягкотелый Родзянко, где хитрый, но все таки верующий Поливанов, для которого Россия была величина, где Гучков, драпировавшийся в тогу патриота? И полгода не прошло, как мы уже стоим перед лицом анархии. Теперь говорят о Корнилове. Это имя. Это горячий патриот и видимо сильный человек. Но о Корнилове только заговорили, как травля его пошла по всему фронту и ты послушай, что говорят про него солдаты. Чья работа?

— Иван Сергеевич, но если допустить до этого, то ведь это ужас. Я могу бороться с немцами, с французами, англичанами, могу бороться с социалистами, кадетами, но бороться с таинственной, нечистой силой, чем и как я могу? Какими удушливыми газами пройму я их, когда они неуязвимы? Что же делать? Чем бороться?

— Христианскою верою! — ответил после долгого, торжественного молчания Мацнев, — крестным знаменем!!

XXXIV.

На другой день Саблин поехал в Могилев, в Ставку. Всю дорогу он думал о своем последнем разговоре с Мацневым. Мацнев, циник, неверующий, избегавший ходить в церковь, не признававший таинств, заговорил о Христе и о Боге. Мацнев примирился с женою, с которою не говорил лет двадцать. Что же произошло в нем? Саблин читал в вагоне французскую книгу, которую ему дал Мацнев. Да, фактами доказано, что французская революция и казнь Людовика XVI были приготовлены в масонской ложе и это дело тайного общества.

Эта книга уверяет, что все крупное, что совершается в мире — великая война, революция, перетасовка народов на мировой сцене, все это дело рук общества, руководимого дьяволом. У Мацнева в кабинете они перелистывали многие книги. Они рассматривали тщательно сохраненную Мацневым, изданную в 1890 году карту будущего Европы. И на ней, на месте России была пустыня, вместо Германской империи — германские республики, императоров и королей нигде не осталось. Кто то, уже тогда, заботливо вколачивал в мозги людей мысль о ненужности монархии и расправлялся по своему с Россией. Россия пустыня! Но разве не идет она быстрыми шагами под управлением Керенского, к тому, чтобы стать пустыней?

Армии уже нет...

Во имя чего Керенский уничтожает, демократизирует Армию?

Этого требует программа их партии. Саблин отчетливо вспомнил вечер у Мартовой, милое лицо Маруси, блестящими глазами смотревшей на него и жаркие споры о необходимости разоружаться.

Ну, вот, сбилось, по их. Разоружаются, втыкают штыки в землю, меняют пулеметы на ром, отменили отдавание чести, уничтожили дисциплину, отобрали денщиков, устанавливают выборное начало... Все, как хотели они, товарищ Павлик, студент в косоворотке, гимназист, оказавшийся Верцин-

ским, — они, молодые социалисты... Но причем же тут масоны?

А странно? Мацнев показал вчера несколько масонских свидетельств. Герб, треугольник, углом вниз и надпись большими буквами: “*Libertas, aequalitas, fraternitas*”*) те же лозунги, что у социалистов. Внизу буквы, означающие фразу. Не от них ли пошло это обыкновение в армии говорить языком телеграфного кода, противным пошлым языком уничтожающим, самые громкие имена? Верховный главнокомандующий — главноверх... Главкововерх, император Николай II!.. Гадко!

Липкий трепет пробежал по нервам Саблина. Из темного угла вагона, как будто, показалось страшное лицо человека с головою козла с длинными рогами, с факелом на голове. Он сидел, поджав ноги, и мутный взгляд был устремлен на Саблина. Это Бафомет-демон, изображение которого долго рассматривал вчера Саблин.

Но ведь это же ерунда, это чепуха! Так придется поверить в демонов, в ад, в котлы с грешниками, придется бояться трех свечек на столе, бояться снов, верить в Пятницу...

„Но почему же, почему”, — назойливая сверлила мысль, — „всякий раз, как случалось у меня крупное горе, мне снилась вода и я плыву по ней. Тогда, когда умерла Маруся, я заснул, вернувшись с маневра и видел воду и тогда, когда была конная атака и убили моего мальчика опять накануне мне снилась вода. Тысячи снов перевидал я в своей жизни и не помню ни одного, а эти два помню и тогда их видел четко, ясно и проснулся с тяжелым чувством, что что-то неотвратимо страшное надвигается на меня и в страхе мечется смятенная душа”.

„Есть многое, Горацио, о чем не снилось нашим мудрецам!”

Быть может есть и борьба двух начал светлого и темного, Бога и дьявола...

*) Свобода, равенство, братство.

И снова стало жутко. Во время войны, во всех несчастиях ее, он искал и упрекал Бога. Бога винил он и в смерти Веры, и в Распутине, и в гибели Коли, и в смерти милого юноши Карпова. А, если это не Бог, а диавол, если вся эта война — работа диавола, работа той же темной силы, которой служил Распутин? Тогда понятно, почему с таким упорством уничтожается лучшее, а дрянь лезет наверх.

Но причем евреи и масонство? Почему страшные заветы еврейского закона „и лучшего из гоев убей“, „лучшей из змей раздроби мозг“, „справедливейшего из безбожников лиши жизни“ так странно вяжутся с тем, что происходит теперь.

Да, это так разумно! Если я хочу властвовать, я должен уничтожить у подчиненных мне народов все сильное, одаренное, образованное, все лучшее, способное к протесту! Останется одно быдло, которое само полезет в ярмо!

И уничтожают! Кровавым полымем пылает Русская земля. В Выборге, Свеаборге и Гельсингфорсе, в Кронштадте и Севастополе избивают генералов и офицеров, и на всем фронте не прекращается страшная Варфоломеевская ночь. Солдат сводит старые счета с офицерами и истребляет их, но приказ этому истреблению идет из дворца Кшесинской, от Ленина.

Почему же Ленину это нужно? Чтобы, упившись кровью, сесть самому наверх и упорно проводить в жизнь ту уютничную сказку, которую выносил он в себе в долгие годы эмигрантской жизни?..

Значит, Ленин один виноват во всем и весь грех и все преступление на нем!

Но сейчас же, с гадкой ухмылочкой прыщевого лица, встало бледное лицо с растопыренными ушами Керенского и послышались странные речи, слышанные вчера на Троицкой площади:

— Жиды те же люди! Почитай еще получше Русских будут.

Говорили Русские люди. Откуда взялось такое внезапное уважение к жидам? Его не было раньше.

Вчера Мацнев длинно и не связно, видимо сам не веря, не зная точно, не уяснив предмета, о котором говорил, рассказывал о громадном консорциуме банков. По словам Мацнева выходило, что борьба идет не против капитала, но за капитал. В рассказе Мацнева мелькали имена американских, французских и немецких миллиардеров. Они устроили войну и революцию. Все это были интернациональные евреи, которые решили весь мир прибрать к своим рукам. Вместо королей и императоров во главе государств появлялись банкиры и спекулянты и народы сгорали в погоне за золотом.

А дальше?

И опять из темного угла купэ вагона высывалась противная козлиная рожа, показывались белые плечи, женские груди и растопыренные белые руки, скалила зубы рогатая морда и желтые глаза смотрели тупо и безстрастно.

Пронеслась вся странная символика масонства: передники, молоты, циркули, звезды, треугольники, изломанные кресты и в самом простом предмете Мацнев видел странную эмблему, казавшуюся Саблину ненужной.

Мацнев показал ему новую тысячерублевку временного правительства и на ней, как орнамент — крест с изломанными концами.

Нарочно или случайно? Кому понадобился этот орнамент, почему именно этот — являющийся у масонов определенным символом — поражения христианства.

Вспомнил Саблин и кинематограф, виденный им год тому назад и невольно подумал, что, если Нилус и сочинил свои „Сионские протоколы” — он их разумно сочинил, ибо он предвидел многое.

Масоны и евреи... Почему масоны евреи, и наоборот евреи масоны?

Однако, вся пресса уже была в руках у евреев и отдельные Русские газеты дружно всеми преследовались. Саблину на фронте присылали „Русское знамя”. Саблин просматривал его. Газета велась хорошо, талантливо, много в ней было правды: — ее не читали. Зачитывались „Киевскою Мыслью”. Саблин выписывал „Киевлянин”. „Киевлянина” не чи-

тали. Это было в 1915, 1916 годах, до революции. Кто то работал тайно, но упорно и кто то уже побеждал.

Дьявол?

Тридцать три степени в масонстве. Обряды, ритуал, страшные клятвы. Надо во исполнение приказа убить образно кинжалом человека, надо быть готовым на самоубийство. Воля ученика отдается мастеру, воля мастера — Розенкрейцеру... А дальше страшные „шевалье кадеш“, которые имеют право казнить королей. Станные обряды, странные эмблемы. Молот и циркуль, как будто говорят о строительстве, но эмблемы посвящения — гробы с костями, символы убийства и самоубийства готовят к разрушению.

Мрачными подвалами средневековья несет от имен: — „великий инспектор — инквизитор, командор“, „суверен“, „невидимые степени посвящения“, „Алит“ “Alliance Israelite Universelle”*), „совет семи“ и „некоронованный еврейский царь”.

Бутафорией скверного балагана веяло от всего этого, но было и нечто страшное. Тайна скрывалась и манила слабых. Слышался визгливый смех Верцинского и жутко становилось от неразгаданности того, о чем все говорят и никто не знает.

Саблин перебрал сотни людей, с которыми он был знаком, и искал хотя одного масона между ними. Не может быть, чтобы он никого не встретил, чтобы никогда, за тридцать лет сознательной жизни, не говорил о масонстве. Нет, никого не встретил и никогда не говорил. Точно раньше масонов не было, но появились они только теперь, будто и правда, как говорил Мацнев, их надо было придумать, чтобы оправдать свою глупость, трусость и подлость. Когда свершилась революция и оказалась ужасным жестоким бунтом, когда полетела в страшную бездну Россия, понадобилась вся сложная легенда о масонах, чтобы в них найти оправдание.

Да, это так, ибо иначе быть не может. Не погибнет же Россия, не обратится в пустыню Русская земля! Явится Рус-

* Всемирный еврейский союз.

ский вождь, Русский именем, духом и верою, и осенит себя крестным знаменем Русский народ и отметнется сатаны и всего дьявольского навождения и опять станет светлое счастье на Руси и Христос Воскресе, и целование братское и красное яичко и весна красна!.. Не может быть, чтобы кровь и вечное убийство человек предпочел ликующему счастью творчества.

Избавитель идет. Народный герой, народный избранник — Корнилов.

XXXV.

Саблин приехал в Ставку рано утром. От вокзала до штаба ежедневно в десять часов утра ходил автомобиль для автобуса приезжающих по службе в Ставку.

В Могилеве Саблин нашел приподнятое настроение. Был теплый солнечный день. Сильный ветер носил тучи пыли, шумел в листве высоких пирамидальных тополей и гонял бумажки по улице. В ожидании приема главнокомандующим Саблин пошел пешком к своему знакомому, генералу Самойлову. Чувствовалось, что город переполнен войсками. В каждом доме, в каждой квартире были солдаты и офицеры. Большинство толпилось без всякого дела у ворот и лущило семечки, но в Ставке солдаты имели более подтянутый вид и многие еще с подчеркнутой старательностью отдавали Саблину честь. Здесь Саблин в первый раз увидел Корниловские ударные батальоны. Это была ужасная идея: — выбрать все лучшее и свести в отдельные части. Масса лишилась опоры, лишилась своего скелета и развалилась, а скелет был без мускулов и потому без силы.

Саблин часто встречал храбрых солдат и унтер-офицеров, большинство с георгиевскими крестами, хорошо одетых, отлично выправленных, с сухощавыми осмысленными лицами. На рукаве у них был нашит голубой полотняный щит, на котором белой масляной краской аляповато была нарисована Адамова голова и написано „Корниловец”.

Тяжелое впечатление жалкой бутафории произвели эти нарукавные знаки на Саблина. Они показывали бессилие вождя. Конвой, опора вождя, его ударная часть должна быть одета богато, с эмблемами победы, а не смерти. Так было всегда. Так учила нас военная история. От нарукавных знаков Корниловских войск веяло дешевым балаганом.

На дивных текинских лошадях, в нарядных халатах, с громадными чалмами на головах проехал взвод текинцев и Саблин невольно залюбовался ими. Холодными, презрительными глазами смотрели они на толпящихся у домов солдат.

Самойлов жил в комнате, реквизированной у обыватель. В большой, по провинциальному обставленной гостиной, между роялем и диванчиком с трельяжем, с искусственным виноградом, стояла постель, тут же стол с разбросанными бумагами, картами и со стаканом недопитого чая, в котором плавали мухи. Папиросные окурки валялись повсюду — в горшках с цветами, на полке камина, на полу, в умывальном тазу с грязной водой, стоявшем на золоченом стулике. Неряшливость обитателя, военная распушенность, которую к концу войны приобрели многие офицеры, привычка смотреть на чужое имущество, как на мусор, обслуживание грязным, ленивым и нерадивым денщиком, сказывались во всем.

Было десять часов утра. Самойлов еще не одетый, в одних штанах и рубашке, что то поспешно писал на телеграфном бланке. Узнав, кто к нему пришел, он приказал просить.

— Извините, Александр Николаевич, за беспорядок. Но теперь живешь по-свински. Зачем пожаловали? — сказал Самойлов, расчищая место, куда бы посадить гостя. Наконец, увидав, что на каждом стуле, или кресле лежало что-нибудь, он сел на неубранную всклокоченную постель, а Саблину пододвинул стул, на котором сидел.

— И вы, как бабочка на огонь, летите сюда, в нашу... в нашу... Вот и словане найду.

— Я здесь проездом в отпуску и счел долгом представиться своему верховному главнокомандующему, которого

после его выступления на Московском совещании я глубоко уважаю, — сдержанно сказал Саблин.

— Нашли время представиться, — сказал желчно Самойлов. — Да вы что же ничего не знаете?

— То есть что же я должен знать!? — спросил Саблин.

— Сейчас только, — сказал Самойлов, — Корнилов в широко опубликованном приказе объявил Керенского изменником, готовящим гибель России.

— Салава Богу! — воскликнул Саблин.

— Погодите славословить. Керенский объявил в свою очередь Корнилова изменником, контр-революционером, стремящимся к реакции и идущим против всех завоеваний революции. Оба кричат, что они демократы.

— Ну и что же? — сказал Саблин.

Самойлов внимательно, умными глазами посмотрел на Саблина.

— Вижу, что затуманились богатырские очи. Правильно, Александр Николаевич, понимать дело изволите. На чьей стороне правда?

— Ну, конечно, на стороне Корнилова.

— Правильно, ваше превосходительство. А сила? Толпа, масса вся за Керенского. К нему примкнули все те прохвосты и негодяи, которых иначе ожидает расстрел. А солдаты, продающие обмундирование на Александровском рынке, а почетный орден дезертиров — все это за Керенского. Он адвокат всякой подлости, он укрыватель палачей, каздивших генералов и офицеров, он защитник немецких шпионов и вся эта пакость за него.

— Но ведь все это разлетится от одного хорошего выстрела.

— Но кто будет стрелять? Корнилов, понимаете ли, младший, а по нашему генерально-штабному обычаю не принято раньше батьки в петлю лезть. В Пскове сидит Главкосев Клембовский — с кем он пойдет, а? На кого карту поставит? Пойдет с Корниловым и прогорит: — петля, пойдет с Керенским и прогорит: — расстрел. А? Какова комбинация. А не умоет ли он руки, не созовет ли совет, не забронировуется ли

комиссарами, сделав, как они прикажут? Там Войтинский и Станкевич, — друзья Керенского, ярые сторонники углубления революции, там Бонч-Бруевич, — он товарищ мой, ловкий парень, из совета не выходит, там ваш друг Пестрецов, с которым и вы и я на „ты”. Этот определенно сказал, „теперь сила за солдатами и я с ними. Они — мой царь”. Скажите, надежен Псков? Да, правда, в Петербурге есть какая то офицерская организация, которая за Корнилова, но не очень то я верю во все эти организации. Теперь что же имеет Корнилов? Третий конный корпус Крымова, Туземную дивизию, которую спешно разворачивают в Армию и ударные батальоны. Начну с последних. Вы их видали?

— Видал. Зачем на них эту бутафорию нацепили?

— Не в бутафории, Александр Николаевич, дело, а в том, что и они ненадежны.

— В каком смысле? — спросил Саблин.

— В прямом. Заявили через своих делегатов, что они со своими драться не будут. Надежны у нас только туркмены. Эти не выдадут. Но слушайте дальше. Корнилов объявляет: — „я сибирский казак и сын крестьянина” и так далее — демократический приказ. Хорошо это или нет?

— Не знаю право?

— Вот то-то и оно-то. Сын крестьянина и сибирский казак, ведь это иными словами говоря свой, значит и слушаться не надо. В случае чего — „долой” и крышка. Их втянуть можно только одним: — „союзники требуют немедленного восстановления фронта, грозят в противном случае высадить большие силы и перестрелять всех через десятого, а Керенского, как изменника России и им, требуют повесить”. Это воздействовало бы. Воздействовало бы и появление „Божию милостью, мы император и самодержец”, — а то — сибирский казак и сын крестьянина. Психология не учтена. Ведь как никак шаг наполеоновский, ну значит и шагать нужно по наполеоновски. Впереди всех, — пушку к Смольному, и самому перед нею. Такое дело из кабинета не сделаешь. Ну да посмотрим! Идете уже?

— Да, мне к одиннадцати назначено.

— Ну, храни вас Бог.
Саблин направился к дворцу.

XXXVI.

По дворцовой лестнице было движение людей, одни поднимались, другие спускались. Верховый главнокомандующий был занят. Саблина просили подождать на площадке лестницы. К нему привязался офицер с искусственной ногою и забинтованною головою, полный инвалид и видимо ненормальный.

— Я, — говорил он, — сейчас с заседания союза инвалидов. Мы все единогласно постановили идти с Корниловым. Его дело правое, святое дело. Он заступился за офицеров. Пора прекратить это безобразие.

Его вид, его слова смущали Саблина. „Плохо”, думал он, „дело Корнилова, если инвалидам приходится думать о его защите. Плохо, государство, которое не заботится о своих инвалидах и им приходится устраивать союзы. Последние времена настали. Плохо, если офицер противопоставляется солдату”.

Дежурный адъютант выскочил на площадку и обратился к Саблину.

— Главнокомандующий вас просит. Но только на одну минуту.

Он провел Саблина в кабинет, в котором было два стола и несколько стульев. Начальник штаба встретил его.

— Главнокомандующий вышел, — сказал он. Он сейчас вернется.

Начальник штаба смотрел на Саблина и ничего не говорил, молчал и Саблин. Что мог он сказать, — генерал без солдат, командир корпуса без корпуса.

Дверь быстро и широко распахнулась и в нее решительными твердыми торопливыми шагами вошел небольшого роста крепкий человек. Он высоко нес маленькую сухую голову с черными волосами и черными небольшими усами. Из под тонких бровей остро и пытливо смотрели маленькие, блестя-

шие, косо поставленные глаза. В нем было благородство жестов и обаяние движений, которые не могли ускользнуть от Саблина. Он протянул руку Саблину и быстро спросил его:

— С нами вы, генерал, или против нас?

— Я с теми, сказал твердо Саблин, кто желает добра и счастья России. Я с теми, кто спасает армию и ее честь. Я с вами, ваше превосходительство.

— Сама судьба посылает мне вас. Вы с обстановкою знакомы?

— Очень мало.

— Я приказал арестовать временное правительство. Я беру бремя власти на себя для того, чтобы восстановить порядок. Конная армия Крымова, двинута на Петроград. Я думаю, что Крымов уже в Петрограде. Поезжайте туда же. Вы мне будете там нужны.

— У нас, мягко заметил начальник штаба, ваше превосходительство, еще нет никаких данных считать, что Крымов в Петрограде. Не будет ли осторожнее направить генерала в Псков к Клембовскому, который очень нуждается в твердых людях.

Корнилов быстро посмотрел на начальника штаба.

— Вы правы, — сказал он. Поезжайте в Псков. Явитесь там к Клембовскому и получите указания, что вам делать.

— Когда прикажете ехать? — наклоня голову сказал Саблин.

— Сейчас, — сказал Корнилов, пожимая ему руку и давая тем понять, что аудиенция его окончена.

— Поезд отходит в два часа, — сказал начальник штаба. Я распоряжусь, чтобы в штабном вагоне вам было место.

В два часа дня Саблин в отдельном купе, один, поехал из Могилева. „Удастся ли дело Корнилова?“, — думал он.

Саблин был очень хороший кавалерийский начальник. Три года войны, такие блестящие дела, как прорыв у Костюховки научили его военному глазомеру. В уме он подсчитывал силы Корнилова, двинутые на Петроград. 1-ая Донская казачья дивизия, Уссурийская конная дивизия, Кавказская туземная дивизия, Дагестанский и Осетинский

конные полки, всего восемьдесят шесть эскадронов и сотень или, считая кругом по сто человек в эскадроне — 8.600 всадников. Немного против сотысячного гарнизона Петрограда с его матросами и революционными казаками. Но, зная настроение солдат запасных батальонов, Саблин рисовал себе, как туманным осенним утром, одновременно, вдоль Невы, по Шлиссельбургскому тракту появится кавказский туземный корпус, по Московскому тракту от Царского села Уссурийская дивизия и по Петергофскому тракту — Донцы. Он видел растянутые на многия версты колонны с выкинутыми вперед лавами, он видел суматоху в гарнизоне, митинги, „выступать или нет”, он знал, что громадное большинство офицеров на стороне Корнилова. Потом он видел конные части, галопом скачущие по городу, аресты, револьверную стрельбу и Корнилова в украшенном Русскими флагами автомобиле на площади у Зимнего дворца. „Должно удастся”, — думал он. „Должно...”.

Скорый поезд шел поразительно точно. Он редко останавливался на станциях, постоит две, три минуты и идет дальше. Вагон мягко покачивался, клонило ко сну и Саблин заснул.

Он проснулся в пять часов, когда еще было темно. Он смотрел на хмурый осенний пейзаж так знакомых ему по маневрам окрестностей Петербурга. Наступал разсвет. День обещал быть хорошим. На голубеющем небе угасали звезды. Лохматые облака, похожие на клубы пара носились вверху. Были видны леса, ива с полуголыми ветвями, осыпанными желтыми узкими листьями трепетала на ветру. Болота набухли водою. Кривая березка росла по ним. У станции замаячили серые дачи с заколоченными окнами, клумбы с помятыми побуревшими георгинами и астрами. У палисадника открыта калитка. Валяется бумага. Кордонка из под большой дамской шляпы плавает в канаве под мостиком. Еще так недавно здесь жили дачники, шла тихая жизнь, ходили собирать грибы и ягоды, устраивали любительские спектакли, по вечерам играли в „тетку”, читали газеты и ждали чуда от революции. Странно было думать, что по

этим дорогам идут, а, может быть, уже прошли большие массы кавалерии, что тут будут уже не маневры, а война, с убитыми и ранеными.

Стало совсем светло. Солнце печальными осенними лучами осветило болота, леса, пустые поля, грязные копны, огороды 'с черными кочерыжками, кучи картофеля, накрытые мокрыми рогожами, телеги, запряженные маленькими лохматыми лошадьми и грязные глинистые с глубокими колесами дороги, уходящие куда то в поля, к синеющему вдали лесу.

Поезд задержал свой бег. Застучали по стрелкам вагоны, зашатало их вправо и влево и с обеих сторон показались красные товарные вагоны. Двери их были раскрыты и видны лошади, седла, кавказцы в своих рваных живописно подоткнутых черкесках, в низких рыжих и 'серых папахах, в темномалиновых, черных и белых башлыках, тут же видны были рослые драгуны с желтыми погонами, в хороших шинелях. На путях была утренняя мирная суета, бегали люди с чайниками, кружками и большими ломтями хлеба, носили воду в ведрах, поили лошадей, задавали им сено.

Саблин ничего не понимал. Корнилов считает их уже в Петербурге, а они, невыгруженные, стоят в вагонах и чего то ждут в восьмидесяти верстах от своей цели.

Вся станция Дно была переполнена солдатами и офицерами. Одни спали на стульях, другие сидели за столом, пили чай, закусывали, спорили, курили. Тут же были частные пассажиры остановленного поезда, сидевшие на узлах и увязках с понурыми недовольными лицами. У Саблина в Туземной дивизии было много знакомых и они обступили его.

— Откуда?

— Из Ставки.

— Ну что там? Каково настроение?

— Настроение хорошее, но там уверены, что вы, если не в Петрограде, то на самых подступах к нему.

— И не говорите. У Вырицы разобран путь. Там Ингуши и Черкесы ведут перестрелку с пехотой противника. Мы

ждем, когда поправят путь.

— Вы ждете, — сказал Саблин. — Не мое, конечно, это дело, но я бы давно уже шел походом.

— Да видишь ты... Настроение, конечно, у туземцев отличное. Они своего князя ни за что не выдадут. Они его считают прямым потомком Магомета, так понимаешь ли — это уже не шутки. Но у нас есть пулеметная команда и команда связи, они составлены из солдат. Они волнуются. Приморские драгуны отказываются идти дальше. Командир корпуса пошел их уговаривать. От Крымова нет никаких известий. Мы не знаем, где Донцы.

— Кажется под Лугой, сказал кто то.

— Теперь приказ Керенского, объявляющий Корнилова изменником, чорт его знает каким образом, стал известен солдатам, ну и смутил умы.

— Неразбериха какая то!

XXXVII.

Эту неразбериху Саблин наблюдал всю ночь, пока тащились до Пскова. Поезд едва шел, останавливался подолгу на станциях, хрипло в сыром ночном воздухе кричал паровоз, уныло звонил звонок, трогались и опять стояли. На всех станциях были эшелоны, лошади, люди, седла в вагонах, горели фонари и в темноте ночи видны были в рамке освещенного вагона кучки озабоченных хмурых людей, сидевших на тюках с сеном. Иногда у вагона стояла толпа, человек в двадцать, тридцать и среди нее солдат, или железнодорожный рабочий. Горячо обсуждали приказ Керенского и Корнилова.

— Товарищи, — слышал Саблин, подходя в темноте ночи, к столпившимся около оратора солдатам. — Керенский прав. Он не хочет братоубийственной войны. Довольно крови лилось. Он стоит за истинную свободу, а Корнилов вас опять ведет под офицерскую палку. Опять, чтобы над вами измывались господа, а вы тянулись перед ними и молчали.

В другом месте, маленький еврей в солдатской шинели говорил среди толпы Уссурийских казаков.

— Товарищи Керенский и Ленин стоят за одно. Они за мир. Это товарищи неправда, что Ленин немецкий шпион. Ленин великий борец за пролетариат, и за рабочих и крестьян. Ему желательно вырвать бедных людей из под власти капиталистов.

В третьем старый унтер офицер с георгиевской колодкой во всю грудь говорил.

— Ужели жиды возьмем заместо такого героя, как Корнилов? Воевали, сражались с ним и умирали. Геройская была Русь, а не жидовская. Армии порядок нужен для победы и Корнилов это понимает. Мы исполним свой долг перед родиной.

На все разнообразные речи казаки и солдаты молчали. Они тупо и упорно переваривали совершавшийся перед ними события. Саблину становилось ясно, что это не французская восприимчивая толпа и Корнилов не Наполеон. Революция Русская никак не желала укладываться во французские рамки и ложилась в привычные ей рамки кровавого, жестокого Русского бунта, молчаливого, упорного и зверского.

Поздно ночью Саблин прибыл в Псков. На вокзале, переполненном солдатами, как в эти после революционные дни были переполнены все вокзалы, стояли гомон и суета. Подле вокзала ни одного извозчика. Саблин прошел к коменданту, чтобы по телефону попросить автомобиль из армейского гаража. Растерянный, затравленный солдатами и офицерами, — требовавшими кто ночлега, кто места на поезде — комендант смотрел на Саблина усталыми и ничего не понимающими глазами.

— Что прикажете, ваше превосходительство, — спросил он, глядя на Саблина, и вдруг радостно улыбнулся, Саблин узнал ротмистра Михайличенко, того самого, которого он награждал в селении Озеры вместе с Карповым. — Ваше превосходительство, помилуй Бог, какими судьбами!

— Узнали?

— Господи! Да как же не узнать то! И не постарели нисколько. Чем могу услужить?

— Мне надо проехать к генералу Клембовскому.

— Генерала Клембовского нет, ваше превосходительство. — Он вчера уехал в Петербург. Фронтом, по приказу Керенского, командует генерал Бонч-Бруевич.

— По приказу Керенского? — спросил строго Саблин. — А Корнилов?

— Корнилов не то арестован, не то не знаем где. Сообщения со Ставкой нет. Туда проехал генерал Алексеев. Фактически фронтом распоряжаются комиссары и совет солдатских и рабочих депутатов. Вчера на улице убили офицера за то, что он этот совет назвал советом рачьих и собачьих депутатов. Убийцы известны, но им ничего не сделано. Мы ожидаем каждую ночь резни офицеров.

— А Крымов?

— Крымов был в Луге, оттуда, по слухам, проехал один, по вызову Керенского, в Петроград и там арестован. Ваше превосходительство, здесь находится генерал Пестрецов, наш бывший командующий Армией, может быть, разрешите позвонить к нему, у него и заночуете, все таки лучше. А то нигде квартир нет.

— Хорошо, — сказал Саблин.

Он чувствовал себя усталым. Три ночи, проведенные в вагоне, сказывались. Надо было разобраться во всем этом хаосе сведений и принять решение.

Несмотря на поздний час, — было два часа ночи, — Пестрецов не спал. Саблин разыскал его в большом казенном доме, на берегу реки Великой, где у Пестрецова была реквизирована квартира. Он жил с женою.

— А Саша! Здравствуй. Ночлег имеешь? — приветствовал его Пестрецов. — Нет. Оставайся у меня. Рассказывай, каким ветром сюда занесло. Да постой, Нина нам ужин смастерит. Она еще не ложилась.

За ужином кроме Нины Николаевны и Пестрецова, был скромный молодой человек в солдатской рубаше. Пестрецов представил его, как помощника комиссара.

После ужина Пестрецов устроил Саблина в своем кабинете. Комната рядом наполнена была вооруженными солдатами.

— Это что? — спросил Саблин у Пестрецова.

— Караул, — шопотом сказал Пестрецов. — От совета мне прислан для охраны.

— Да вы что же? С советами, или с Корниловым? Пестрецов замахал руками, приложил палец к губам и поспешно вышел из кабинета.

Первым движением Саблина было встать и уйти отсюда. Но куда? Один в поле не воин. Вся Россия такая. Всюду оживленные лица солдат, чем то озабоченных, что то делавших, чем то взволнованных. Их миллионы. Они вооружены ружьями и пулеметами, в их руках пушки и броневые машины. В их море тонут безправные, оклеветанные генералы и офицеры, лишенные власти и авторитета. Куда убежишь от этой серой массы, которая облепила буквально всю Россию? Усталость брала свое. Саблин покорился судьбе, вспомнил о многих и многих офицерах, которые находятя в еще худшем положении, перекрестился и лег спать.

Проснулся он рано. Косые лучи солнца смотрели в комнату без занавесей. Вставало грустное утро севера, по которому так соскучился Саблин. Саблин оделся и прошел в столовую. К его удивлению Пестрецов уже пил чай.

— Ты куда же в такую рань? — спросил Пестрецов.

— Гулять.

— Пойдем вместе. Комисарчик мой спит и я свободен, — сказал Пестрецов.

Они пошли на берег реки Великой.

Издали, из города, несся так знакомый Саблину дробный стук конских копыт, кавалерия шла по городу. Саблин остановился. На мост, направляясь в Завеличье, спускались эскадроны драгун на вороных лошадях. Красивые лошади, всадники с пиками, заброшенными за плечо рисовались на фоне крепостных стен старого Пскова и сердце Саблина сжалось тоскою.

— Это что же такое? — сказал он.

— Это, — сказал Пестрецов, — судьба... Рок... Против рожна не попрёшь.

— Но неужели идти с рожном?

Пестрецов не ответил. Внизу темными волнами текла холодная Великая, топот конских копыт удалялся и становился тише. Эскадроны сходили с мостовой. Ясное небо сияло над серыми башнями, над церквями, с головами луковками и белыми простыми стенами Кремля. Золотистые березки с белыми стволами были на том берегу, и в них, и в реке была радость теплому солнцу, синему небу и догорающему бабьему лету. На душе Саблина от этой родной и милой картины грустного севера становилось еще грустнее. Точно с летом умирала и сама Россия, точно вместе с тихо падающими желтыми листочками березы падала и слава Русская, точно вместе с осеннею водою, которою набухла почва в лугах, набухла кровью вся Русская земля..

— Крымов застрелился в Петрограде... отрывистым шопотом говорил Пестрецов. — генерал Корнилов арестован по приказу Керенского, в Ставку приехал генерал Алексеев. Керенский назначил себя верховным главнокомандующим армии и флота... Вся конная армия Крымова изменила Корнилову и делегации казаков и солдат явились к Керенскому с выражением готовности служить ему... Керенский работает в полном контакте с советами... Саша... Конечно, ты одинок, у тебя никого и ничего не осталось, ты можешь рисковать. Но для чего рисковать? Если бы были действительно Наполеоны, — ну тогда, тогда и я пошел бы. А, может быть, правы они?

— Кто они? — усталым голосом, через силу спросил Саблин.

— Новая Россия. Демократия, пролетариат, советы. Отцы никогда не понимали детей. И мы не понимаем их. А, может быть, на их стороне правда.

— Правда в измене Родине, правда в сдаче врагу позиций, правда в убийстве честных и лучших офицеров и генералов, правда в грабеже и насилии! — воскликнул Саблин и посмотрел на Пестрецова.

Пестрецов стоял, опустив голову. При ясном утреннем свете Саблин увидал, как обрюзгло и пожелтело его лицо. Перед ним стоял старик. Презрение и жалость боролись в Саблине.

— Саша мы не понимаем новой России. Не может же быть, чтобы великий Русский народ не выдвинул из недр своих людей, способных управлять государством.

— Чхеидзе, Бронштейны и Нахамкесы — вот кого выдвинул Русский народ, вот кто взял палку и стал капралом. Ваше превосходительство, вы не чувствуете, что за советами стоит не Россия, а интернационал, а за интернационалом какая то дьявольская тайная сила.

— Надо идти с ними. Их не победить. Идя с ними, хоть чтонибудь спасешь, а если уйдти от них, Россия обратится в пустыню, — уныло шептал Пестрецов.

— С ними идти нельзя. Надо бороться с ними и победить их, — сказал Саблин.

— Борьба бесполезна... А, право, с ними не так уже плохо работать. У них есть здоровые, правильно мыслящие люди.

— Вы с ними?

— У меня, Саша, Нина Николаевна. Это такой ребенок.

— Прощайте, ваше превосходительство! Мне с вами не по пути.

Саблин резко повернулся и пошел от Пестрецова.

В тот же вечер он уехал в Перекалье к своему корпусу где узнал, что он Керенским отставлен от командования корпусом и вызван в Петербург.

XXXVIII.

Домик Петрова, где поселились братья Полежаевы, находился в глуши Новгородской губернии, в деревне Запоздалово, ни на какой карте необозначенной. Вся деревня состояла из шести дворов при озере, вытянувшихся в одну линию. Жители занимались рыболовством и охотою, многие, как ушли на войну, так и исчезли и никто не знал, то-ли

убиты, то-ли пропали. Почта в Запоздалово не ходила, а ходить за нею было далеко, да и ходить не за чем, почти все оставшиеся в деревне старики и старухи были не грамотные, разбирали только по церковному. По избам в полной неприкосновенности висели портреты Государя и его семья. Весть об отречении Государя глухо дошла до деревни, но ей не поверили. Мало ли смущают темный народ. Это все от немцев! То, что в волости исчезла полиция и появились комитеты и комиссары, тоже никого не смутило. Решили только, что податей платить не надо и ждать с податями пока приедет исправник, а до него никому ничего не давать.

В комнате, где поселились Павлик с Никой, было четыре окна. Два маленьких, подслеповатых, кое где заткнутых тряпьем смотрели на озеро, поросшее камышами, с низким песчаным противоположным берегом, по которому было раскидано несколько серых избушек и видны были чахлые нивы, два побольше выходили к громадному лесу, который тянулся в полуверсте от деревушки, и на сколько верст — о том сам Христос Бог ведает. Кругом была пустыня. В пяти верстах шло шоссе, но по шоссе никто никогда не ездил, скучные стояли кучи щебня, уходившие вдаль и розовые цветы поросли по ним. Верстах в пятнадцати через лес шла железная дорога, но такая захудалая, что между шпалами по полотну выросла трава, а поезд прогудит раз днем и раз ночью а в остальные часы никого на полотне. Забежит на него заяц, уляжется вдоль нагретого солнцем рельса и лежит, скосив желтые глаза. Будки сторожей стоят редко и странно думать, что там живут люди и удивительно, чем питаются и как живут. Кругом лес и болота. В лесу лоси и медведи, рысь иногда попадается, глухари и тетерева токуют, рябчик живет, видали и горностая с лаской, а зимою лисица так опустится, что от чернобурой не отстанет. Лес, то высокий строевой с большими красными шумливыми соснами, с трепещущей листвами осиной, с раскидистыми черными елями, то низкий мелкий, по болоту, с кривыми тонкими березками, с кустами можжевельника, с голубым мохом,

в котором по колено тонет нога, с красною клюквою и золотою морошкой. На болоте торфяные ямы и в них черная таинственная вода. Никто никогда к ним не подходил и люди сказывают, что дна не достать в этих ямах, а тихими ночами, слышно, гудит там что то. То-ли колокола звонят, то-ли люди стонут. Сказывают, при Александре Невском много народа там погубло, с тех пор и пошло. И не замерзают эти ямы никогда, даже в самый лютый мороз стоят и паром дымятся.

В такую полную лесных тайн и преданий глушь попали Павлик и Ника из самого разгара беспокойной Русской революции. Единственным собеседником их была бабушка Дарья Ильинишна, мать Петрова, да и та была не очень словоохотлива. Была еще босоногая пятнадцатилетняя девочка Машутка, племянница Петрова, но та так боялась барчуков, что пропадала целыми днями, то в коровнике, то в сараях, то на сеновале и в горнице не показывалась.

С автомобиля перетаскали вещи, приготовленные для Государя, дорожный кофейник и чайный прибор, консервы, бисквиты, чай и кофе и зажили скучною жизнью. Придет к чаю Дарья Ильинишна, принесет молока, масла, сливок, свежего душистого черного хлеба, рыбы соленой и присядет с молодыми людьми. Иногда начнет рассказывать про охоты. Ничего так не любила она, как рассказ про то, как покойный муж ее выследил громадного медведя и сам Александр III приезжал к ним и взял его на рогатину.

Тихо шумит самовар, висячая простая лампа, скупо пущенная, горит неярко, на столе, накрытом скатертью стоят недопитые стаканы, валяются корки хлеба, Павлик и Ника слушают старуху, а она мерно и тихо ведет речь про старую жизнь.

— Приехали они на восьми санях, — говорит Дарья Ильинишна, — и все такие красивые, видные, статные, а его, сокола, сразу видать: Божий помазанник. Он сам тогда, свет наш ясный, молодой был, ростом косая сажень, борода русая по грудь, кафтан одет, сапоги, нож при поясе. Собаки с ними приехали с доброго теленка, егеря свои и все с моим

мужем совет держат. Как окружить, да как поднять, чтобы вышел, значит. Переночевали у нас, а на утро и пошли. Повар с ними был, на моей печурке и завтрак Царю-батюшке готовил. Вот, как удостоилась я, господа молодые. А к полудню вернулись. Ведмедицу привезли во какого большого, пол двора тушею занял. Сам, значит, и взял на рогатину. Даже кровь видала я на кафтане его. Довольный очень. Мужу моему покойнику часы тогда подарил... Я и часы сохранила.

Старуха ушла в свою каморку и принесла серебряные часы с большим накладным золотым двуглавым орлом.

— На трех лошадях от нас медведя того повезли. Лошадки шарахаются, боятся, страсть. Собаки потом идут, а он позади поехал, сам и лошадью правил. Правда истинная... Ну, а больше я его и не видала... Князь к нам два раза приезжал, Владимир Лександрович, тоже медведя из штуцерного ружья брал, ну только не такой. Тот медведь был всем медведям — царь, али князь какой медвежий.

Старуха никогда никуда не выезжала.

— Как венчали нас, так в Новгород ездила, ну только смутно я помню. Да чего ездить то. Наш лес разве не мир Божий. Господи, Боже мой! и чего, чего только в лесу нет! И какая только птица в нем не поет! И чижики, и снегири красногрудые, и щеглята, и клесты, и каждая свое гнездо, свой обычай имеет, каждая свои песни поет. Заяц там, господа мои, живет. И всего он боится, и все к чему то прислушивается. Лисица с детьми играет. Рысь на суку лежит и чуть хвостом пестрым шевелит. А я иду, грибы собираю и все то вижу, и все то меня радует. Истинно благодать Божия, Божий прекрасный мир!

За окнами в серебристом тумане стоит темный лес и сырость идет от него, пахнет смолоу, можжевельником и мохом.

В деревне мужики и бабы привыкли к Полежаевым.

— Что, спасаетесь, господа, — говорил дед Илья, весь закутанный сетями, — ну, спаси вас Христос.

Павлик и Ника ездили на озеро рыбу ловить, по ночам ездили с лучиною, стерегли сома, ходили с ружьем за куропатками.

— Гуляйте, господа, ничего, — говорили им добродушно встречные мужики и вставала перед ними старая, святая Русь, Русь избяная, кондовая, тихая и покорная...

XXXIX.

Раз, октябрьским утром, когда Павлик и Ника только что встали и пили чай со сливками, прибежала к ним Машутка. Волосы растрепаны, из-под платка выбились, темные глаза, как ягодки горят, лицо от свежего утренника покраснелось.

— Господа, — сказала она, — вас в лесу спрашивали двое. Просят придти сейчас.

— Что за люди? — в голос спросили Павлик и Ника.

— Кто их знает. Одеты по простому, а так будто господа. Один, как вы, другой парнишка совсем молодой. Мальчонка.

Павлик и Ника пошли к лесу. На опушке их ожидали двое юношей. Их лица были худы, они продрогли, провели холодную ночь в лесу.

— Боже мой, Ермолов! — воскликнул Ника.

— Он и есть. А это мой брат Миша.

— Гимназист шестого класса Михаил Ермолов, басом проговорил Миша.

— Идемте к нам. Согреетесь, чаю напьемся, — сказал Ника.

— А можно? — спросил деловито Миша. — Товарищей нет?

— Никого. Святая старушка одна. Как же вы нашли нас? — спрашивал Ника.

— Ох, уже и Петров ваш! Я восемь раз ходил к нему — говорил подпоручик Ермолов, — пока, наконец, он поверил, что я с наилучшими намерениями, что я от имени гене-

рала Саблина. Тогда только рассказал и нарисовал, как вас найдти. Да и то бы не нашли, кабы не девочка.

— И прехорошенькая, — басом сказал Миша.

— Да, вот вы как прохлаждаетесь, — сказал Ермолов старший, входя в избу. А мы ищем вас. Вы нужны нам. Господа, беда! Надо браться за дело.

— А что случилось?

— А вы ничего не знаете?

— Ничего. Как уехали, так ничего и не слыхали.

— Про Корнилова не слыхали?

— Ничего.

— Ну, сначала про домашних. Татьяна Александровна уехала в Тобольск, вслед за Царскою семьею. От нее уже письма есть. Ольга Николаевна пока в Царском, только я бы советовал вам при первой возможности переправить ее на юг, или на Кавказ. Папенька ваш пока в Москве. Генерал Саблин в Петербурге на своей квартире, ничего не делает. Причислен к министерству. Тут такие дела, такие!

— Сережа, ты по порядку, — деловито сказал Миша.

— И то буду держаться хронологического порядка. 28-го августа Верховный Главнокомандующий, видя к какому развалу и позору ведет Россию Керенский, издал приказ, которым объявил его изменником России, себя диктатором и двинул на Петроград конницу под начальством Крымова.

— Сам не пошел? — в голос спросили Павлик и Ника.

— Нет. Вот тут то и началась трагедия. Нарочно, или случайно, железно-дорожники разбросали всю конницу малыми частями по всему северу России, а Керенский бросил туда своих агитаторов. В Петрограде у нас образовался офицерский союз, нам удалось достать сто тысяч рублей, которыми мы рассчитывали в нужную минуту подкупить солдат гарнизона и соединиться с войсками генерала Крымова.

— И я был в этом союзе, — важно сказал Миша. — Я для этого в милицию поступил и австрийскую винтовку получил. Только патроны были Русские.

— У них милицейский комиссар портной, он не различает какие патроны.

— Я не хотел брать. Он говорит: — ступайте, товарищ, и эти хороши. Других нет, — сказал Миша.

— К нам присоединился еще совет союза казачьих войск с полковником Дутовым, — продолжал говорить Ермолов старший. — тоже обещали повлиять на Петербургских казаков, только просили денег. Деньги были у двух полковников, фамилий не знаю, все велось конспиративно. Один, генерального штаба, весь бритый, молодой, революционер, я с ним от своего звена связь держал. Жил в Астории. Мы подготовили солдат, оставалось раздать деньги и идти. Все офицеры шли с нами. 29-го августа узнаем через наших разведчиков...

— Гимназисты-велосипедисты и кадеты в Царском и Павловске у нас работали, — вставил Миша.

— Узнаем, что дикая дивизия подошла к Вырице и начинается там бой с частями Петроградского гарнизона. Мы туда. Потерлись среди солдат, видим, что у них никакого желания сражаться нет. Самая пора начинать, купить несколько солдат, ну там рублей по двести дать, чтобы поддержали, когда наши крикнут: „довольно братоубийственной войны! Да здравствует Русский вождь Корнилов! Долой Керенского!“ У нас и люди такие были намечены... Да, ну вот еду я к руководителю в Асторию. Нет дома. Поверите ли, я весь день то пешком, то на трамвае проездил по Петрограду искал его. А бой идет... Понимаете, чувствую, что там уже бой. Наконец, в два часа ночи точно толкнуло меня что. Дай, думаю, поеду в виллу Роде и по значным местам. Он таки любил выпить, наш выборный вождь.

— За что же его выбрали? — спросил Ника.

— Как тебе сказать. Уже больно хорошо говорил он на наших собраниях. Как то, по новому, обещал строить армию и так, что и на старое похоже. Немцев так ненавидел, что аж трясся весь, как говорил про них, а о союзниках с благоговением. Георгиевский кавалер, сапер, лицо такое бледное, тонкое, одухотворенное. Он, да вот еще генерального штаба

Гущин, полковник, все головы нам поперевернули. Я то держался — армия вне политики, а многие стали говорить с гордостью — я „офицер-революционер”.

— Дальше, Сергей, ехать надо, — опять остановил его Миша.

— Приезжаю на виллу Роде. И действительно там. Компания целая кутит. И среди них, показалось мне, агенты Керенского. Сам пьян, как дым, куражится. Ты понимаешь — там у Вырицы бой, юнкера выступить готовы, мы только приказа ждем поднимать гарнизон, ведь, Павел Николаевич, головой мы играли! А! Ведь нас повесить могли.

— И еще могут, — вставил Миша. — В лучшем виде.

— А он пьяный и с девками. Я его отзываю, знаки показываю. — А он встает расстегнутый и кричит: — „вздор... Никаких испанцев! Да здравствует Русская революция и ее союзники! Пей, веселись, честной народ!” И вижу, что кутеж его тысячами пахнет, нашими, понимаешь, тысячами, теми, что нам на восстание даны! „Что же это”, — думаю, „действительно погибает Россия, если и к чистому делу идут пьяные и воры”. Наступило утро 30-го. Иду по Литейному. Вижу, солдаты остановили автомобиль. Там бледный черноусый донец 13-го полка. Видно измучен здорово, курит непрерывно. А у меня документ был запасен вот через него, — кивнул старший Ермолов на брата.

— Я через милицию достал удостоверение на право производить обыски и аресты, — гордо сказал Миша и принялся за пятый стакан молока.

— Показываю. Говорю, — что я предоставлю его куда надо. Солдаты поверили. Сажусь я в автомобиль и, как отъехали спрашиваю: — „вы Корниловец?” — Молчит. — „Не бойтесь”, — говорю я, — „я тоже Корниловец. Куда вам надо ехать, я вас туда и провожу”. Вижу, поверил. „Мне”, говорит, „надо увидеть генерала Крымова”. — „А где он?” „Был здесь. Я с ним и приехал.” Нашли мы Крымова у Керенского. Слышим крик в кабинете. Выходит Крымов, бледный, по лбу пот крупными каплями, черные волосы всклокочены, налипли, как из бани точно. — „Дайте”, — говорит, — „мне воды.

Я этого мерзавца чуть не побил!" А донец и говорит ему: — „и жалко, что не побили. Его убить надо, как собаку!" — „Погодите", говорит, а сам волосы на себе ерошит. „Ну", говорит, „Иосиф Всеволодович, пойдемте. Мне отдохнуть надо и все обдумать"... Они уехали. Я пошел домой. Вечером узнаю — Крымов застрелился, у Керенского были представители его корпуса и Керенский произвел простых казаков в офицеры. Корнилов арестован, Верховным главнокомандующим у нас Керенский. Я думал, что у нас бунт будет, на фронте войска откажутся — ничего подобного. Первыми генералы расписались в своей верности. Гляжу, к Зимнему дворцу так и подкатывают, так и подкатывают генералы с фронта. А у меня там товарищи юнкера дежурили. Спрашиваю их, не слышали ли: зачем? „Да кто", — говорят, „корпус, кто дивизию, кто полк получить желает. Жареным там пахнет". И вот, друзья мои, стало в Петербурге так тихо, тихо, точно, кто умирает в соседней комнате. Округ наш получил молодой полковник Полковников. Я при округе устроился одинарцем, наблюдаю. Вижу, что доклады, в два места возят — во дворец к Керенскому и в Смольный к Ленину и Троцкому, немецким шпионам. Что же это, думаю, явное предательство. Там в совете у меня приятели были, товарищи по корпусу, те, что меня и генерала Саблина арестовывали — Осетров, Гайдук и Шлоссберг.

— Гайдука и я знаю, — сказал Ника. — Мерзавец страшный.

— Один хуже другого, — сказал Ермолов. — Но, думаю, надо узнать от них, что они замышляют. Неужели немцам нас предадут. Сделал я доклад об этом в совете союза казачьих войск — этим я верил. Там славные ребята были и с их благословения подкараулил я Осетрова. Он мне как то лучше казался. Он все-таки Русский. Подошел, напомнил старое, как погоны с нас рвали, под руки с позиции вели, и говорю ему: — „ну, скажите, Осетров, вы Русский человек, для чего вы все это делали? Неужели вы немцам нас предавать хотите?" „Ничего", — говорит, — „подобного. Я и в мыслях этого не имею, а мы просто большевики и хотим

произвести мировую революцию”. — „Чтоже”, — спрашиваю, „из этого будет?” — „Как”, — говорит, „что. Вы послушайте Ленина. Надо все разрушить, все, все. И когда все будет разрушено мы построим новое, счастливое”. Вижу я, что он и сам не понимает, что говорит. — „У каждого”, говорит, „будет и дом, и земля, и скот, и сыт будет каждый, и на все будет свобода. А пока — наша власть”. „Когда же”, спрашиваю, „вы разрушать начнете и как?” Он и проговорился. „В конце”, говорит, „октября. Нам надо растащить казаков, отрубить последнюю голову гидре контр-революции”. И замолчал. — „А вы”, говорит, „товарищ, не хотите большевиком стать?” Я говорю: — „рад бы душою это сделать. Да только не знаю как”. — „Хотите, я научу”. Я и ухватился. Стал бывать у него и узнал, что большевики решили свергнуть временное правительство, засадить его в крепость и взять власть в свои руки. Они обещают сейчас же заключить мир с немцами какою угодно ценою. И вот тогда решили мы стать все на сторону временного правительства. Тут уже вопрос не в Керенском, а в том, чтобы никак не допустить до власти большевиков, потому что тогда — гибель. Нам, Павлик и Ника, дорог каждый человек. Пока нам верны юнкера, да и то не все, обещал поддерживать Керенского женский батальон, надеемся, что Волынский и Преображенский полки будут с нами, рабочие Путиловского завода тоже против большевиков. Надо умирать, господа, надо бороться!

— За что бороться?

— За Россию.

— Но Россия с Керенским гибнет.

— Тут уже не приходится рассуждать, с Керенским, или с кем иным, лишь бы не с большевиками.

— Мы готовы, — сказали Павлик и Ника. ,

— Дайте нам отдохнуть. Ночью пойдем на железную дорогу и завтра утром мы будем в Петрограде. Только не было бы поздно.

XL.

Октябрьские сумерки рано надвинулись. Густой туман поднялся над озером, темный и сырой стоял лес. На ночной поезд решили выйти в девять часов вечера, но уже к шести все были готовы и сидели в темной избушке, сбившись на лавке в углу под образами. В избе было темно. Окна были мутные и в них видна была полоса неба над темным лесом и ярко горела вечерняя звезда. Темнота и невозможность различать лица сблизили всех, и все притихли и сидели, переговариваясь короткими фразами. Все не детское, поношенное, залитое кровью, затертое лишениями, что дали им война и революция, отлетело и они стали тем, чем были: молодыми людьми, у которых так еще мало в прошлом и так много в будущем.

— Читал я как то, — сказал Ермолов, — у Толстого, как Наташа и Николай Ростовы и Соня в своем старом помещичьем доме на святках вспоминают свое прошлое. Луна светит в комнату, за окном мороз трескучий, снежная Русская зима, а перед ними встают мирные, теплые эпизоды их детской жизни.

— Ах, помню, помню, — сказал Павлик. Наташа с Николаем какого то арапа видали... А Соня не помнит. К чему ты это?

— Так вспомнилось. У нас уже нет таких воспоминаний. Чтобы, понимаешь, было тепло и хорошо.

— Ах нет, — сказал Миша. — Я помню как то, в гимназии это было. Я был в первом классе. Весна. Окна открыты на широкий гимназический двор, за двором сад, большие липы и дубы растут и чуть покрыты зеленью. Я спускаюсь вниз по лестнице, а внизу по корридору, где были старшие классы, восьмиклассники дружно хором поют: — „елицы во Христа креститесь, во Христа облекостесь!“. И так хорошо у них выходит. Весна, солнце, зеленый пух на деревьях, за забором трамваи гудят, а тут молодые басы дружно так: — „елицы во Христа креститесь!“...

— Это не то, — сказал Ермолов. — У них были общие воспоминания, воспоминания семьи, а не школы.

— Ты помнишь, Ника, — сказал Павлик, — как мы с Олей собирали разные уродливые корни и в саду делали клетки и сажали их в них. Это был Зоологический сад. Ты приходил и спрашивал, где какой зверь. А помнишь Колю Саблина? Как он приставал к нам: „а почему верблюд — верблюд?“

— Как же, помню! А помнишь, как меня с Таней нарядили маркизом и маркизой? Мама была жива еще. Она поставила нас на стол, пришли гости, а она уверяла, что мы ее куклы и она сама маленькая. Ты помнишь Танину мать. Мне она казалась громадного роста и удивительно красивой. Мы были богаты, но когда нас привозили к Саблиным мне казалось, что это сказка.

— Как же! Как же! А кузина Тата все время говорила ей: „баронесса, баронесса!“...

— Куда все это ушло?

— Ника, Ника, помнишь, как мы привезли из корпуса эту шуточную оперу „Открытие Америки“ и научили петь Олю и Таню! — „по улице ходила, большая крокодила... Она... она... она... зеленая была!“

— И нам всем попало.

— А потом, как только Оля про кого-нибудь начнет говорить и запнется и скажет: „она, она...“, все хором.

— Ну, как же! — зеленая была!

— Ах, хорошо было до войны!

— Теперь за это буржуем назовут, — басом сказал Миша.

— Да. Теперь. Помнишь Миньону Латышову. Мы ее Миньонной называли за то, что она так хорошо Миньону пела, — начал Павлик...

— Эту: *Connais tu le pays?**) — напел Ника.

— Эту самую. Встретил я ее весною в Павловске. Вы, Павлик, говорите, признаете свободную любовь?

*) Ты знаешь край?

— Что ей теперь лет тридцать будет?

— Я думаю и все тридцать пять, но она хорошенькая. Я промолчал. А она говорит — тут я познакомилась с одним матросом — удивительно красив. Хочу его писать Аполлоном, но, если вы согласитесь, я вас буду писать. Ну, мне не до того было. Помнишь, что замышляли.

— Она такая, — сказал Ника. — Но неужели с матросом?

— Ей мода важна. А это первые героини. Помнишь, как она за Керенским бегала?

Из далекого прошлого воспоминания перешли к более близкому, краски померкли, появились жуткие картины убийств на улице и молодежь замолчала.

С кипящим самоваром пришла Дарья Ильинишна.

— Что, господа, в темноте сидите? А я вам лампу за свечу. Чайку напьетесь, я вам коржиков напекла на дорогу. В Питере то Бог знает еще, что найдете, все свой запас лучше иметь.

Когда загорелась лампа и стал шуметь самовар, призраки прошлого исчезли и невольно все стали думать о том, что предстоит в Петрограде.

— Куда же мы пойдём? — спросил Ника.

— Увидим. Если все будет тихо — на квартиру Саблина. Посоветуемся с ним, потом в казачий совет на Знаменскую, там наша штаб квартира. А там видно будет.

— Я так думаю, — сказал Миша. — Набрать человек двадцать с ручными гранатами, ну и подговорить еще человек пятьдесят товарищей солдат и придти на заседание совета солдатских и рабочих депутатов, когда там будет говорить Ленин и крикнуть: — „бей их!“ и с ручными гранатами на них. Я думаю, выйдет.

— Не верю я в товарищей, — сказал Ермолов. Крикнешь — „бей их!“ — а никто не поддержит. Начнут говорить: — „да я что, да не мое это дело“ и сорвут всю историю.

— Такие, как Осетров, пойдут, — сказал Миша.

— Так Осетрова надо перевернуть всего. Он убежденный большевик. Он говорит: — „под красным знаменем все

позволено, а если по царскому времени меня разменять, что я такое — прапорщик и сын извозчика. Война кончится — опять на Лиговку в вонючий трактир. А ежели мы у власти будем, так я уж себе особнячок в Царском присмотрел”. Чем его угомонишь.

— Ну дать ему этот особнячок, — сказал Павлик, — лишь бы дело сделал.

— Не пройдешь в Смольный то! — сказал Ермолов.

В девять часов все поднялись.

— Что, бабушка, сыну поклониться прикажешь, — сказал, прощаясь со старухой, Ника.

— Ну, кланяйся, батюшка, ему. Да только не очень вы ему крутите голову то. Один он у меня остался. Никого больше нету!

Старуха смотрела на надевавшую шинели молодежь и слезливо моргала.

— Коли за царя, — тихо сказала она, — так и его можно... И его, значит, отдам. Потому от Бога так сказано. Ну, спаси вас Христос. Машутка вас до дороги проведет, а то ночью то не найдете.

— А не боится Машутка?

— Ну, где ей бояться. Почитай и родилась в лесу. Ее и лешие то все знают, — смеясь сказала старуха. — Готова, что-ль, Маша?

— Иду, тетенька! — и Машутка появилась в большом платке, в высоких мужицких сапогах и с фонарем в руке.

— Пошли, господа, что-ль, — сказала она.

— Посидеть надо, — сказала Дарья Ильиниша, — по старому Русскому обычаю.

Сели на лавки, помолчали, потом разом встали и пошли. Старуха в дверях благословляла их старой коричневой морщинистой рукой и, сама не зная почему, плакала и все повторяла — не вернутся ведь! Не вернутся! Спаси их Христос!..

ХЛІ.

У Царского села был бой. Солдаты Царскосельского гарнизона толпами бежали на станцию, запружали ее, ломились в вагоны и требовали немедленной отправки в Петербург. На окраинах Царского Села маячили редкие цепи донских казаков, пришедших с Керенским, но ненавидевших Керенского. В казармах шли митинги. Оставшиеся стрелки выносили резолюции: ни с Керенским, ни с Лениным, а в общем было видно, что пойдут с тем, кто окажется сильнее. Братья Полежаевы и Ермоловы потолкались на Царскосельской станции и убедившись, что места на поезде им не получить, решили идти пешком. На станции Александровской были матросы и вооруженные рабочие — красная гвардия. Там в сумерках ясного осеннего дня желтыми огоньками вспыхивали выстрелы. Казаки наступали на Александровскую.

Полежаевы шли по нижнему шоссе. Все Подгорное Пулково светилось огнями. В каждой избе сидела компания матросов, или красногвардейцев, выгоняли крестьян рыть окопы на Пулковской горе. Глухою ночью Полежаевы с Ермоловыми подошли к Средней Рогатке. По избам, несмотря на поздний час, горели огни. Петербург был в четырех верстах, темный и необычно тихий. Над ним не было отраженного небом зарева огней, город лежал, притаясь и страшно было входить в него, не зная что там делается.

Миша подошел к избе и заглянул в окно. В черном штатском пальто и старой гимназической фуражке со снятыми лаврами он походил на красногвардейца. Он долго смотрел в окно, потом подошел к ожидавшим у палисадника братьям.

— Забайкин там. Ей Богу, господа, Забайкин, — сказал он.

— Кто такое Забайкин? — спросил Ника.

— Да гимназист же! Годом меня старше. Мать его яблоками на Загородном торгует. Шалопай страшный, а так ничего, добрый парнишка.

— Один он, — спросил Ермолов.

— Ну! один! Человек двадцать с ним, рабочих. Красная гвардия! Да чудные! Пулеметными лентами позакрутились, прямо индейцы какие то. Точно дети играют. Зайдем туда. Скажем, что мы тоже красная гвардия.

— Ну что же. Разведать, расспросить, господа, надо, — сказал Павлик.

— Идемте.

Изба была переполнена народом. Это были рабочие с заводов и все больше молодежь. Под потолком горела лампа, красногвардейцы сидели по лавкам и за столом и пили чай. Большой каравай крестьянского хлеба лежал перед ними.

— Здравствуйте, товарищи, сказал Миша. — Забайкин узнаешь, друже?

— Ермолов! Ты что? Тоже поступил?

— Ну да. Это мой брат. А это товарищи наши.

— Вы откуда, — подозрительно оглядывая вошедших, спросил рабочий.

— Из Царского, на разведку в Питер посланы.

— А что в Царском, — спросило несколько голосов.

— Казаки занимают.

— Ну!..

— Я говорил, товарищи, что так и будет — сказал рабочий с простым Русским лицом. — Керенский там? — спросил он.

— Не то там, не то в Гатчине, — отвечал Миша.

— Как же, это солдаты сдали? — спросил пожилой рабочий.

— Солдаты все сюда идут. Матросы у Александровской бой ведут.

— А много казаков?

— Кто их знает. Тысяч десять, сказывали, — говорил Миша. А что в Питере?

— Чорт его разберет что, — сказал Забайкин. — Вышло требование народа: — вся власть советам. Значит Ленин и исполком берут все на себя. Обещания народу даны такие: — немедля по телеграфу мир и айда по домам, раздача хле-

ба, земля крестьянам, заводы и банки социализируются и передаются народу, созывается Учредительное Собрание. Ну, товарищи пошумели и пошли к Зимнему дворцу. Там заперлось правительство. Выставили пулеметы, юнкера охрану держат, женский батальон.

— Это мы все знаем, сами там были с рабочими, — сказал Миша.

— Да, кабы нам кто сказал, где правда, — сказал пожилой рабочий. — А то так говорят: Ленин шпион на германские деньги работает. Ладно. Так я и поверил! Почему же не арестовали тогда! Нет — Чернов, Виктор Михайлович, сказал, что это неправда, что Ленин честный человек. Керенский с ним был за одно. Вы возьмите в толк еще то, что, когда рабочие за винтовки взялись и пошли к дворцу, так кто на защиту стал? Юнкря, да девки — самой буржуй, значит. Солдаты по казармам заперлись. Офицеры молчать. Теперь, глядите, говарищи, — 25 октября Керенский помчался в армию, войска собирать против Ленина. Кого собрал? Одних казаков. Казаки те же буржии. Вот я и полагаю, что Ленин и большевики истинно за народ стоят и нам с ними идти надо, а не против них.

— Кабы разъяснил кто, — с тоскою сказал красногвардеец, оглядывая всех кругом — мы народ темный. Царя не стало и пошла путаница. То Львов, то Керенский, то Ленин. И каждый другого хаит.

— Нет, товарищи, это уже истина. Народная власть — советы.

— Да так то оно так, а только, товарищи, был я в Смольном. Жиды, да немцы, да латыши — Русских то почитай и не видно.

— Кабы так было, солдаты пошли бы с Керенским. А то не идут.

Миша стал прощаться.

— Куда же ты, Ермолов, — сказал Забайкин.

— С донесением обратно, на Пулковскую гору.

Никто их не задерживал. Они вышли на шоссе и пошли по пустынной дороге. Дорога была грязная, растоптанная

войсками и обозами. Не доходя до триумфальной арки они свернули в сторону и огородами стали пробираться к городу. Ночь была светлая. Ярко горели на небе звезды. В городе было тихо. Электричество светило только в центре. Изредка доносились оттуда редкие выстрелы. Увязая в черной и липкой грязи, прыгая через канавы Ермоловы и Полежаевы подвигались к Боровой улице. Два раза пришлось перелезть заборы, проходить пустыми дворами, наконец, вышли на широкую грязную немощеную улицу.

— Боровая — сказал Павлик.

— Она самая. А тихо как, — сказал Ника, — куда же пойдем?

— Вот и я думаю куда? На Забалканском у них, конечно, заставы. Там казармы близко, народа много. Не всегда Забайкины попадутся, можно и на Гайдука нарваться, — сказал Ермолов. — Пойдемте, господа, на Разъезжую, потом по Чернышеву и Гороховой.

Все одобрили его предложение.

Петербург вымер. Все окна были темны. Редко, редко виднелась кое-где лампадка, затепленная под образами и где красным, где зеленым светом тускло мигающая под окном. Нигде на перекрестках не было милиции. Она была снята рабочими. Но чувствовалось, что город не спал, а тревожно прислушивался к тому, что делается на улицах. За закрытыми железными воротами слышались робкие голоса. Город ждал избавления. На Лиговке ярким светом горели два освещенные дома. Часть окон была прикрыта ставнями и сквозь щели выбивался желтый свет. Компания загулявших матросов стучала в запертые двери и грубо хохотала. Сверху, из раскрытого окна слышался истеричный женский смех и ругательства. Несколько извозчиков стояли посередине улицы и лошадей под уздцы держали солдаты.

На Разъезжей, по трактирам и кинематографам горел свет и толпа солдат стояла подле. Молодые люди спустились по Коломенской и Ямской на Ивановскую, по пустой Бородинской вышли на Фонтанку и здесь остановились. Опять взяло сомнение, куда идти. Но деревянный мост против Ма-

лого театра охранялся мальчишкой-красногвардейцем, который с испугом смотрел на приближавшуюся компанию и ничего ей не сказал и Ермоловы и Полежаевы благополучно вошли в Апраксин двор. У темных рядов магазинов кое где дежурили сторожа, но они, видимо, были рады тому, что молодые люди торопливыми тенями скользили дальше вдоль железных арок.

На Каменном мосту пришлось выдержать опрос. Ермолов сразу заметил, что опрашивавшие не имели точных инструкций. Ограничились осмотром карманов, нет ли оружия, причем у Миши пропал кошелек, а у Павлика портсигар. Та же история повторилась и на Синем мосту. По Морской горели фонари. На Мариинской площади темной кучей стоял отряд матросов и красной гвардии. Над ними темными громадами, точно серые слоны возвышались две броневые машины. Здесь Полежаевы узнали, что днем красная гвардия заняла центральную телефонную станцию. Каждые двадцать шагов их опрашивали, но удовлетворялись ответом: — „мы за советскую власть, идем домой на Петроградскую сторону”.

На той стороне Невского, на половину освещенного, постреливали. Несколько грузовиков и легковых автомобилей стояли возле дома Благородного собрания и по Мойке. После горели костры и какие то люди толпились у огня.

— Все дело в смелости и нахальстве, — сказал Ника и пошел впереди всех на Миллионную. Из Зимнего дворца стреляли по арке. Пули пронеслись со свистом по улице и впились со щелканьем в торцовую мостовую. Красноармейцы жались к стенам домов, укрываясь выступами арки.

— Эй! товарищи, — вы куда! — раздались голоса с обеих сторон.

— Свои, свои, — крикнул Павлик.

— Туда нельзя. Там юнкаря.

— Врозь и бегом к дворцу! — шепнул Ника. Павлик и братья Ермоловы кивнули головами.

— Стой! — крикнул сбоку красногвардеец и выставился из-за арки. Пуля щелкнула по арке и он поспешно спрятался. Братья бросились бежать по площади к дворцу.

Несколько выстрелов раздалось по ним, пули защелкали по арке, осыпая камень, но они уже были на площади. Застрелили выстрелы из Александровского сада и с Мойки, пули свистали кругом, откуда то сверху защелкал пулемет, но они бежали невредимые, сливаясь темными силуэтами с темными торцами и мокрыми камнями площади. Впереди был Зимний дворец с большими, наглухо запертыми, железными воротами. Ворота были забаррикадированы дровами, сложенными на подобие бастиона. Чьи то головы показались над ними. Вдруг ярко загорелся большой круглый фонарь у ворот и сейчас же погас.

— Господа! впустите! свои! — задыхаясь крикнул Ермолов. Несколько рук протянулось им навстречу и их перетаскивали через дрова.

Юнкера в шинелях с красными погонами, обшитыми серебряным галуном, повели их через ворота во двор.

Во дворе горел костер и сидело человек двадцать юнкеров. Они окружили вошедших.

XLII.

— Ну что? Где Керенский и казаки? — было первым вопросом юнкеров. Они по лицам, по смелости подвига, узнали, с кем говорят.

Братья уселись на ступенях главной дворцовой гауптвахты и стали рассказывать все то, что они видели и слышали за день своих скитаний. Они не умалчивали ни о чем и ничего не скрывали. Они сказали, что казаков меньше тысячи, что они ждут помощи солдат, а солдаты не приходят, что они не верят больше Керенскому и не хотят сражаться, что все их надежды на то, что Петроградский гарнизон станет на их сторону.

— Как же, — с отчаянием и злобою, сказал юноша лет шестнадцати, почти мальчик, глядя усталыми страдающими глазами на Ермолова — наши солдаты сплошь трусы и шкурники. Они ни за что не выйдут из казарм. Они готовы признать свою власть немцев, большевиков, Ленина, Керен-

ского, хоть самого дьявола, лишь бы им ничего не делать, лущить семечки, да шататься по кинематографам.

— Такие же и здешние казаки, — сказал черноусый маленький юнкер, — понарядились во френчи, денег уйма и никто не интересуется откуда у них деньги.

— Приходили тут Уральцы, старые, потолкались по Царским комнатам, а потом и утекли. „Когда мы сюда шли”, — сказали они нам, — „нам сказок наговорили, что здесь чуть не весь город с образами, да все военные училища и артиллерия, а на деле то оказалось — жида, да бабы, да и правительство, тоже на половину из жидов. А Русский то народ там с Лениным остался. А вас тут даже Керенский, не к ночи будь помянут, оставил одних. Вольному воля, а пьяному рай.

— Вот вам и казаки!

— И ведь надо же, чтобы этакий грех случился у дверей молельни императрицы часовым поставили юнкера-еврея.

— Чуть не подрались казаки с юнкерами.

— Главное — никто не распоряжается. Керенский уехал, а министры тут засели и ничего не делают.

— Все разговорчики...

— И умирать за таких министров охоты нет никакой.

— Раньше был царь, а теперь пустое место.

— Россия, господа, осталась.

— Россия под красным знаменем! Какая уже это Россия!

— Говорят, в городской думе собрались общественные деятели, может быть, они что-либо придумают.

— Слыхали, господа, — сказал подошедший из дворца юнкер, — сейчас Пальчинский от министров передавал: — звонили по телефону из Городской Думы, что общественные деятели, купечество и народ с духовенством во главе идут сюда и скоро должны подойти и освободить дворец от осады...

— Это поразительно красиво будет! — сказал офицер школы в сером пальто мирного времени с бледным усталым лицом, на котором горели душевной тоскою большие лучистые глаза.

— Бросьте, господин поручик, ночь уже. Какие общественные деятели!

— Куда им! Вы слышали, что пленный большевик рабочий рассказывал.

— Да, брешет он!

— Кто знает? А на них похоже. Говорит — вы не знаете Ленина и Троцкого. Они поставят под Александровской колонной электрическую гильотину и всем, кто против них, головы поотрубают.

— Бросьте, Вагнер, и без вас тошнехонько.

— Не может этого быть. Не звери же они. Такие же люди, да и Русские притом.

— А вот увидите. Слыхали, на Петроградской стороне тридцать юнкеров Владимирского училища взяли в плен, поставили у забора и всех расстреляли. Красногвардейцы расстреливали. Вертунов из окна видел. Потом уложили трубы, как дрова на грузовик и куда то увезли.

— У вас нервы, Вагнер.

— Господа юнкера, можно у вас огонька получить, — сказала, подходя к сидевшим, девушка лет двадцати пяти. Поверх юбки на ней надета была шинель, подпоясанная ремнем с патронташами.

— Пожалуйте, Леночка, присаживайтесь к нам.

— Некогда, господа, с вами растабарывать.

Леночка взяла головню и побежала во дворец.

— Ну, как они? — спросил Павлик.

— Ничего. Все драться хотят. Это „ударная рота женского батальона смерти“. Уже в вылазку ходили, к Миллионной улице. Все как следует — винтовку на руку и впереди женщина-офицер с револьвером. Теперь с нами первый этаж дворца занимают.

Юнкера примолкли. После оживленного обмена мнениями все сидели и молчали. Бледный рассвет наступал на дворе. Яснее стали облезлые, лишь кое-где сохранившие листья кустарники по середине двора, столбики и будка гауптвахты, стеклянная галерея. Звезды погасали и серое небо над узким двором каждую минуту становилось бледнее.

— Господа выборные, на совет, — сказал кто-то с гауптвахты и ушел во дворец, хлопнув стеклянную дверь.

— О черт возьми! Опять разговорчики! — проворчал поручик и шатающейся от усталости походкой побрел к дворцу.

Ника сидел в стороне и смотрел на юнкеров у догоравшего костра. Они все были с бледными, усталыми от бессонной ночи лицами. Тонкий, точно барышня, стройный, хорошенький юнкер лежал на ступенях, положив нежное лицо на черные доски гауптвахты и спал. Длинные ресницы сомкнулись, пухлый детский рот был полуоткрыт и грудь ровно дышала. Рядом с ним черноусый спал сидя и густо, по утреннему, храпел. Вагнер, бледный, с окруженными синевой мечтательными глазами, сидел на принесенном из дворца кресле и смотрел на небо. Он заметил, что Ника смотрит на него и подошел к нему.

— Мне вся эта история представляется безнадежной, — сказал он со слезами в голосе — нас и четырехсот человек не наберется, патронов мало, связи ни с кем нет. 25-го октября удрал Керенский, сегодня удерет или изменит Полковников и что будет с нами?! В Неву вошла „Аврора“. Она уже стреляла по городу. Два хороших попадания и от дворца ничего не останется.

— Но что же делать? Не сдаваться же? — сказал Ника.

— Сдаваться нельзя. Перестреляют, замучают всех. Вертунов рассказывал, что когда юнкеров повели на расстрел, мать одного из них, интеллигентная женщина лет сорока, хорошо одетая, бросилась на колени перед красной гвардией и кричала: — „я мать! я мать! Отдайте мне его!“ — Красногвардеец грубо выругался и сказал: — „ну, так смотри же, как твоего щенка задушим“ — и стал выпускать в него пулю за пулей, а она на коленях ползала перед ним по грязи и хваталась за его ноги. Чего ждать от них!

— Надо биться до конца.

— Я понимаю вас. Это верно. Надо биться, но за кого умирать, когда так хочется жить. За Коновалова и Терещенко? За Керенского и Чернова?.. Они так много говорят о

России, а понимают ли они Россию?.. Ах... так жить хочется!.. Я мечтал о славе на войне, о подвигах. Немцы разбиты, мы возвращаемся ликующими рядами и жители встречают нас цветами и букетами. И у меня есть мать, сестры, и братья, есть родной угол. Зачем же? по какому праву хотят отнять это у меня? За что берут мою жизнь?

— За Россию, — тихо пожимая ему руку, сказал Ника.

— За Россию... Но без царя нет и России.

Вагнер отошел от Ники и, войдя в кусты, низко опустил голову. Нике показалось, что он плакал.

Ясный октябрьский день наступал.

XLIII.

С утра во дворце начался беспорядок. Ника видел, что не было никакого плана обороны дворца, да его и не могло быть, потому что никто никого не слушался и не исполнял ничьих приказаний.

В одном из зал были наставлены столы. Придворные лакеи, с презрительными улыбками на бледных лицах, служили за ними, подавая закуски и вина. Там пировали офицеры в то время, как юнкера и Полежаевы с Ермоловыми второй день не имели корки хлеба. На улицах стреляли. Здесь были расстегнутые мундиры, пьяные лица, в коридоре кого то тошнило, несколько человек стояли у стены, с дорогими портретами в позах, не вызывавших сомнения в том, что они делали.

Ужасная тоска сжала сердце Ники.

„Да”, — подумал он, — „понятно, почему гибнет Россия. Она не может не гибнуть”.

— П-поручик! п-по-жалуйте, — привязался к Нике капитан Ораниенбаумской школы прапорщиков. — Выпьем... Вино отличное, Царское!.. И то, представьте, эта старая рвань, лакеи, нам еще худшее подали. Воображаю, что было бы с нами, если бы мы да старенького тяпнули. Пожалуй и на ногах не устояли бы.

Ника смотрел на него с недоумением и злобой.

— Стыдно, капитан! — тихо сказал он и пошел по дворцу.

Везде был хаос. В одной из зал строились юнкера Ораниенбаумской школы и одни выходили из строя, потом снова вбегали. Фельдфебель никак не мог закончить расчета.

Они оставляли дворец.

Защитников дворца становилось все меньше, а толпа в нем не уменьшалась и все чаще и чаще Ника слышал, как юнкера говорили между собой и рассказывали ему, что то тут, то там среди толпы, шатающейся по дворцу, захватили то матроса, то солдата-большевика. Они просачивались откуда то во дворец и вели настойчиво свою агитацию среди юнкеров. И сразу всем стало ясно, что без помощи извне, без восстания Петербургского гарнизона, без подхода каких то сил к Петербургу, не удержаться. Лазили на крышу, прислушивались к тому, что делалось кругом, но все было тихо. Казаки не наступали. Несколько отчаянных юношей решились пробиться и принести в Царское Село записки с описанием положения. Юнкера и женский батальон сбились по корридорам и залам дворца, терялись в лабиринте комнат, этажей и зал. От поры до времени раздавался тяжелый гул, что то охало неподалеку, звенели и падали стекла и сейчас же страшный взрыв обозначал падение снаряда. Стреляла „Аврора”. И то, что у большевиков была артиллерия, а у юнкеров ее не было, понижало дух защитников Зимнего Дворца.

Министры нервничали и все чаще говорили о том, что сопротивление бесполезно.

Высокий стройный министр Пальчинский выходил из залы и пытался водворить хотя какой-либо порядок в том кошмарном сумбуре, который царил во дворце.

— Постройтесь, постройтесь, господа, скорее, — говорил он. — Юнкерам надо очистить дворец от большевиков. Мы поднимемся наверх, пройдем верхним этажем и зайдем этим негодьям в тыл. Сколько вас?

— Двадцать семь человек, господин министр.

— Ну, довольно для этих негодяев. Они трусливы. А знает кто-либо план Зимнего Дворца?

Но никто не знал.

Шли наудачу и путались по темным переходам, по винтовым лестницам и вся операция казалась сумбурным лихорадочным сном.

Захватывали во дворце большевиков и не знали, что с ними делать, куда их девать.

Телефон уже не работал и никакой связи с внешним миром не было и, как это ни странно, слухи зарождались и гасли, их сообщали, как истину и то надеялись, то предавались отчаянию. От всего этого беспорядка юнкера волновались, не видели смысла боя, не видели возможности отсидеться. Продовольствие было давно на исходе и если бы не таинственные корзины с хлебом и закусками, которые, несмотря на то, что дворец был оцеплен кругом красногвардейцами, протискивали туда люди разного звания, провозили иностранцы — среди защитников был бы уже настоящий голод. Никто не думал, что это продолжится так долго. Рассчитывали, что уже 26-го октября Керенский с войсками освободит Петербург из-под власти большевиков, но шло уже 29-е, а помощи ни откуда не было.

— Держитесь! — говорили прибежавшие из штаба округа люди — помощь близка.

Но по их лицам было видно, что они и сами не верили в эту помощь.

— Капитану Кузьмину, комиссару Петроградского Округа удалось уговорить Преображенцев. На Невском Преображенцы разоружают красную гвардию. Волынский полк окружил Смольный. Ленин и Троцкий бежали на „Аврору”.

Ленин и Троцкий, — эти два имени, не сходили с уст, и на их головы сыпались все проклятия.

Все оживало. Любопытные устремлялись к окнам, открывали двери подъезда и падали раненые невидимыми пулями. Было ясно одно: — обложение дворца стало еще крепче и еще теснее.

Ползли новые слухи, передаваемые на ухо с глазу на глаз. Бледный юнша склонялся к бледному юноше и говорил чуть слышно: — казаки Керенского митингуют и не желают драться.

— Викжель постановил не пропускать никаких воинских эшелонов к Петербургу.

— Кто такое Викжель?

— Военноисполнительный комитет железно-дорожников.

В эти страшные часы нарождались и страшные слова, от которых уже веяло мертвящее, ядовитое дыхание интернационала. К Викжелю присоединился Потель — союз почтово-телеграфных рабочих, и он становился на сторону большевиков.

Около полудня стрельба замолкла. Какая то делегация от большевиков проехала к штабу округа и не успела она скрыться в широких дверях громадного здания, как пошли новые слухи.

— Большевики сдаются, хотят переговоров. Они требуют допущения своих членов в Правительство.

— И пусть.. и пусть... кому они мешают.

— Допустите хоть одного большевика в Правительство и он разложит все правительство и погубит Россию.

— А теперь лучше?

Оглядывались на восьмимесячную работу Временного Правительства и чувствовали, как обмякали руки и ноги, и сердце медленно падало. На фронте отходили, сдавались, бежали, на фронте был один позор. Армия разложились. Внутри грабежи и погромы. На улицу страшно выйти. Голод надвигается вместе с зимою, дров нет, железные дороги умирают, рабочие перестали работать. Красивый Русский язык поруган, старое правописание заменено новым. Заборное правописание освящено Академией Наук и постановлением временного правительства. Правительство широко раскрыло двери хаму и хам врывался и поганил все, что было чисто и свято.

С улицы шли страшные вести.

— Ищут по домам кадет и юнкеров и убивают на смерть.

И сейчас же говорили о том, что красная гвардия дрянь, она не хочет сражаться.

— На Невском, дама одна, трех красногвардейцев обезоружила и винтовки сама в дворницкую снесла, при смехе толпы.

На улицах была толпа, значит, не так страшно. Опять любопытные лица тянулись к окнам, опять по узким лестницам лезли на чердаки и выползали на крышу. Большой красный флаг трепался на флагштоке и говорил о крови и мучениях. Внизу в сыром тумане осенних сумерок мокрыми камнями блестела площадь с черными полосами торцовых дорог.

Пусто было на ней.

Александровский сад шумел осенними кустами и они облетевшие, разбухшие от дождя, казались зловещими. Вся его площадь, с извилистыми дорожками, с круглым бассейном фонтана, с памятниками, была пуста. В белом здании Адмиралтейства таилась толпа и оттуда шелкали выстрелы. Пять человек матросов жались за Александровской колонной и чудилось, что они устанавливают там пулемет. Броневик стоял под аркой Главного Штаба.

Дальше было море крыш — темнокоричневых, серых, мокрых, блестящих. Там были дома, где жили родители этих юношей, где от них ждали спасения.

Там было тихо. Взгляд хотел увидеть в туманной дали за городомдвигающиеся войска, слух хотел уловить гром канонады, увидеть дым поездов спешащих на выручку. Но кругом была тишина и темное марево покрывало поля и огороды вокруг Петербурга.

— Митингуют... шептали молодые уста.

— Казаки митингуют и не идут спасать Петроград!

XLIV.

30-го октября стало холоднее. С моря дул резкий порывистый ветер. Нева почернела и волны с глухим шумом на-

бегали на мосты, пенились белыми гребнями и рассыпались шипя. То бил холодный косой дождь, то между туч обнажались клочки голубого неба и печальные лучи будто заплаканного солнца упали на сверкающую под ними воду, на дома, на дорожки сада.

С юга отчетливо, часов с десяти, послышалась частая канонада.

Бух, бух! слышалось оттуда.

Бух, бух, бух, бух! и опять четыре выстрела и еще четыре.

— Очередями сыпят, — говорили во дворце.

— Казаки наступают.

И опять родились слухи и опять возникали надежды.

— Под Пулковым дерутся.

— Какое! Ближе! Среднюю Рогатку, слышать, занимают.

— Измайловский полк в беспорядке бежал. У казаков броневой поезд оказался.

— Броневой дивизион выступил из Петрограда с белыми флагами сдаваться Керенскому.

— Казаки седлают лошадей, переходят на сторону Керенского.

Кто то уже видел казаков на Невском у Гостиного двора.

Голодные, бледные, исхудалые, изможденные бессонными ночами лица юнкеров оживлялись, глаза сверкали надеждой.

— Погодите, Леночка, и на нашей улице праздник будет.

— Теперь отсидимся.

— Ах, дал бы Бог!

Выстрелы гудели все в одном и том же месте. Часам к двум они стали реже. К трем совсем смолкли. Солнце садилось в серый туман, тучи заволакивали небо, Нева с глухим шумом билась о гранит набережной. Вместе с сумерками появились и страшные слухи.

— У казаков нет патронов.

— Казаки изменили и сдались...

Последняя надежда рухнула. В Зимнем дворце становилось хуже. Ораниенбаумцы ушли. Петергофская школа прапорщиков оказалась ненадежной. Кто же был надежен? Кому можно было верить? И было ясно, что дворец уже занят не юнкерами, а большевиками и юнкера группировались лишь в Портретной галлерее, да в Фельдмаршалском зале, составляя непосредственный караул Временного Правительства. Временное Правительство совещалось... о сдаче...

Притихшие у высоких дверей юнкера шопотом передавали друг другу страшные вести:

— Керенский пошел на переговоры.

— Викжель требует мира и прекращения междуусобной брани.

— Полковников бежал.

Офицеры ходили растерянные среди юнкеров и не могли рассеять страшных слухов, возникавших то тут, то там, не могли ответить на роковые вопросы. Они не знали ничего.

Петербург, озаренный пламенем костров, глухо волновался и в этом рокоте толпы, гудках автомобилей, вдруг проснувшихся, чудилась победа большевиков.

Опускались руки. Обойма, взятая, чтобы быть вложенной в магазин винтовки, падала на пол и патроны рассыпались. Мертвели глаза.

Двери залы, где были министры, были наглухо заперты. Возле них стояли часовые. Там шли совещания. Иногда оттуда выходил человек в темном сюртуке, с седыми волосами и говорил сбегавшимся к нему юнкерам:

— Господа, обороним и защитим честь и достоинство России. Господа! умрем, а не сдадимся.

Юнкера молчали. Мрачным огнем горели глаза. Руки нервно сжимали винтовки.

— Если сдадимся, пощады никому не будет, — говорил министр, уходя, и никто не знал, что решили, что придумали те, кому доверили свои молодые жизни эти юноши и девушки.

— Сдаваться немислимо...

— Сдаваться позор, — говорили по залам, корридорам, лестницам и дворам дворца. И вдруг, как ошеломляющее, убивающее известие пронеслась среди защитников страшная вест: —

— Белый флаг на дворце..

Вся площадь сразу наполнилась густою глухо гомонящей толпою. Слышались из нее резкие командные крики. Стало до боли ясно, что стрелять по ней ни к чему.

Матросы, солдаты и красногвардейцы густыми толпами врываются в ворота и подъезды и растекались по дворцу, наполняя его отовсюду.

— Держите, товарищи, дисциплину, — покрикивал худощавый человек в мятой черной шляпенке, размахивая руками.

— Товарищи, — прокричал еще раз худощавый человек, помните революционную дисциплину! — и скрылся за дверями полуциркульного зала, где находилось Правительство.

Прошло несколько томительных минут. Двери зала распахнулись и опять появился этот же черный, худой молодой человек. Лицо его было восторженно. Он поднял руки над головой, растопырив ладони, будто хотел начать дирижировать каким то хором и закричал диким голосом:

— Спокойствие, товарищи, спокойствие! Товарищи! Да здравствует пролетариат и его революционный совет! Власть капиталистическая, власть буржуазная у ваших ног! Товарищи! У ног пролетариата! И теперь, товарищи пролетарии, вы обязаны проявить всю стойкость революционной дисциплины пролетариата красного Петрограда, чтобы этим показать пример пролетарию всех стран! Я требую, товарищи, полного спокойствия и повиновения товарищам из операционного комитета Совета!

Толпа дрогнула, навалилась, подалась вперед, плотным кольцом окружила юнкеров и стала отнимать у них винтовки.

Вооруженные рабочие вошли в зал, где в дальнем углу сидели члены Правительства.

Звонкий голос распорядителя раздался по Портретной галлерее:

— Товарищи, выделите из себя двадцать пять лучших, вооруженных товарищей для отвода сдавшихся нам слуг капитала в надлежащее место для дальнейшего производства допроса.

Из толпы стали выделяться матросы „Авроры” и окружать членов Временного Правительства.

Несколько минут во дворце был слышен сдержанный гул многих тысяч голосов. Товарищи еще „держали революционную дисциплину”, но вот щелкнул выстрел: — юнкер застрелился.

Этот выстрел точно пробудил толпу. Она вдруг раздалась, рассеялась и из неподвижного состояния ожидания чего то перешла к деятельности.

Начали хватать вещи со столов, драть обивку кресел и диванов. Показались люди, несшие с хохотом девушек женского батальона. Отдельные крики возвышались над общим гоготанием и разносились по дворцу.

— Спасите! спасите! — диким голосом кричала Леночка. Матросы тащили ее по комнатам нижнего этажа.

— На царскую постель ее!

— Натешимся!

— А и много их здесь.

— То-то добыча!

— Спасите!

— Боже!

— Здорово завоевали! Хо-хо, вот это так добыча!

По залам дворца, на полу, на постелях лазарета начиналось пиришество зверей. В полутьме видны были группы по восемь, по десять человек, слышались хрипение, стоны, тяжелое дыхание и циничная ругань.

— В очередь, товарищи, становись в очередь! Вынимай билетки на brunetку фельдфебеля.

Юнкеров обезоруживали и сгоняли во двор, чтобы вести их куда-то.

— Тащи, пулемет, прикончим здесь, — смеясь кричал матрос с красным лицом и весельем горящими глазами.

— Вот так Ленина свадьба!

— Товарищи, помни приказ комиссара никого не трогать. Большевики не крови ищут!

— Куда их беречь буржуев!

— Что, брат, трясешься. Погоди, к стенке поставим, то то танцы узнаешь.

— Это враги народа!

— Не разговаривать! Комиссар идет.

Молодой офицер в шинели, в погонах, с алой повязкой на рукаве, властно расталкивая матросов прошел через толпу к юнкерам и приказал построиться.

— Вам, — сказал он, — ничего не будет. Товарищ Шлосберг, ведите их в крепость.

Ночь прошла на крепостном дворе, возле монетного двора у Трубецкого рavelина. Как стадо столпились юнкера, одни сидели, другие лежали на мокрых камнях, третьи стояли, прислонившись к стенам. У ворот, возле костра толпились вооруженные рабочие. Мелкий холодный дождь сыпал сверху и, казалось, что этой ночи не будет конца.

Миша с братом, Павлик и Ника были в этой толпе. К ним жался Вагнер с бледным и тонким, как у девушки лицом. Он отвел Нику в сторону и начал говорить, но подбородок запрыгал у него и вместо слов вылетел только неясный звук: — у-а, а, а...

Он отвернулся, набрал воздуха в грудь и заговорил: —

— Вы знаете... Леночка... моя невеста. Я не буду больше жить... На Дегтярной, в доме номер 28 квартира 36 во дворе... Моя мать... Расскажите ей, как я умер.

Юнкера подходили к красногвардейцам и заговаривали с ними. Красногвардейцы, молодые рабочие в черных пальто, а многие и без пальто, в пиджаках, опоясанных патронными сумками и пулеметными лентами, стояли, опираясь на винтовки, и шутили.

— Что, господа буржуи, попановали и довольно.

— Третьего дни таких, как вы, сотню на Смоленском поле в расход вывели.

— Оставьте, товарищи, каждый в своем праве. Отпустят вас. Только подписку возьмут, что вы против Совет-

ской власти никогда не пойдете. Живите. Большевики добра хотят.

— А куда ушли казаки? — спрашивали юнкера.

— В Гатчино. Да и казаков то кот заплакал.. Только чetyреста человек и пошло за Керенского. Все за народную власть!

Поздно ночью узнали, что привезли арестованных министров.

— Капут временному правительству, товарищи. Рабочекрестьянская власть наступает в Рассее. Теперь и мир, и хлеб, и земля. Никто вас, юнкерей, не тронет, говорили красногвардейцы.

От надежды, подлой надежды как нибудь сохранить свою шкуру, переходили к страшному отчаянию. Слышались стоны насилуемых женщин и липкое сознание какой-то низости вступало в молодые сердца. И тогда тошнило не от одного голода. Несколько человек, угревшись вместе в углу двора, положив головы на мокрые плиты тротуара, спали, решив, что надо набраться силы для завтрашнего дня. Среди них был Миша. Все кипело в нем негодованием, и вместе с тем какой то план геройского подвига, который он должен совершить создавался неосознантельно в его голове.

Вагнер стоял, прислонившись к стене, и лицо его с закрытыми глазами было так бледно, что Нике временами казалось, что он уже умер от горя. Но, увы! от горя не умирают.

Так долгая, мучительная, холодная и сырая шла ночь, и каждый знал, что эта ночь последняя для него.

Как хотелось многим проститься со своими, увидеть последний раз лицо матери, отца, сестер и братьев, увидеть свой дом, свою квартиру.

— Как думаешь, — тихо проговорил Ника, обращаясь к Павлику — Тania и Оля чувствуют теперь что с нами?

— Страшно подумать. Оля в Царском, а Царское...

— Бог милостив.

— Ты думаешь, нас расстреляют.

— Только не мучали бы.

— Ах! уже умирать! Мы так молоды.

— Молчи!. . Молчи!..

Утро наступило, наконец, хмурое, туманное и сырое. За воротами в узком переулке с тяжелым грохотом промчался грузовой автомобиль и остановился, треща машиной. Во двор вошел молодой человек с бледным лицом, окруженный вооруженными матросами. Он держал в руке револьвер и бумагу.

— Юнкерам построиться! — властно крикнул он.

Юнкера стали становиться в две шеренги. Их лица были землистые, глаза смотрели угрюмо.

— Советская власть победила, — стал говорить приехавший. — Во всей России водворяется порядок, и совет народных комиссаров постановил даровать жизнь тем, кто был обманут и ослеплен безумными вождями, стремившимися к реакции. Вы подпишете здесь бумагу о том, что вы признаете власть советов и не будете выступать против нее с оружием в руках. И тогда вы свободны. Можете ехать по домам. Клянитесь в этом.

Юнкера молчали. Многие тяжело дышали. Слезы стояли в пустых усталых глазах.

— Я клянусь, раздался искусственный ломающийся бас, — всю жизнь бороться против насильников Русского народа и уничтожить предателя, подлеца и шпиона Ленина!

— Что-с! Кто это сказал? — визгливо выкрикнул молодой человек.

— Я, — выступая вперед сказал Миша. — Господа, подписывайте бумагу. Она вынужденная и ничего не стоит. Моя кровь развяжет вашу клятву.

— К стенке! — взвигнул молодой человек.

Матрос так толкнул Мишу, что он упал на камни, но сейчас же встал и смело подошел к стене.

Он стоял у стены и его глаза, большие и лучистые, сверкали, как глаза Ангела на иконе.

— Стреляйте же! — крикнул молодой человек и прицелился сам из револьвера.

— За Царя и за Русь!

Резко щелкнуло около десятка ружей. На бледном лице вдруг черным пятном появилась кровь, глаза закрылись, тело бессильно согнулось и рухнуло ничком на мокрые камни, из которых выбивалась бурая трава.

— Мерзавцы! Палачи! — крикнул Вагнер и кинулся на молодого человека, но сейчас же грубые руки схватили его и установили у стены.

— Этого я сам, — сказал молодой человек и, подойдя на шаг к Вагнеру, всадил ему пулю в висок из револьвера.

— Да здравствует революция! — крикнул он и в каком то экстазе продолжал стрелять в труп Вагнера.

— Ну-с, господа! Кто еще желает?

Юнкера стояли молча. Некоторые тряслись сильною, заметною дрожью.

— Пожалуйте подписываться.

Через полчаса они выходили из крепости. Они шли, молча, не глядя в глаза друг другу.

Под воротами их обогнал автомобиль-грузовик и заставил прижаться к стене. На грузовике уезжали матросы. Они сидели по бортам платформы, а на дне ее лежало два трупа.

Матрос схватил винтовку и выстрелил вверх голов юнкеров. Юнкера невольно отшатнулись. Матросы грубо захохотали.

За мостом юнкера расходились и тихо брели по своим домам. Кругом кипела и бесновалась уличная толпа, шатались солдаты и слышались крики — да здравствует советская республика!

XLV.

Все это время Саблин почти безвыходно провел на своей квартире. Что мог он делать? Он — генерал свиты Государя Императора. Одного его появления было достаточно, чтобы разъярить и взволновать солдат. Сначала он попробовал найти работу, и пошел к военному министру Верховскому. Верховский был из хорошей семьи, учился когда то в Пажеском корпусе, там увлекся социальным вопросом, был исклю-

чен из корпуса, разжалован в рядовые и сослан в Туркестан. Там он хорошо себя зарекомендовал, добился производства в офицеры, поступил в Академию. Он был левый, но по рождению и воспитанию он был наш, и Саблин надеялся, что с ним он найдет общий язык. Прием у Верховского был по демократически с восьми часов утра, и к этому времени было назначено придти и Саблину. В приемной в доме на Мойке, — когда то угольной гостиной madame Сухомлиновой, мебель была чинно расставлена вдоль стен и покрыта пылью. Видно было, что с самой революции хозяйская рука не касалась ее и вытирали ее только платья просителей. У Верховского ожидало приема несколько солдат, потом являлась какая то украинская депутация показывать министру новую форму. Это были рослые молодцы гвардейцы — полковник, обер офицер, фельдфебель и солдат одетые в какую то Русско-французскую форму с генеральским малиновым лампасом на штанах. Они охорашивались, как женщины, перед зеркалом и все спрашивали: хорошо ли. От них веяло опереткой. Полковник готовился сказать благодарственную речь Верховскому за проведение идеи создания особой украинской армии.

Всех их адъютант пропустил раньше Саблина, несмотря на то, что сам же по телефону назначил Саблину придти к 8 часам.

Когда Саблин ему мягко заметил об этом он вычурно вскочил и воскликнул:

— Изв е н я ю с ь, господин генерал. Но то депутации, комитеты, выборные от частей и по демократическим правилам я обязан их пропускать ранее генералов.

Саблин хотел уйдти, адъютант испугался и доложил о нем Верховскому.

Верховский, молодой человек, сидел за громадным письменным столом. Лицо его было неуверенное и жалкое. Как ни старался он играть республиканского министра, эта роль ему не удавалась. Он старался быть важным, но ордена и осанка Саблина его смущали и вместе с тем он боялся сидевшего сбоку за столом юного штаб-офицера генерального

штаба, вероятно, комиссара, или его помощника, без которого он не смел ничего делать. Он хотел быть светски любезным и демократически грубым, хотел перед комиссаром из Совдепа показать, что ему плевать на генералов и все для него: — „товарищи“, но в то же время слово товарищ, примененное к Саблину, у него никак не выходило.

Верховский выразил удивление, что Саблин обращается к нему. Он ничего не знал о том, что Керенский назначил Саблина в его распоряжение.

— Таким боевым генералам, как вы, место на фронте. Армия нуждается в них. Я во всяком случае узнаю, какие будут распоряжения относительно вас, и вам сообщу. Вы здесь живете?

Саблин сказал свой адрес.

— Отлично. Отлично. Работы теперь так много, мы получили такое тяжелое наследство, что вы не останетесь без дела.

Это было 18-го сентября, но кончился сентябрь, проходил и октябрь, а никто не беспокоил Саблина на его квартире. Не было пакетов из канцелярии военного министра, не было звонков по телефону. Бродя по улицам, встречаясь со знакомыми по гвардии, толкуя с ними, Саблин скоро понял, что никакого вызова и не может быть. Ни Саблин, ни те, кто походил на Саблина по своим убеждениям, не были нужны Керенскому. Ему нужно было не создавать, но разрушать и Русскую армию и самую Россию.

Керенский был Верховный Главнокомандующий Армии и Флота и председатель Совета Министров, но держал он себя, как Монарх. В Ставке он бывал налетами, армия его не интересовала, он только позировал перед нею.

Саблин видел ежедневно, — он нарочно ходил смотреть на это — как громадные толпы солдат с утра наполняли Александровский рынок. Вся набережная Фонтанки и площадь подле рынка были серы от них. Там, на глазах у всех, солдаты продавали свое казенное солдатское обмундирование, покупали штатские тройки, тут же передевались и толпами, с котомками на плечах, текли на вокзалы железных до-

рог. Демобилизации армии никто не объявлял, но она уже расходилась самовольно, на глазах у всех.

Все железные дороги были переполнены солдатами. Солдаты требовали у железнодорожных служащих эшелонов, составляли поезда и, нарушая движение, рискуя крушениями, ехали, куда хотели.

На Марсовом поле, иногда, по утрам, Саблин видел жалкие шеренги обучающихся солдат. Они часами стояли, ничего не делая, грызли семечки и пересмеивались. Как то раз Саблин увидел на поле эскадрон своего родного полка. Его сердце мучительно сжалось, рой воспоминаний охватил его и он подошел к эскадрону. Учил эскадрон солдат. Лошади были худые и нечищенные. В таком виде Саблин никогда не видал лошадей своего полка. Люди болтались в седлах, все было грязное, ржавое.

Совсем молодой офицер, граф Конгрин, стоял пеший в стороне. Саблин знал его. Он подошел к нему и спросил, почему он не учит солдат.

— Ах, ваше превосходительство, — взволнованно ответил корнет Конгрин, — но они меня не послушаются. Сегодня и так чудо. Сам комитет постановил произвести учение.

Солдаты не слушаются офицеров, не признают генералов — такова была система управления армиями Главковерха Керенского, отнявшего власть у генерала Корнилова во имя спасения не России, но революции.

Газеты были полны резолюциями и постановлениями армейских комитетов и съездов, комитетов корпусных и дивизионных.

„Комитет Тьмутараканского полка постановил продолжать войну с неприятелем до победного конца в полном согласии с союзниками. Позор предателям дезертирам, покидающим окопных товарищей”.

„Комитет N-ской дивизии постановил ввести в полках дивизии революционную дисциплину и установить товарищеское приветствие друг друга”.

А рядом с этим партией большевиков при бездействии гдавкосева Черемисова в Пскове издавалась газета „Окоп-

ная правда”, где печатались статьи о необходимости заключения мира с немцами без аннексий и контрибуций, о демократизации армии, о выборном начале.

Керенский и совет солдатских и рабочих депутатов работали в полном согласии. Корниловым к Петербургу был стянут III конный корпус, состоявший из надежных и твердых людей. Здравомыслящим лицам удалось уговорить Керенского оставить этот корпус подле столицы „на всякий случай”. Но началась планомерная работа большевиков и корпус систематически растащили по эскадронам и по сотням и разбросали по Эстляндской, Лифлянской, Курляндской, Витебской, Псковской и Новгородской губерниям, где оставленные без влияния старших начальников казаки разложились, потеряли дисциплину и перестали повиноваться.

Саблин видел все это. Какая то властная рука готовила последний удар России и не было никого, кто бы мог отворотить этот удар. Была это рука германского генерального штаба, неустанно через Швецию переводившего деньги Ленину на его работу, была это рука таинственного интернационала, готовящего царство сатаны, — была это просто глупость Керенского, у которого в Зимнем дворце закружилась от власти голова — это было все равно. Саблин видел, что отстранить эту руку он не может.

Для Саблина не были поэтому неожиданностью октябрьские события. Они должны были совершиться. Он презирал таких генералов, как Пестрецов, но он понимал, что они могли или ничего не делать, „саботировать”, как говорили в эти дни, как это делал сам Саблин, или идти с рожном в надежде хоть от чего либо этот рожон удержать.

На глазах у Саблина избивали мальчиков юнкеров, убивали офицеров. Что мог он сделать? Только умереть, только быть так же избитым и убитым. Саблин знал, что он обречен на смерть, что та „Еремеевская” ночь, ночь избияния офицеров, о которой сладострастно толковали солдаты с самой мартовской революции, уже наступила. Он понимал, что офицерство Русское, а с ним и вся интеллигенция всходили на Голгофу страданий, и с ними вместе шел и Саблин.

Он не боялся смерти. Жизнь давно утратила для него свое значение потому что та красота жизни, которую дает семья, Родина, свой полк, армия, победа и Царь, как символ всего этого, были вырваны из его сердца. Но ему не хотелось умирать, как барану, ведомому на заклание, как убойному скоту, ему хотелось отдать свою жизнь в борьбе и он ждал того момента, когда эта борьба начнется, чтобы в ней дорого отдать свою жизнь, а пока берег себя.

25-го октября красное знамя мятежа перешло в руки большевиков, и началась их быстрая разрушительная работа.

Саблин часто сравнивал состояние России с состоянием тифозного больного. Период временного Правительства это было скрытое состояние тифа, когда больной еще ходит, у него нестерпимо болит голова, иногда начинается бред, но окружающие еще не чувствуют, какая у него болезнь. Теперь кровавый бред окончательно свалил больного и жуткие кошмары начали душить его. Но дальше должно быть выздоровление. Саблин ждал этого выздоровления.

А если смерть?

Саблин не верил в возможность смерти нации.

2-го ноября, Совет народных комиссаров вызвал в Смольный для допроса ученого артиллериста и академика, начальника Михайловского Артиллерийского училища и Артиллерийской Академии генерала Карачана. Допрос продолжался недолго. За Карачаном никакой вины не нашли. Матросы вывели его из Смольного, завели в переулок и зверски убили.

На улице убили трех прелестных мальчиков французов, сыновей учителя французского языка Генглеза. Они не были ни офицерами, ни юнкерами. Как иностранцы они оставались чужими Русской революции. Их завели к стене и в сумерки осеннего вечера расстреляли по всем правилам палаческого искусства.

Одних хватали, возили для допроса в Смольный, проделывали комедию какого то суда, везли в Петропавловскую крепость, или на Смоленское поле и там расстреливали несколькими выстрелами из ружей, других просто убивали на

улице, на квартире, в больнице, третьих буквально растерзывали — советская народная власть покоряла под ножи свои всякого врага и супостата.

9 ноября новая народная власть объявила о назначении Верховным главнокомандующим Армии прапорщика Крыленко.

Русская Армия приняла его, потому что он был народным героем того времени. Саблин поинтересовался прошлым нового Главковерха и вот что он узнал.

Крыленко был учителем истории. Это был маленький, озлобленный, нескладно сложенный, безобразный, желчный интеллигент — точная копия знакомого Саблину Верцинского. Должно быть когда то кто нибудь из офицеров оскорбил Крыленко; он ненавидел офицеров и военную службу. На одном из митингов, в разгар проводимого Керенским углубления революции, Крыленко вышел на эстраду, произнес патетическую речь, сорвал с себя погоны и ордена и в диком экстазе стал топтать их, называя их клеймом рабства. Экзальтированная им солдатская толпа последовала его примеру. Старые заслуженные подпрапорщики и солдаты, офицеры, перепуганные на смерть, срывали с себя колодки с георгиевскими крестами, рвали на себе погоны и несли к ногам Крыленко. Это и сделало Крыленко народным героем и приблизило его к шпионской шайке Ленина.

Первым приказом Крыленко было требование по всему фронту послать парламентариев для переговоров с немцами о мире. Мир должен был быть заключен через головы генералов и правительств самими солдатами. Мир должны были заключать роты с ротами, батальоны с батальонами, полки с полками...

Это была такая новость для международного права, что даже немцы усумнились в возможности так добиться мира и решили снестись со ставкой, с Могилевым.

В Могилеве после бегства главковерха Керенского, автоматически вступил в исправление его обязанностей его начальник штаба, генерал Духонин.

Это был молодой еще, красивый генерал генерального штаба, вполне порядочный, но робкий и нерешительный. Он всецело отдался в распоряжение комиссаров и правил армией через них, вернее подписывал текущие бумаги.

Он возмущился такому предложению и не признал Крыленко. Крыленко, во главе матросских и латышских банд, двинулся к Ставке на нескольких поездах. Шли медленно, осторожно, трусливо. Малейшее сопротивление ударных Корниловских войск и все эти банды вместе с самим Крыленко убежали бы без оглядки. Но после долгих митингов, ударные батальоны умыли руки и объявили нейтралитет, Крыленко побоялся ехать в Ставку и потребовал, чтобы Духонин явился к нему в поезд для доклада. Он гарантировал ему полную безопасность. Напрасно комиссары и друзья Духонина отговаривали его ехать к Крыленко, советовали ему переехать в Чернигов, уже и автомобиль был готов. Духонин считал себя обязанным покориться новой власти. Надо было быть последовательным. Кто, изменив Государю, присягнул Временному Правительству, кто вместо Николая Николаевича признал Брусилова, потом Корнилова, потом Керенского, должен был признать и Крыленко.

Страшен был только первый шаг измены природному Государю, дальнейшие были легки и никто не думал, что последний ведет в пропасть.

Едва Духонин появился на перроне вокзала, на него бросились свирепые матросы. С него сорвали погоны и буквально растерзали его на глазах у Крыленки. Его раздели, страшно, цинично осквернили труп и оставили лежать на перроне.

За телом убитого мужа приехала вдова. Её водили к трупу, издевались над нею и после долгих унижений выдали ей труп для погребения...

Убийство Духонина, совершенное неслыханно зверски и сопровождавшееся небывалым надругательством, поправилось армии негодяев и предателей. Всякий приговор к смерти офицера или генерала объявляли с этого времени

с циничной усмешкой! — „получаете новое назначение! В штаб генерала Духонина!“...

Саблин знал все это. Он знал, что и он находится в числе обреченных на командировку в штаб генерала Духонина. По совету Петрова, оставшегося верным ему, хотя и служившего „в собственном Ленина гараже“, Саблин съехал с своей квартиры и кочевал теперь с места на место, ночуя по знакомым и преимущественно у Мацнева, иногда на пустой квартире князя Репнина или на квартире Гриценки или Марьи Федоровны Моргенштерн.

Личная жизнь его прекратилась.

XLVI.

„Что же Россия?“ — часто думал Саблин, засыпая то на диване в гостиной, то на оттоманке в кабинете, то на мягких перинах любовно постланной ему постели в особой комнате у Марьи Федоровны, то в комнате лакея. „Что же Россия?“ И должен был ответить себе! „Ничего Россия. Шумит по городам и весям, волнуется красными знаменами, объявляет самостоятельные республики и готовится к выборам в Учредительное Собрание“.

Война не то идет, не то нет. Одни люди сидят в окопах, хотя и знают, что если немцы станут наступать, — они убегут. Другие деловито и спокойно едут домой, тащут с собою оружие и с оружием готовятся отнимать чужую землю и делить ее между собою. А по всей России вывешены плакаты, списки по номерам, партии враждуют между собою, партии выхваляют выставленных кандидатов, партии сулят золотые горы, молочные реки и кисельные берега.

„Как жаль“, — думал часто Саблин, — „что дядюшка Обленисимов уехал. То-то доволен был бы теперь, то-то шумел бы и кричал: — „у нас совсем, как в Англии!“

Все говорили, что пройдут эс-эры и большевики. И не могло быть иначе. К урнам готовились идти с оружием в руках и громко заявляли: „кто не с нами, тот против нас. А кто против нас: — в штаб генерала Духонина“.

14-го ноября избиратели потянулись к урнам, а солдаты стоявшие подле мест выборов, посмеивались и говорили: „не видать вам Учредительного Собрания. Наша теперь власть!”

И от этого падало уважение и вера в Учредительное Собрание. Называли его просто „Учредилкой” и мало интересовались тем, кто пройдет. И менее всего интересовался этим Саблин. Он вспомнил, как еще в 1905 году ему говорил управляющий на заводе, на котором он стоял с охранным взводом, что всеобщее, прямое, равное и тайное — это только ловушка. Голосование не было всеобщее, потому что к урнам не явилось громадное большинство: просто боялись солдат-большевиков. Оно не было прямым, потому что не было достаточной проверки, кто подает записки, так как города были переполнены пришлым элементом — солдатами, для которых уже ничего не было святого. Оно не было тайным, потому что партии заготавливали и рассыпали печатные списки и готовые конверты и можно было знать, кто за какой список голосует. Наконец, оно не было равным, потому что большевики уже проявили террор в полной мере и боялись голосовать против них. Это была комедия, а не выборы.

Не пошел и не подал своего голоса и Саблин. Не пошел по убеждению. Из отдельных лиц, — он нашел бы, может быть, кого выбрать, но голосовать за списки не мог. Больше других ему нравился казачий список, начинавшийся именем Каледина, но когда Саблин спросил про остальные имена, то оказалось, что дальше следовали лица в полной мере парализовавшие Каледина. Честные, благородные люди, любящие Родину, попрятались в подполье. Одни, из скромности, другие из трусости и в Учредительное Собрание нагло перла мразь и темные силы, чтобы разрушать, а не восстанавливать Россию.

Три года тому назад, перед войною Саблин, думая о Государственной Думе пришел к тому убеждению, что в России нет людей. Говорят: — война родит героев. Эта война не только не родила героев: — она уничтожила их. Кого ни вспомнишь, его уже нет на свете. Застрелился на поле

сражения у Сольдау, не желая идти в плен к немцам, доблестный генерал Самсонов, томится в Быховском застенке горячий патриот Корнилов, ушел в отставку пылкий и честный граф Келлер, застрелился Крымов, убит доблестный Карпов. Кто остался? Остались и продолжают где то копошиться те, кто предал Государя, те, кто сегодня носил Царские вензеля и был счастлив назначению в Свиту, или в генераль-адъютанты, а завтра рвал с себя в угоду толпе вензеля, драпировался красной материей и свои речи начинал лживыми словами: — „Я демократ и друг народа. Моя идея — народо-властие. Я социалист и революционер!”

„Что же? Выбирать их, готовых менять ежеминутно свои убеждения? Их, ищущих, где жареным пахнет и способных продать честь и достояние России !”

Рана была ужасная, и Саблин за эти три месяца поседел и постарел на двадцать лет. Остались только юношески-гибкая талия, осанка старого военного, да стальным блеском воли горели серые глаза.

Кругом суетилась толпа. Люди веселились, как никогда. Кинематографы были полны народом, в театрах шли спектакли. Мария Федоровна ежедневно пела в концертах, и это веселье, когда у лавок с хлебом стояли часами длинные очереди, когда уже не было сахара, когда мясо стало редкостью и половина магазинов стояла с заколоченными окнами, как залось пиром во время чумы.

Правительство старалось урегулировать продукты, быть справедливым. Но весь народ сверху до низу стал безчестен, открылись ходы и возможности добывать муку и продукты со стороны, явилась протекция и каждый тащил к себе все, что мог, создавая запасы на черный день. Каждый чувствовал и понимал, что черный день наступал.

Советская власть наложила руку на всякую собственность. Начались повальные обыски, ревизия банковских сейфов, а вместе с этим начался повальный грабеж. Состояния в золоте, брильянтах и бумагах перекладывались из одних карманов в другие. Это делалось беззастенчиво, просто, нагло, на глазах у всех. Чтобы спасти хотя часть имущества

надо было дать крупную взятку комиссару, наряду красной гвардии, комитету, совету. Если Ленин, — глава правительства, брал взятки от Германского императора за предательство России, то как же было не брать этих взяток комиссарам и прочей власти народно-крестьянской республики? Брали, как никогда, и разврат красных чиновников достиг в эти дни небывалых размеров.

Саблин постоянно читал евангелие. В каждом новом декрете он видел подтверждение слов Спасителя и чувствовал, что настают последние времена. Он ждал Антихриста.

XLVII.

Письмо от Тани... Его принес Петров, которому доставил его какой-то солдат, не пожелавший назвать себя. Таня устроилась в Тобольске. Она шьет и стирает белье. Она шьет рубахи тем самым солдатам, которые караулят Государя, она стирает белье Царской Семьи. Это дает ей возможность знать все, что делается в Тобольске на „улице свободы“. Таня ни на минуту не теряет веры в то, что Русский народ поймет страшное преступление, которое он совершил и освободит и вернет на Престол своего законного Императора. Но она становится нетерпеливой. Она боится за неприкосновенность Царской Семьи. Кровавые призраки французской революции ее преследуют.

— „Папа“, — писала Таня, — „вам нужно торопиться, нужно что-нибудь сделать, что-нибудь предпринять. Я писала Тебе, что я не могу назвать теперешнее существование Государя и его семьи иными словами, как тихий ужас.“

Когда сравню еще недавнее прошлое с тем, что делается теперь, я вижу, что раньше все-таки можно было жить — теперь жить стало невыносимо от тысячи обид, оскорблений, возмутительных и наглых выходов.

„В сентябре в Тобольск от Временного Правительства прибыли комиссар Панкратов и его помощник Никольский. Они собрали солдат, объявили им, что они партийные социалисты-революционеры, стоят за народ и за народную власть

и что они не могут допустить, чтобы и в заточении Государь жил, как Государь. Панкратов за политическое преступление сидел 15 лет в Шлиссельбургской крепости, а затем 27 лет провел в ссылке в Якутской области. „Как обращались с нами они, так и мы теперь будем обращаться с ними“, — говорил Панкратов. Никольский, тоже из ссыльных Якутской области, грубый и глупый, неотесанный мужик с повадками палача. Никольский кричал на Наследника Цесаревича и называл его гадкими словами. Бедный мальчик боится теперь выйти из комнаты, боится встретить этого мерзкого человека. Папа, у них система отравлять существование Царской семьи целым рядом мелочей, ранивших глубоко чувствительное сердце.

Я много насмотрелась наглостей солдатских в Царском Селе после революции, но никогда, я не могла подумать, что наш Русский солдат может пасть так низко.

„Государю и Государыне было запрещено выходить куда бы то ни было, кроме церкви. Никто из народа не допускался в церковь, когда там молилась Царская семья. Единственное место, где Государь и его семья могут быть на воздухе это двор. Там Государь пилит дрова, Великие книжны качались на качелях, а теперь устроили ледяную гору. Солдаты, по наущению Панкратова и Никольского, стали делать на доске качелей неприличные надписи, а ледяную гору уничтожили.

„На днях у них был митинг, на котором они поставили, чтобы Государь Император снял с себя погоны. Папа, ты знаешь, что такое погоны для каждого из вас! Они еще дороже для Государя, потому что на них вензель его отца. В самой грубой и возмутительной форме солдаты предъявили это требование к Государю: — „а не снимешь“, — кричали они, — „так мы сорвем их с тебя силою“.

„Теперь, папа, Государь ходит в куртке. Всех лиц, проживавших в доме Корнилова, переселили в губернаторский дом и там стало тесно и неудобно. Теперь они запретили Государю и его семье посещать даже церковь, разрешены

только домашние богослужения и то под надзором выборных от солдат.

„Папа, что это за выборные! Вчера священник поминал в молитве святую царицу Александру. Солдаты остановили его грубыми словами и подняли скандал. Они не ведали, что творили. А я, папа, когда мне рассказывали про это, подумала, что это правда: — она святая. Все что было в прошлом, — все искуплено этими муками и будет день, когда Русский народ помянет ее во святых своих угодниках.

„Что я пишу такое... Мои мысли путаются. Ужели ей те страшные муки, которые имела святая царица? ужели явится Георгий Победоносец на белом коне и сокрушит главу дракона, ужели повторится дивная легенда святых Георгия Победоносца и Царицы Александры? И что это за змей, поработивший нашу землю? Страшно папа!

„Я сижу в маленькой комнате неподалеку от их дома и шью при свете керосиновой лампы. Кругом холодная, суровая, сибирская зима. Глубокий снег лежит на улицах и через белые, как сахар, пласты его, прочные и крепкие, протоптаны узкие дорожки. Холодно, папа. Когда кто-нибудь идет по улице, то снег так скрипит, что слышно в моей избушке. Старая бабка, хозяйка моя, сидит рядом в коморке. Кот забрался мне на колени и, лежа на спине, мягкой лапкой играет с клубком ниток. У меня хорошо, папа, а каково им?

„Папа, им больше не присылают денег от Правительства. Мы ходим по Тобольску и собираем деньги у купцов и крестьян. Интеллигенция не дает, Папа, Русский Царь живет Христа ради! Но он не знает этого, мы скрываем от него.

„Новая власть — я не знаю, папа, какая она, но, видно, гадкая, распорядилась по телеграфу, что она не намерена содержать Царскую Семью. 10 человек служащих уволены, сахара отпускают по полфунта в месяц на человека и муки телесные!

„Папа! но ведь это же недопустимо! Это позор, которого никогда не простит Русскому народу история! Папа, действуйте, работайте. Папа, я, что могу — делаю. В меня влюбился здешний солдат охраны. Он некрасивый, курносый,

маленький, кривоногий, у него лицо изрытое оспою, большой рот с длинными плохими зубами, от него гадко пахнет, он глупый, но он добрый... Я, папа, обещала выйдти за него замуж, если он освободит Государя и Его Семью. Он теперь только и думает об этом.

„Папа, но вы там в России должны действовать! Вы генералы, снисканные его милостями. Надо действовать на союзников. Что же они? Так платят они Государю за его непоколебимую верность своему слову? Что же король Георг и королева Александра? Что же Пуанкарэ и Фош? Ужели они все бессильны и не могут приказать кучке евреев, правящей Россиею, отпустить Богом венчанного Царя и не мучить его!

„Папа! милый, родной, честный папа. На тебя все надежды. Но ведь действовать надо. Если ничего не делать, то ничего не будет”...

Саблин призвал Петрова и спросил какой из себя был солдат, привезший письмо. Оказалось: — невзрачный, кривоногий, курносый, с лицом изрытым оспою, большим ртом.

„Умная девочка”, подумал Саблин. „И права она. Действовать надо. Действовать, а не ждать!”

XLVIII.

Глухой слух. Точно стук из подполья, точно шопот за каменной стеной: на Дону у Атамана Каледина все по старому, полный порядок. Дисциплинированная армия, жандармы по станциям, поезда ходят по расписанию — тишь, да гладь. Корнилов неизвестно каким образом освобожден из Быховского застенка. Приехал офицер генерального штаба и комиссар с предписанием освободить и освободили. Предписание так тонко подделано, что никто не усумнился в его подлинности. Корнилов, окруженный своими верными туркменами, идет по степям на юг. К нему примыкают юнкера и офицеры. На юге создается снова Российская Армия и эта Российская Армия освободит Россию от засилья большевиков!

Это передал Саблину Ермолов, разыскавший его у Марьи Федоровны Моргенштерн. Он рассказал обо всем.

— Надо бежать, ваше превосходительство, — сказал Ермолов. — Там и вам работа будет. На ваше имя солдаты и офицеры пойдут.

Саблин задумался.

„Да”, — подумал он. — „Надо творить. Надо восстановить старые полки и вернуть совесть Русским лядям”.

Было тут-же решено ехать в Ростов, а там, что Бог даст. Ермолов обещался выехать вперед, разведать, побывать у Атамана Каледина, сговориться с ним, разыскать Алексеева и встретить Саблина с докладом в Ростове. Братья Полежаевы поедут вместе с Саблиным и составят его охрану, но будут держаться в стороне и как будто незнакомые, они вывезут с собою и Олю, которая поедет в Смольный институт, только что отправленный на юг.

— И я поеду с вами, — вдруг сказала Мария Федоровна. — Когда вы поедете с дамой, Александр Николаевич, на вас меньше будут обращать внимания. Вы будете только буржуй, каких много теперь едет искать счастья на юге, если же вы поедете один, то вы будете контр-революционер и вам не избежать крупных неприятностей.

— Поезжай, Муся, — глядя в большие печальные синие глаза своей подруги, сказал Гриценко. — Ты права. Ты у меня умница.

— Что же вы там делат будете? — сказал Саблин.

— Ростов веселый город, и я там всегда найду себе заработок. Может, там в оперетку поступлю. Это всегдашняя моя мечта.

— А ты, Павел Иванович? — спросил Саблин.

— Я останусь. У меня, Саша, старуха мать восьмидесяти лет, как я ее брошу? Проживу какнибудь. Мы с Мацневым решили скрипеть до конца. Ведь к весне, поди и Каледин в Москве будет и вы с Корниловым подоспеете. А то еще на немцев у меня надежда большая. Не первый раз варягам вырывать нас. Пусть приходят княжить и володеть нами.

Саблин отправился в контору Международных спальных вагонов. Оказалось, что билеты на Ростов получить не легко.

Все места на все дни вплоть до второго февраля были проданы. Знакомый кассир, не раз продававший Саблину билеты сказал ему: — „наведывайтесь к нам каждый день. Может быть будут случайные места. Бывает так, ктонибудь записался, а потом передумает и места остаются. Только, простите, я вас запишу на чужую фамилию, а то вас ищут. Придумайте какуюнибудь”.

— Моргенштерн, — не задумываясь сказал Саблин.

— Хорошо. Шведская фамилия. Так даже лучше. Товарищи иностранцев еще боятся. Ведь, поверите, нас спасает пока только то, что на вагонах написано: **“compagnie internationale”**.*) Они думают, что у нас есть что то общее с их новым богом интернационалом, и не трогают.

Случайное место оказалось на 22-е января. Однако тот же кассир предупредил Саблина о том, что поезд дальше Лисок не пойдет, так как, по слухам, у Лисок бой. Казаки дерутся с большевиками. Подробностей кассир не знал. В газетах глухо писалось о контр-революционных замыслах Атамана Каледина и о том, что все должны взяться за оружие и отстаивать землю и мир от генералов, капиталистов и казаков. Были короткие сообщения штаба главковерха с знаменательным заголовком: — „На внутреннем фронте”.

На этот внутренний фронт и стремился Саблин и его сердце по прошлому, молодо билось в ожидании боя и победы!

XLIX.

До Москвы ехали благополучно. Мария Федоровна и Оля Полежаева в дамском купе, Саблин с Павликом, Никою и богатым Ростовским евреем Капельбаумом в другом купе. Вагон был полон, коридоры заполнены офицерами и солдатами, так что нельзя было открыть двери и пройти в уборную, в уборной было разбито стекло, не было воды

*) Международное общество.

и три „товарища” дружно храпели на полу под умывальником. Если бы не эти подробности, то можно было бы забыть о том, что едут после революции. В купе было чисто, постели, посланные свежим бельем, были опрятны и ярко горело электричество.

Саблин был одет в шубу с меховым воротником и мягкую бобровую шапку, одолженные ему братом Варвары Дмитриевны Мацневой и Каппельбаум принимал его за купца. Павлик и Ника тоже были в штатском. Солдаты, попавшие в корридор интернационального вагона, чувствовали себя смущенными и вели тихо.

В Москве была пересадка. Прямые поезда не ходили, пришлось нанимать извозчика, взявшего за конец безумную цену: двадцать пять рублей; на Курском вокзале садиться пришлось вечером и носильщик предупредил, что брать места надо будет со скандалом. Действительно за час до подачи поезда платформа наполнилась солдатами с сундучками и котомками, многие и с ружьями, которые едва только подали поезд, кинулись, давя друг друга к вагонам и быстро их заполнили.

— Вчора вот так то кинулись, — рассказывал, проталкиваясь, носильщик, — женщину под рельсы сбросили. Задавило на смерть. Им все ничего.

Однако в интернациональном вагоне опять был порядок. Солдаты не входили в купе и теснились в корридоре. Они останавливали друг друга, говоря, что это вагон иностранный. Они видно твердо усвоили, что свое грабить и портить можно безнаказанно, а иностранное боялись, как бы не пришлось отвечать.

Опять без приключений добрались до Воронежа, но там остановились, и через час пришел проводник и сказал: —

-- Ну господа, как хотите, или вылезайте, или обратно поезжайте. Казаки под Чертковым дерутся, не пускают.

Саблин, Павлик и Ника собрались на совет. К ним примкнул молодой энергичный горец инженер Арцханов, заменивший Каппельбаума, перешедшего в соседнее купе.

Ника стоял за то, чтобы слезть в Воронеже и ехать лошадьми через фронт. В разговор вмешался Арцханов.

— Простите меня, господа, что я позволю себе дать вам совет, сказал он. Сделайте так, как я. Вы куда едете? В Ростов

— В Ростов, — отвечал Саблин.

— Ну вот. И я в Ростов. Мы вернемся на Грязи и там сядем в Царицынский поезд. В Царицыне все спокойно. Из Царицына поедем на Торговую и по новой ветке в Ростов.

— А почему не на лошадях? — спросил Ника.

— Да ведь вы — офицер? — спросил Арцханов, в упор глядя на Нику.

Ника замялся.

— То есть, был офицером, сказал он.

— Все равно. Попадете в руки красной гвардии — в расход выведут. Притом же с господином помещиком, — кивнул он на Саблина — дама, с вами барышня. Теперь зима, чего вы натерпите еще в дороге, а тут мы потеряем всего один день.

Павлик стал на сторону Арцханова, Саблин молчал, но, видно было и ему не хотелось попадать на фронт в костюме буржуа и начинать свои похождения с плена большевикам. Решили остаться в вагоне.

Рано утром выгрузились в Грязях и стали ожидать поезда на Царицын. Регулярного движения не было, но по требованию солдат, в огромном количестве переполнявших станцию, начальник станции согласился отправить на Царицын теплушечный поезд.

— Вы, господа, ничего не будете иметь против, заплатить поездной прислуге рублей по тридцати, — сказал Арцханов, — нам выберут вагон почище и мы своей „буржуйской“ компанией славно докатим до Царицына.

Все согласились. Каппельбаум, Арцханов и молодой телеграфный чиновник явились ходатаями и после долгих перешептываний и хождения в комитет железнодорожников, дело стало налаживаться.

— Мы взятку не берем, товарищ, — сказал в канцелярии комитета молодой железнодорожный служащий на предложение Арцханова заплатить за вагон.

— А я вам их, товарищ, и не предлагаю, — сказал Арцханов. Но я прошу вас принять эти четыреста рублей, собранные пассажирами на партийные цели, как знак того, что буржуазия, едущая на юг сочувствует вам.

— А вы знаете какой мы партии, — самодовольно усмехаясь, сказал молодой человек.

— Большевики, — сказал Арцханов, — потому что это теперь единственная партия в России, которая может существовать.

Молодой человек не понял иронии, но польщенный смягчился.

— Хорошо, сказал он, — я вам выдам квитанцию в получении денег. Партия действительно нуждается. Просветительные цели, то да се, знаете, товарищ, деньги всегда нужны, повсрсите-ли, комитет до сего времени даже граммофоном не мог обзавестись. Только, извиняюсь, теплушки вам не найдется. Так чистенький вагончик вам подберется, знаете такой, где скота не возили.

В сумерках зимнего дня пригнали этот вагон, оказавшийся вагоном из под угля. Но такими пустяками, как угольная пыль стесняться не приходилось и пассажиры стали устраиваться в нем на своих вещах.

Солдатская толпа бушевала кругом. Ей не хватило вагонов и, увидав еще вагон, прицепливаемый к поезду, она кинулась к нему.

За эти полгода свободной республиканской жизни Сабдин привык к солдатским митингам и выражениям, на них употребляемым и потому несколько не волновался, зная, что, если нет у этой массы вожака, то от слов и угроз до дела очень далеко.

Не смутило его и то, что солдаты наполнили вагон и стеснили откупивших его буржуев. Этого надо было ожидать. Люди ехали на крышах и на буферах, естественно,

что они не могли оставить лишь на половину занятого вагона.

Саблин, устроив возможно удобнее Марию Федоровну и Олю, уселся сам у стены и думал свои думы, лишь одним ухом прислушиваясь к той перебранке и к тем речам, которые говорились в вагоне. Он однако сразу заметил молодого солдата, одетого лучше других, видимо комиссара, или члена комитета, сразу оценил его значение и сосредоточил на нем внимание.

Поезд тронулся, многие заснули в вагоне, но Саблин не спал.

Л.

Он вспоминал всю свою жизнь. Вспомнил весенний „бал” у Гриценки, когда он, юный корнет, — заступился за Захара, а потом пел с Любовиным и отвозил Китти. Он был тогда ближе к Захару, к Любовину, к людям своего взвода, нежели теперь, когда он прожил с ними двадцать пять лет! Чувства и мысли своих лошадей Леды и Дианы, своего Мирабо, на котором он ездил в дни юности, он знал лучше, нежели то, что думают и переживают своими тяжелыми мозгами эти люди.

Он жил с Китти целую неделю, не отходя от нее ни на шаг, он знал каждый уголок ее тела. И теперь стоит ему только зажмурить глаза и он может ощутить сладострастный трепет при воспоминании о полном, розоватом, упругом теле Китти, о ее прекрасных ногах и нежных душистых руках. Сколько раз, покрыв свое лицо ароматными волнами ее золотых волос, он целовал ее затылок. А думал ли он, знал ли он, что думает, что переживает она в эти часы? Он испортил, исковеркал ее жизнь и даже не знает, где она теперь, жива, или умерла. Быть может, она следила где-нибудь в глуши по газетам за его успехами, читала про его блестящую конную атаку, про ранение, про возвышение и думала: — „он мой! он мой! он был моим!”

Или она давно в земле и прекрасное тело ее съедено червями и, верно, лежит она в стороне от других, как само-

убийца, — недаром призраки самоубийц его так часто преследовали. Она ушла и потонула в людском море, как тонет песчинка, но легче песчинке смытой океаном на дальнем севере столкнуться с песчинкой, смытой в знойной Африке, нежели встретиться им на земле.

А сколько, сколько солдат прошло мимо него! Он знал их по фамилиям, учил их, разговаривал с ними и проглядел их душу, проглядел их страшный инстинкт разрушения. Саблин считал, что счастье в творчестве, но, если в творчестве счастье, то ведь и в разрушении должна быть своя радость.

И сейчас же он вспомнил Марусю. Никогда наслаждение женщиной у него не достигло такого острого напряжения, как это было в дни его связи с Марусей. Он разрушал ее тело и ее душу. Он перевернул весь ее мир. Она плакала, сгорая от девичьего стыда, а он заставлял ее стоять перед ним обнаженной, с поднятыми руками и любовался, как краска стыда разливалась по шее, по груди, заливала все тело, становившееся бледнорозовым. Она страдала — он наслаждался. А что, если есть наслаждение и дальше, что, если есть наслаждение видеть муки человека и его медленную смерть? Ходят же люди смотреть смертную казнь, ходят годами по циркам смотреть укротителей зверей, или каких-либо отчаянных гимнастов, чтобы подстеречь минуту их гибели и... — насладиться. Стоит, чтоб кого-нибудь задавило лошадьми, или поездом и бежит уже жадная толпа смотреть на остатки разбитого тела на муки и страдания.

Смерть и жизнь близко соприкоснулись в последнем спазме наслаждения, дающем жизнь новому существу, и в последнем спазме тела, которое покидает жизнь, и в обоих есть что то общее. Женщина, которая рождает, мучается и иногда умирает. Жизнь и смерть сплетаются в судорожном объятии...

Светало. В открытую дверь вагона врвался свежий, весною пахнувший воздух, пахло талым снегом, прелым листом и могучим запахом земли, воды и воздуха, напоенного озоном.

„Жизнь и смерть сплетаются в судорожном объятии”..., снова подумал Саблин и вспомнил сумерки осеннего дня, чистую белую постель и на ней тяжело утонувшее в подушках тонкое лицо, которое было когда то столь дорогим, и рядом, в кресле, в куче тряпья, красный, как паучок, ребенок, беспомощно шевелящий ручками и ножками...

„Мой принц!.. Мой принц!..”, — донеслось до него из какого то далека.

Было это все! Было и ушло. Исчез Любовин, исчез Коржиков и где сын Виктор?

Марусю поглотило на его глазах небытие, а те, быть может и живы, но Саблин про них не знает и узнает ли когда?

Tout passe, tout casse, tout lasse?..*)

В этом сила, в этом смысл, в этом возможность жить.

Все проходит!...

Проходит страдание, проходит и радость, наслаждение сменяется болезнью, острая боль тупою. Жизнь сменяется смертью... Смерть... Да, и смерть проходит и наступает что то новое, иное, чего мы не знаем, как не знаем и того, что сменит ощущение данной секунды, данного мига, четверти мига, мгновения. Пройдет и большевизм, пройдут все ужасы Русского бунта, но старого не будет, — не будет старого Гриценки, его Захара, Ивана Карповича. А почему не будет?

Вспомнилась поговорка — *plus ça change, plus ça reste la meme chose.***)

Красный паучок, беспомощно шевелившийся в куче тряпья в домике на Шлиссельбургском тракте, вырос. Ему теперь должно быть столько же лет, как вот этому солдату. „Какое у него прекрасное, тонкое и в то же время отталкивающее лицо! Почему он на меня так смотрит, узнал меня, служил где-нибудь со мною? Кто он? Шоффер, мотоциклист, радиотелеграфист, писарь? У него тонкие породистые, хо-

*) Все проходит, все разбивается. все отгарает.

***) Чем больше все изменяется - - тем больше все оскается тем же самым.

ленные руки, так странно напоминающая чьи-то другая руки... Чьи? Чьи?... В бровях, сурово насуспенных, лежит что-то странно милое, так негармонирующее со всем его наглым видом. Где я видал его, где я встречался с ним?"

„Что ему от меня надо? Почему собрались, там, за вагоном позванные им вооруженные солдаты, почему он идет ко мне?"

— Вы будете не генерал Саблин? — услышал Саблин обращенный к нему вопрос и голос послышался ему каким то далеким и глухим. Точно уши у него заложило, так слышны бывают голова, когда нырнешь глубоко в воду и вода зальет уши.

„Вот оно!" — подумал Саблин. „Настал и мой черед!" Он опустил руку в карман, где лежал браунинг, и едва заметным движением большого пальца перевел пуговку на боевой взвод.

— Я вас спрашиваю! — воскликнул солдат, гневно протягивая руку к Саблину.

И стало так тихо кругом... Саблин слышал, как капала с сучка вода на ноздреватый снег и, пробивая его, шуршала по листьям. Упала одна капля, потом другая.

„Вот оно!" — мелькнуло в голове у Саблина и сейчас же сердце сказала ему: — „все проходит!..."

— Да, я генерал Саблин, — спокойно сказал Саблин. Что вам от меня угодно?

Он не слышал того, что говорил после молодой солдат толпе у вагона, но он слышал только, что была сказана ужасная наглая клевета и что солдаты поверили ей и готовы на самосуд. Саблин слишком хорошо знал психологию толпы и солдата, чтобы ошибиться.

„Не все еще потеряно", — подумал он, — выхватил из кармана револьвер и, угрожая им бросился в толпу. Он не ошибся. Толпа расступилась перед ним и никто не вырвал у него из рук револьвера, никто не схватил его.

Саблин ловким прыжком перепрыгнул канаву и побежал, делая широкие скачки, по рыхлому снегу в лес.

Саблину было сорок четыре года, но он всю жизнь занимался гимнастикой и служил в строю. Он был силен и ловок. Он скоро почувствовал, что кинувшиеся за ним в погоню солдаты бегут тяжело и неумело и что они, его не догонят. Выстрелы, раздавшиеся ему вслед, были направлены зря, Саблин не слышал даже свиста пуль. Он стал бежать спокойнее, выбирая направление. Он понимал, что солдаты далеко от поезда не побегут, и если машинист тронет поезд, он спасен.

Но сейчас же Саблин почувствовал, что от солдат отделился кто-то и быстро его настигает. Саблин понял, что тот кто настигает, так же силен и ловок, как он, но моложе его. Еще десять, двадцать скачков и он настигнет его сзади и тогда собьет с ног. Саблин боялся оглянуться, но инстинктивно понял, что настало время стрелять.

Он быстро остановился и повернулся лицом к нагоняшему. Он поднял револьвер и прицелился... Туман на секунду застлал его глаза мутною пеленою. Между ним и настигшем его молодым солдатом среди тонких стволов осин, на мокром снегу странное заколыхалось облачко. В колеблющемся тумане утра отчетливо засияли синие лучистые глаза, большие, тоскующие, прикрытые длинными ресницами. Тонкое белое лицо без единой кровинки обозначилось на фоне длинных черных волос, волнистыми змеями упавших на спину, две тонкие руки протянулись к нему.

„Мой принц!.. Мой принц!..” — неслось откуда то издали.

Это видение продолжалось одну секунду. Саблин успел только подумать: „Это потому, что я думал о Марусе!”..

Эта секунда была роковою для Саблина.

Сильный удар по кисти выбил револьвер, тяжелые мочуля руки навалились на его плечи, охватили его поперек, он сразу был окружен толпою. Его толкали, с него сбили шапку, его ударили по шее так, что у него зазвенело в ушах. Чей то грубый голос, смеясь веселым, торжествующим смехом, сказал:

— В штаб генерала Духонина!..

Саблину показалось, что после этих слов наступила страшная тишина. Мутно рисовались тонкие стволы осин, и рыхлый снег, и небо сквозь переплет голых сучьев, бледно-голубое, жалкое, точно плачущее небо...

Ему показалось, что ветви зашумели от набежавшего ветерка и тихо прошептали: — „в штаб генерала Духонина!”

Он понял значение этих слов и тоскливо посмотрел кругом.

Кто то, только что подбежавший, ударил его сзади по затылку чем-то твердым, должно быть, ружейным прикладом. В глазах у Саблина потемнело, он пошатнулся и еще раз услышал ликующие, веселые голоса:

— В штаб генерала Духонина!...

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ.....169

Глава	Стр.	Глава	Стр.
I	7	I	171
II	11	II	174
III	15	III	179
IV	19	IV	183
V	26	V	188
VI	32	VI	191
VII	35	VII	194
VIII	38	VIII	198
IX	44	IX	203
X	48	X	208
XI	53	XI	212
XII	55	XII	215
XIII	61	XIII	218
XIV	67	XIV	224
XV	71	XV	228
XVI	76	XVI	232
XVII	80	XVII	236
XVIII	83	XVIII	239
XIX	86	XIX	246
XX	91	XX	253
XXI	93	XXI	257
XXII	97	XXII	265
XXIII	100	XXIII	269
XXIV	105	XXIV	273
XXV	110	XXV	280
XXVI	112	XXVI	283
XXVII	116	XXVII	287
XXVIII	121	XXVIII	294
XXIX	126	XXIX	297
XXX	131	XXX	302
XXXI	134	XXXI	305
XXXII	138	XXXII	309
XXXIII	155	XXXIII	316
XXXIV	158	XXXIV	320
XXXV	162	XXXV	325

Глава	Стр.	Глава	Стр.
XXXVI	329	XLVI	381
XXXVII	333	XLV	373
XXXVIII	338	XLIV	365
XXXIX	342	XLVII	384
XL	348	XLVIII	387
XLI	352	XLIX	389
XLII	357	L	393
XLIII	361		

